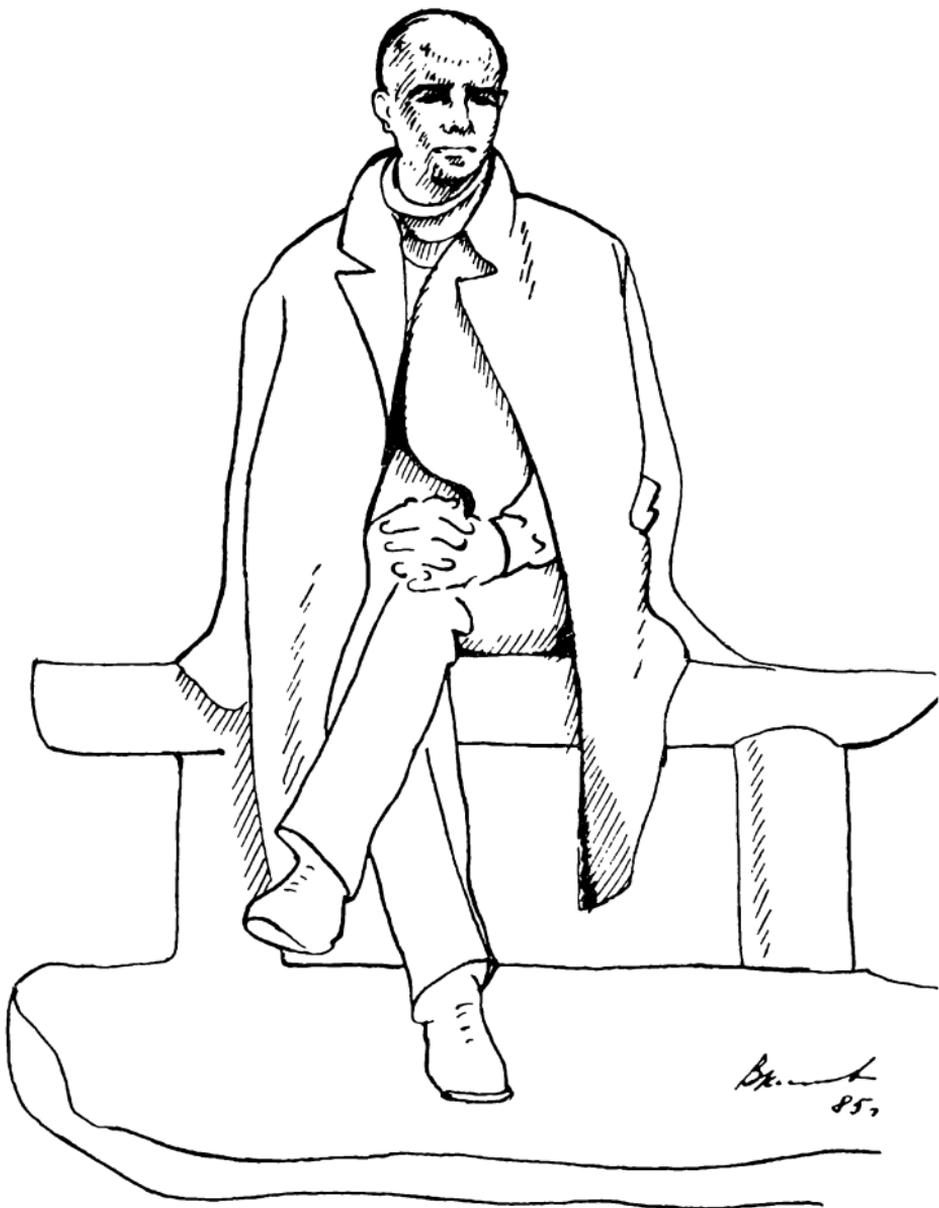


Николай
Рубцов:
Вологодская
трагедия





**Николай
РУБЦОВ:
Вологодская
трагедия**

Москва
ЭЛИС ЛАК
1997

На фронтисписе
Н. Рубцов. Рисунок В. Клыкова. 1985 г.

Н62 **Николай Рубцов: Вологодская трагедия/Сост.,
подгот. текстов Н. М. Коняева.—М.: Эллис Лак,
1997.—464 с.**
ISBN 5—7195—0064—2

При жизни у Николая Рубцова (1936—1971) вышло четыре сборника стихов. По цензурным соображениям, при их публикации поэт вынужден был идти на исправления и пропуски. Настоящее издание впервые знакомит читателя с «нерецензированным» Николаем Рубцовым.

В книгу вошли также: повесть Н. Коняева «Путник на краю поля» (1-е изд. «Роман-газета». 1993. № 19—20), письма Н. Рубцова и воспоминания современников о поэте.

Н 4702010200—061
130(03)—97

Без объявл.

ББК 84 Р7.4

- © Е. Н. Рубцова, 1997
- © Н. Коняев. Составление, подготовка текстов, 1997
- © Н. Коняев. «Путник на краю поля», 1997
- © Эллис Лак. Художественное оформление, 1997

Николай КОНЯЕВ

Путник на краю поля

*Книга
о жизни, смерти и бессмертии
поэта Николая Рубцова*



Ему было шесть лет, когда умерла мать и его отдали в детдом. Шестнадцать, когда он поступил кочегаром на тральщик. Он служил в армии, вкалывал на заводе, учился... На тридцать втором году жизни впервые получил постоянную прописку, а на тридцать четвертом — наконец-то! — и собственное жилье: крохотную однокомнатную квартирку. Здесь, спустя год, его и убили...

Вот такая судьба.

Первую книгу он выпустил в шестьдесят пятом году, а через двадцать лет его именем назвали улицу в Вологде. Н. Рубцову исполнилось бы всего пятьдесят, когда в Тотье ему поставят памятник.

И это тоже судьба.

Как странно несхожи эти судьбы... И как невозможны они одна без другой!

1

«Николай Рубцов — поэт долгожданный. Блок и Есенин были последними, кто очаровывал читающий мир поэзией — непридуманной, органической. Полвека прошло в поиске, в изыске, в утверждении многих форм, а также — истин... Время от времени в огромном хоре советской поэзии звучали голоса яркие, неповторимые. И все же — хотелось Рубцова. Требовалось. Кислородное голодание без его стихов — надвигалось...»

«Стихи его настигают душу внезапно. Они не томятся в книгах, не ждут, когда на них задержится читающий взгляд, а, кажется, существуют в самом воздухе. Они, как ветер, как зелень и синева, возникли из неба и земли и сами стали этой вечной синевой и зеленью...»

«Стихи Рубцова выражают то, что невыразимо ни зримым образом, ни словом в его собственном значе-

нии... Образ и слово играют в поэзии Рубцова как бы вспомогательную роль, они служат чему-то третьему, возникающему из их взаимодействия».

Эти высказывания Г. Горбовского, А. Романова, В. Кожина — лучшее свидетельство тому, как непросто разговор о поэзии Рубцова. Едва исследователь пытается выразить ее суть, как тут же, отказываясь от литературоведческой терминологии, вынужден оперировать понятиями и категориями самой жизни.

Обманчива простота рубцовской лирики.

Судите сами... Рубцов словно бы специально пользуется неточными определениями. «Там, за расхлябанным следом», «ее пустынные стога», «в деревне мгlistой», «распутья вешие»... Что это? Языковая небрежность? Или это поиск подлинного, соответствующего стиховой ситуации смысла, освобождение живой души слова из грамматико-лексических оков?

Или другой пример... Наверное, ни у кого из поэтов не найдется столь многочисленных повторов самого себя, как у Рубцова. Кажется, он забывал созданные и уже зафиксированные в стихах образы, многократно повторяя их в новых стихах:

Скачут ли свадьбы в глуши потрясенного бора,
Мчатся ли птицы, поднявшие крик, над селеньем,
Льется ли чудное пение детского хора, —
О моя жизнь! На душе не проходит волненье...
(«У размытой дороги»)

Как просто в прекрасную глушь
листопада
Уводит меня полевая ограда,
И детское пенье в багряном лесу...
(«Жар-птица»)

Словно слышится пение хора,
Словно скачут на тройках гонцы,
И в глуши задремавшего бора
Все звенят и звенят бубенцы...
(«Тайна»)

И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое...

(«Привет, Россия...»)

Скачет ли свадьба в глуши потрясенного бора,
Или, как ласка, в минуты ненастной погоды
Где-то послышится пение детского хора, —
Так — вспоминаю — бывало и в прежние годы!

(«Скачет ли свадьба...»)

Все эти «свадьбы», эти «хоры», рассыпанные по стихам Рубцова, право же, сразу и не перечислишь. Что это? Самоповтор? Или «причастность к тому, что, в сущности, невыразимо»? Ведь появление знака приближающихся потусторонних сил столь же естественно и обычно в поэзии Рубцова, как дуновение ветра или шум осеннего дождя, и поэтому даже и не осознается как повтор...

Еще более загадочной выглядит взаимосвязь поэзии Рубцова и его жизни. По его стихам точнее, чем по документам и автобиографиям, можно проследить его жизненный путь. Но дело не только в этом. Конечно, многие настоящие поэты угадывали свою судьбу, легко заглядывали в будущее, но в Рубцове провидческие способности были развиты с такой необыкновенной силой, что, когда читаешь написанные им незадолго до смерти стихи:

Я умру в крещенские морозы.

Я умру, когда трещат березы,—

охватывает жутковатое чувство нереальности. Невозможно видеть вперед так ясно, как видел Рубцов. Хотя — сам Рубцов говорил: «Мы сваливать не вправе вину свою на жизнь. Кто едет, тот и правит, поехал — так держись!» — отчего же невозможно? Очень даже можно, если учесть, что Рубцов и жил так, как будто писал самое главное свое стихотворение, и, совершенно точно зная финал, ясно представляя, что ждет впереди, даже не пытался что-либо изменить... Потому что не прожить свою жизнь, не пройти до конца назначенный ему Путь он не мог, да и не хотел...

2

О родителях Николая Рубцова известно немного. Отец поэта — Михаил Андриянович Рубцов родился в де-

ревне Самылково на Вологодчине. Работал он продавцом в сельпо. В двадцать первом году женился на Александре Михайловне. В Самылкове родились первые их дети — три дочери: Рая, Надежда, Галина — и сын Альберт. Николай Рубцов был пятым ребенком в семье и родился уже в Емецке Архангельской области. Михаил Андриянович, вступивший в начале коллективизации в партию, работал там начальником ОРСа местного леспромхоза. Было тогда ему тридцать шесть лет.

Дом, где родился Рубцов, сохранился — красивое, с огромными окнами (в каждой раме по шестнадцать стекол) здание. Но у самого Рубцова о Емецке остались очень смутные воспоминания.

«Первое детское впечатление, — рассказывал он, — относится к тому времени, когда мне исполнился год. Помню: снег, дорога, я на руках у матери. Я прошу булку, хочу булку, мне ее дали. Потом я ее бросил в снег. Отца помню. Мать заплакала, а отец взял меня на руки, поцеловал и опять отдал матери... Оказывается, это мы отца провожали. Его забрали, так мы с ним прощались. Это было в Емецке в начале 37-го. Отца арестовали, ну, как многих тогда. Он год был в тюрьме, чудом уцелел... Отцу сообщили среди ночи, что он свободен. Он сначала не поверил, а потом собираться стал. Ему писем насовали, чтоб передал на свободе родственникам. Выпихнули его за ворота в глухую ночь, на улице мороз, а он в одном пиджаке и идти далеко. Ну, отец у нас крепкий был, ходовой мужик. Тетка потом мне рассказывала, отцова сестра, она тут, в Вологде, жила. Говорит: «Смотрю утром в окошко, вроде Миша бежит, ожигается, в одном-то пиджачке да по морозу-то...»

Этот рассказ Николая Рубцова был записан Д. — женщиной, сыгравшей роковую роль в его жизни. И даже допуская, что он записан предельно точно, полностью, безусловно, доверять ему нельзя. Смущает нестыковка деталей. Если отца забрали в январе, то отчего же на нем был только один пиджак? Должно было бы иметься и пальто... В этом рассказе Рубцов верно передает лишь свои ощущения: «прошу булку, хочу булку... бросил в снег», а вся сюжетная канва явно заимствована из каких-то других впечатлений, и прекрасный рассказ тетки о том, как прибежал морозным утром в одном пиджачке Михаил Андриянович, явно относится к какому-то другому эпизоду из жизни отца поэта.

Так или иначе, но пока не удастся выяснить, за что

арестовали Михаила Андрияновича и арестовывали ли его вообще. Во всяком случае, вернувшись — если следовать рубцовской версии — из тюрьмы, Михаил Андриянович сразу пошел на повышение. Его перебросили в Няндомское райпо.

Няндома запомнилась Николаю Рубцову особенно остро. В этом небольшом городке, в доме, стоящем почти вплотную к железнодорожной насыпи, на его глазах умерла старшая сестра — Надежда (Рая скончалась еще до рождения Николая). Надежду он любил. Ей было шестнадцать лет. Живая, общительная, она изменилась как-то в одночасье. Съездила с подругами в какую-то деревню на сельхозработы, простудилась и заболела менингитом. Он помнил, как мучительно переносила она нестихающую боль и, когда заговаривали с ней, отворачивалась к стене. Надю хоронили, как комсомолку. Рубцов запомнил красный гроб, множество венков, скопление народа... На всю жизнь осталась в нем боль этой утраты, всю жизнь считал он, что, если бы Надежда не умерла так рано, не было бы и в его жизни того безысходного сиротства, через которое предстояло пройти ему.

Все воспоминания Рубцова о жизни в Емецке и Няндоме почерпнуты нами из записок Д. и более нигде, кажется, не встречаются. Ни в стихах, ни в письмах, ни в разговорах с друзьями не вспоминал Рубцов о той жизни, словно бы это и не его была жизнь, а его началась только в Вологде...

14 января 1941 года Михаил Андриянович Рубцов, как записано в его учетной партийной карточке, выбыл из Няндомы в Вологодский горком партии.

В Вологде Рубцовы поселились на улице Ворошилова, недалеко от Прилуцкого монастыря, в который еще недавно свозили со всей области раскулаченных мужиков...

Николаю было четыре года. Он еще не мог понять, какие взаимоотношения существуют между родителями, что связывает их. Запомнил всего лишь фразу:

— Александра, кипяточку! — кричал отец, усаживаясь за стол.

В рассказе «Дикий лук», передавая атмосферу тех лет, Николай Рубцов попытался нарисовать характер отца. Рассказ написан уже после смерти Михаила Андрияновича, и, читая его, видишь, как пересекаются в этой небольшой зарисовке два взгляда: ребенка — в еще неясное, туманное будущее — и усталого, измотанного жизнью

поэта, как бы усмехающегося своему детскому неведению...

«Давно это было. За Прилуцким монастырем на берегу реки собрались мы однажды все вместе: отец, мать, старшая сестра, брат и я, еще ничего не понимающий толком. День был ясный, солнечный и теплый. Всем было хорошо. Кто загорал, кто купался, а мы с братом на широком зеленом лугу возле реки искали в траве дикий лук и ели его. Неожиданно раздался крик: «Держите его! Держите его!» И тотчас я увидел, что мимо нас, тяжело дыша, не оглядываясь, бежит какой-то человек, а за ним бегут еще двое.

— Держите его!

Отец мой быстро выплыл из воды и, в чем был, тоже побежал за неизвестным. «Стой! — закричал он. — Стой! Стой!» Человек продолжал бежать. Тогда отец, хотя оружия у него никакого не было, крикнул вдруг: «Стой! Стрелять буду!»

Неизвестный, по-прежнему не оглядываясь, прекратил бег и пошел медленным шагом...»

Михаил Андриянович Рубцов был типичным ровесником нашего века. На единственной сохранившейся фотографии он стоит в белой косоворотке — бравый, знающий себе цену деревенский парень. Если бы не революция, он бы стал оборотистым сельским лавочником, быть может, выбился бы в купеческое сословие, и его жизнь сложилась бы разумно и полезно для себя и для других. Фотография сделана в начале двадцатых, и во взгляде смотрящего на нас Михаила Андрияновича сквозит вера в разумность и полезность будущей жизни. Этот человек даже не догадывается, что ему всего через несколько лет предстоит заняться коллективизацией, вступить в партию; насиловать и корежить душу, делать то, чего он никогда бы не стал делать, если бы не оказалось под угрозой благополучие собственной семьи.

Михаил Андриянович сделал свой выбор. Когда кремлевские вожди — все эти бухарины, рыковы, кагановичи, хрущевы — безжалостно погнали на голодную смерть миллионы русских мужиков, Михаил Андриянович прикнюнул к победителям и без сожаления покинул обворованную, обескровленную деревню, чтобы определиться на сытую, хлебную должность в новом, теперь уже полностью подвластном кремлевской нечисти мире. И он,

должно быть, исправно служил хозяевам, коли, несмотря на отсутствие образования, потихоньку рос в должностях, а на пятом десятке даже выдвинулся в круг областной номенклатуры. Типичный маленький начальник — отец и в рассказе Рубцова ведет себя очень типично. Не задумываясь, вылезает из реки и «в чем был» устремляется в погоню за неизвестным. Зачем? Да затем, что годами службы новым хозяевам жизни выдрессирован он на погоню. И его крик: «Стой! Стрелять буду!» — подлинный, из тех лет крик. Это же беспорядок — кто-то посмел убежать. И неважно, что оружия у преследователя нет, неважно, что в погоню он устремился голым. Социальные роли и преследователем, и преследуемым осознаются настолько отчетливо, что оружие и не требуется, они оба знают магическую силу слов: «Стой! Стрелять буду!» Беглец вынужден покориться. Он прекратил бег, даже и не оглянувшись, чтобы проверить — насколько реальна угроза...

«Все это поразило меня... — тридцать лет спустя напишет поэт Рубцов. — И впервые на этой земле мне было не столько интересно, сколько тревожно и грустно. Но... давно это было».

Приходится только гадать, как сложилась бы судьба Николая Рубцова, не потеряй он рано семью. Но судьба сложилась так, как она сложилась, и, словно отблеск высшей справедливости, — именно в Николе *, всего-то несколько десятков километров, если считать по прямой, от деревни Самылково — открылась Николаю Рубцову простая, как бы искупающая в своем постижении все отцовские грехи и предательства истина:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Та истина, на осознание которой в нашей стране ушло два поколения, та истина, которую не уставал повторять Рубцов всю свою жизнь...

Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали...

* Деревня в Вологодской области (прим. ред.).

26 июня 1942 года внезапно умерла Александра Михайловна Рубцова. В последнее время она иногда жаловалась на сердце, но мысль о смерти никому из близких и в голову не приходила.

Все случилось неожиданно. Николай вместе с братом возвращались из кинотеатра. «Возле калитки нашего дома нас остановила соседка и сказала: «А ваша мама умерла». У нее на глазах показались слезы. Брат мой заплакал тоже и сказал мне, чтоб я шел домой. Я ничего не понял тогда, что такое случилось...»

Эти события нашли отражение в стихотворении «Аленький цветок»:

Домик моих родителей
Часто лишал я сна,
— Где он опять, не видели?
Мать без того больна.—

В зарослях сада нашего
Прятался я, как мог.
Там я тайком выращивал
Аленький свой цветок...

Кстати его, нестати ли,
Вырастить все же смог...
Нес я за гробом матери
Аленький свой цветок.

Рубцов потерял мать в том возрасте, когда чувство самосохранения и любовь к матери еще не разделены, когда человек ощущает мать как часть самого себя, и поэтому не надо обманываться кажущейся сентиментальностью стихотворения, написанного, кстати, уже зрелым поэтом. Нет, это не слащавое сюсюканье, а точная память о душевном смятении, охватившем ребенка. Разрастаясь, аленький цветок заполнил «красными цветами» зрелую лирику — едва ли кто из русских поэтов так много писал о матери, как Рубцов...

Но это потом, годы спустя, а тогда, в сорок втором, судьба, словно бы посчитав, что семейного тепла будущему поэту уже достаточно отпущено для жизни, торопливо разрушает рубцовский дом.

Через два дня умирает самая младшая сестра —

полугодовая Надежда Рубцова. Отец — он уже получил повестку на фронт — зовет свою сестру Софью Андрияновну помочь в беде: надо спасти ребят.

Мать умерла. Отец ушел на фронт.
Соседка злая не дает проходу.
Я смутно помню утро похорон
И за окошком скудную природу...

В стихах чуть-чуть смещены события, но причина — не забывчивость поэта. В повествовательной логике не сходятся и не могут сойтись те беды, что обрушиваются в эти дни на мальчика. Сразу же за смертью сестры разыгрывается новая трагедия. Тетка забирает старших детей — Галину и Альберта — к себе *, а младших — Николая и Бориса — ожидает Красковский дошкольный детдом.

Софью Андрияновну можно понять: у нее — свои дети, и идет война. Она и так сделала все, что могла... Каждый ли способен на такое — взять двоих чужих детей? И наверняка взрослый Рубцов понимал это... Но что чувствовал шестилетний ребенок? Горе раннего сиротства, осознание собственной несчастьности захлестывали его. Ведь более легкая участь досталась другим! И тем мучительнее, тем болезненнее рана, что о новой беде приходится молчать. Если и пытался жаловаться шестилетний мальчишка, то в ответ встречал неприязненное недоумение: зависть — качество, неприятное даже в ребенке. Молча, таясь от всех, предстояло шестилетнему Рубцову пережить эту, кажется, достойную пера Шекспира драму, когда не ты выбираешь свою несчастливую судьбу, а тебе ее выбирают. И оттого, что выбирают самые близкие, самые родные люди, — еще тягостней, еще больней... Тогда-то и наползают в душу поднимающиеся из-под земли сумерки:

Откуда только —
Как из-под земли! —
Взялись в жильё
И сумерки, и сырость...
Но вот однажды
Все переменилось,
За мной пришли,
Куда-то повезли.

* По смутным и невнятным неопубликованным воспоминаниям Галины Рубцовой получается, что тетка забрала только ее, и у тетки она «мыла полы, стирала...». Альберт же был отдан в ФЗУ.

В Краскове — раньше в этой усадьбе жил писатель Гаршин — Николаю Рубцову предстояло пережить еще одну трагедию. 20 октября 1943 года вместе с группой детей, вышедших из дошкольного возраста, его отправляют в Никольский детский дом под Тотьмой. Младший брат остался в Краскове. Рвалась последняя ниточка, связывающая Николая с семьей, с родными...

Я смутно помню позднюю реку,
Огни на ней, и скрип и плеск парома,
И крик «Скорей!», потом раскаты грома
И дождь... Потом детдом на берегу.

4

Тотьма... Устье Толшмы... Древняя, овейная легендами русская земля. Здесь творил чудеса святой Андрей Тотемский. Летописи рассказывают, он стоял возле храма в снегу, по обыкновению босой, и молился. И увидели его «сибирския страны варварского народа людие» и их старейшина — слепой Ажбакей. Обратился он к блаженному с мольбой о помощи. Андрей испугался и убежал, но Ажбакей не растерялся. Пал на колени, и водой, что, натаившая, стояла в следе святого, умыл лицо. И тут же прозрел.

Едва ли Николай Рубцов слышал это летописное предание. Он не отличался особой религиозностью. Да и где мог услышать эту историю? В детдоме? В техникуме? Но тогда откуда же словно бы воскрешающие образы древнего предания стихи?

Я шел, свои ноги калеча,
Глаза свои мучая тьмой...
— Куда ты?
— В деревню Предтеча.
— Откуда?
— Из Тотьмы самой...

Может быть, сама здешняя земля настраивает людей на один и тот же лад, независимо оттого, сколько столетий разделяет умеющих вслушиваться в ее голос сограждан?

Сюда, в устье Толшмы, и привезли в 1943 году семилетнего Николая Рубцова. Лошадь за детьми, разумеется, не прислали, и двадцать пять километров по разбитой дороге под злым осенним дождем малыши шли пешком. Когда добрались до интерната, там уже спали.

«Вдруг голоса откуда ни возьмись! Топот за окнами и хлопанье двери... Антонина Алексеевна Алексеевская, воспитатель младшей группы, с мокрыми волосами и с крапинками дождя на плечах проталкивает вперед присмиривших гостей.

— Ребята, это ваши новые друзья. Они протопали от пристани пешком. Двадцать пять километров. Прямо с парома, без передышки...

Алексеевская держала в руках список. Вычитывала фамилии.

— Коля Рубцов! Ложись на эту кровать. Мартюков, подвинься.

Без единого слова, но со светом в глазах шел черноглазый мальчишка...

Эти воспоминания сотрудника великоустюжской газеты «Советская мысль» Анатолия Мартюкова интересны еще и тем, что дают первый из известных нам портретов будущего поэта. Конечно, можно только гадать, откуда — из октябрьской ночи сорок третьего года или из рубцовских стихов — этот «свет в глазах»? Но есть в воспоминаниях Мартюкова и то, что невозможно придумать, — тот семилетний Рубцов, все еще по-детски доверчивый, надеющийся на ласку, на привет и вместе с тем уже настороженный, все время готовый к любой неожиданности.

«— А тебя зовут Толей, — тихо утвердил он». (Не сказал, не усмехнулся, а именно, как бы даже безразлично, «утвердил».)

В одной этой фразе сказался опыт годичного пребывания в детдоме. Рубцов еще ничего не знает о своем соседе по койке, но надо с первых же слов заинтересовать будущего товарища, «утвердить» себя.

«— А как ты узнал? (И искуса как-то заинтриговать нового приятеля не возникало в Рубцове. — Н. К.)

— На дощечке написано...»

Диалог очень точный и напряженный. Так может говорить человек, уже хорошо познакомившийся с невеселой детдомовской «наукой». А сколько ее еще было впереди?

Как вспоминает Антонина Михайловна Жданова, воспитательница младшей группы, в которую попал Рубцов, жили тогда в детдоме очень трудно. В спальне иногда было холодно. Не хватало постельного белья. Спали на койках по двое. Рубцов — вместе с Анатолием Мартюковым. Дети со всем смирились. Ни на что не жаловались.

При детдоме было свое подсобное хозяйство, работали все, в том числе и младшеклассники. Особенно тяжело приходилось летом — заготавливали сено, работали на огороде, собирали грибы, ягоды, лекарственные травы. Зимой становилось полегче, но зато и тоскливей. По ночам в лесу, возле деревни, выли волки... В коридоре, возле двери, стояла большая бочка с кислой капустой. Запах ее растекался по всему дому...

Когда читаешь воспоминания о Рубцове, порою начинает казаться, что стихи самого поэта звучат как бы в ответ на эти воспоминания, спорят, не соглашаются с ними.

Вот, например, Евгения Буняк пишет: «Годы были трудные, голодные, поэтому мало помнится веселого, радостного, хотя взрослые, как только могли, старались скрасить наше сиротство. Особенно запомнились дни рождений, которые отмечали раз в месяц. Мы с Колей (Рубцовым. — *Н. К.*) родились оба в январе, поэтому всегда сидели за столом в этот день рядом, нас все поздравляли, а в конце угощали конфетами, горошинками драже. Как на чудо, смотрели мы на эти цветные шарики».

Об этих днях сам Рубцов писал позднее так:

Вот говорят, что скуден был паек,
Что были ночи с холодом, с тоскою, —
Я лучше помню ивы над рекою
И запоздалый в поле огонек.

До слез теперь любимые места!
И там, в глуши, под крышею детдома,
Для нас звучало как-то незнакомо,
Нас оскорбляло слово «сирота».

Разница поразительная. Евгения Буняк вспоминает детдомовский нищенский быт (а жили действительно очень плохо... В обед воспитанникам полагалось пятьдесят граммов хлеба и тарелка бульона, и они воровали турнепс и пекли его на кострах. Не было и обуви. До 1946 года детдомовцы, стуча, ходили в башмаках с деревянными подошвами...), но для Рубцова и нищета, и голод существуют как бы на втором плане. «Я лучше помню...» — говорит он, и это не поза. И нищете, и голод для него заслоняло осознание собственной несчастьности, своей несчастливой избранности. И поэтому-то, едва коснувшись бытовых трудностей, он сразу начинает гово-

ритель в стихах о главном для себя. К сожалению, стихи Рубцова очень часто толкуются в духе обычной поэтической риторики, и строка: «Нас оскорбляло слово «сирота» — выдается порою за утверждение некоей особой, домашней атмосферы, что существовала в Никольском детдоме, атмосферы, в которой дети якобы и не ощущали себя сиротами. Подобное толкование лишено малейших оснований. Стихотворение «Детство», как и большинство рубцовских стихотворений, предельно конкретно, и не нужно выискивать какой-то переносный, не вложенный в его строки смысл.

В Никольском детдоме жили, конечно, не только сироты, здесь больше было эвакуированных детей. Некоторые попали в детдом даже с вещами родителей. Вещи эти они очень берегли.

Пионервожатая Екатерина Ивановна Семенихина вспоминает, что дети постоянно просили ее пустить в кладовку, где хранились «взрослые» вещи. Нужно было проверить, «как они висят».

— Это моей мамы пальто... — хвастали они.

И неважно, что у многих уже не было в живых мам, — мамино пальто было как бы гарантией того, что мама жива, что с ней не случится ничего плохого.

Почему-то из педагогических соображений считалось целесообразным скрывать от детей, где их родители (у многих, кстати, как, например, у Геты Меншиковой — будущей жены поэта, они отбывали срок в лагерях), и вечерами, когда старшие воспитатели и учителя расходились по домам, дети просили у пионервожатой:

— Посмотрите в личном-то деле, где у меня мама?

Трудно поверить, что Николай Рубцов не участвовал в этом захлестывающем детдом мечтаний о родителях. Он знал, что отец жив, и верил — а во что еще было ему верить? — вот закончится война, и отец заберет его, и в домашнем тепле позабудет он про тоскливые и холодные детдомовские ночи.

И как же тут не оскорбляться слову «сирота», если оно отнимало у ребенка последнюю надежду. «Большинство одноклассников Коли были эвакуированные дети, — пишет в своих воспоминаниях Н. Д. Василькова. — Из Белоруссии, с Украины... Из Ленинграда блокадного тоже были... И все-таки многие верили, в том числе и Коля Рубцов, что после войны родители их вернуться и обязательно возьмут их из детдома, — этой верой только и жи-

ли, тлеулись со дня на день... И действительно, в сорок пятом — сорок шестом стали приезжать в Никольский детдом родители за детьми. Помню хорошо, как за первой из нас приехал отец — за Надей Новиковой из Ленинграда. (Эта девочка была привезена к нам из Красковского детдома вместе с Колей Рубцовым...) Для нас приезд отца за Надей был большим праздником, потому что каждый поверил, что и за ним могут приехать. И жизнь наша с тех пор озарилась тревожным светом надежд, ожиданий... Коля Рубцов тоже ждал...

Ждал... Николай Рубцов на исходе войны еще не знал, что отец давно уже демобилизовался и, вернувшись в Вологду, устроился работать в отдел снабжения Северной железной дороги — на очень хлебное по тем временам место... Про сына, отданного в детдом, Михаил Андриянович так и не вспомнил. Да и зачем вспоминать, если он снова женился, если уже пошли дети...

В 1946 году Николай Рубцов закончил с похвальной грамотой третий класс и начал писать стихи. Может быть, стихи и спасли его.

Таких обманутых детей в детдоме было немало. Каждый переживал свою трагедию по-своему, и далеко не все могли пережить ее...

«В Николе случилась беда. Утонул в Толшме детдомовец. Мы знали — это Вася Черемхин. В один из июльских дней, в «мертвый час», когда в спальнях царили сны, Вася вышел на улицу... Он всплыл в омутном месте реки, под Поповым гумном. Там стояла высокая темная ель... вода была темной и неподвижной. Два дня поочередно дежурили старшие на берегу омута».

Рубцову удалось пережить горечь разочарования в своих надеждах, но и в его стихи плеснуло мертвой омутной водой:

И так в тумане омутной воды
Стояло тихо кладбище глухое,
Таким все было смертным и святым,
Что до конца не будет мне покоя...

Впрочем, особенно погоревать о предательстве отца Николаю Рубцову не довелось. Время было суровое, и горя хватало на всех. Чтобы понять, как же жили тогда

в северной деревне, полистаем подшивку тотемской районной газеты «Рабочий леса»...

8 февраля 1945 г.

«Нарсуд 1-го участка Тотемского района на днях заслушал дело Тугариновой Л. и Филимоновой Х. из деревни Юренино Верхне-Толшменского сельсовета, уклонившихся от мобилизации в лес, и приговорил их к году исправительно-трудовых работ с вычетом 25 процентов заработка с отбывтием на лесозаготовках при тех лесопунктах, куда они были мобилизованы».

26 апреля 1945 г.

ЦЕННЫЙ ПОЧИН

«Чтобы быстрее справиться с весенними полевыми работами, колхозники сельхозартели «Красная нива», Никольского сельсовета, взяли на себя обязательство провести боронование всех посевов озимых культур на коровах личного пользования».

31 мая 1945 г.

ЗАСЕВАЮТ МОПРОВСКИЕ УЧАСТКИ

«Горячий отклик среди колхозников Никольского сельсовета нашло обращение мопровцев леспромхоза об оказании помощи детям-сиротам.

Никольские колхозы засевают в фонд помощи воспитанникам детских домов 3 гектара и призывают последовать их примеру все колхозы района».

7 июня 1945 г.

«Весенний сев в 1945 году колхозы Никольского сельсовета начали и провели более организованно, чем в прошлом...

Нельзя не отметить и большого трудового подъема в колхозной деревне. Люди работали не покладая рук. Многие перевыполнили нормы выработки. Так, пахарь колхоза «Объединение» Боря Каминский на паре лошадей вспахал 14,5 га... Четырнадцатилетний Павлин Микляев на паре бычков вспахал до 10 га...»

13 сентября 1945 г.

ЗОРКО БЕРЕГИТЕ КОЛХОЗНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

«...Жукова А. А. украла 3,5 кг колосьев в колхозе «1 Мая», за что осуждена нарсудом к одному году исправительно-трудовых работ».

А вот подшивка газеты за тысяча девятьсот сорок седьмой — страшный, голодный на Вологодчине год...

5 января 1947 г.

«...Кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по Тотемскому избирательному округу № 225 выдвинули верного соратника товарища Сталина Лаврентия Павловича Берия и знатную стахановку Тафтинского лесопункта Клавдию Константиновну Лосеву».

27 февраля 1947 г.

«В этом году верхушки необходимо заготавливать не только в районах, где ощущается нехватка картофеля в связи с сильной засухой прошлого года, но и в районах, где его достаточно. Это даст возможность увеличить продовольственные ресурсы и весной сверх плана посадить картофель на большей площади».

Из беседы с академиком Т. Д. Лысенко

6 марта 1947 г.

«Колхозники сельхозартели «Искра» собрали в семенной фонд колхоза 4 центнера зерна и 3 центнера картошки из своих личных запасов.

Колхозник П. П. Гуцин сдал на колхозный склад 50 кг зерна, Е. И. Гущина, А. И. Опалихин, М. А. Мизанцев — по 32 кг каждый и т. д.».

15 мая 1947 г.

ПОЧИН ПАТРИОТА

«Замечательный пример честного, сознательного отношения к артельному хозяйству показывает 80-летний колхозник сельхозартели «Маяк» Евгений Павлович Верещагин.

Для того чтобы помочь колхозу быстрее провести сев, Евгений Павлович выехал на вспашку колхозного поля на своей личной корове. За первые пять дней работы он вспахал 2,12 гектара, за вторую пятидневку — 2,5 гектара...

Почин тов. Верещагина должны подхватить все колхозники района».

24 июля 1947 г.

В РАЙПРОКУРАТУРЕ

«Е. В. Овчинникова, работая пастухом в колхозе «Победа», систематически производила дойку коров и молоко использовала для своих надобностей. 29 июня она выдоила на пастьбе четырех коров, от которых получила 5 литров молока, и была задержана на месте преступления.

За кражу колхозного молока Овчинникова арестована и предается суду по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года „Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества“».

Ю. Архипов, прокурор Тотемского р-на

14 августа 1947 г.

«Для школ района нынче отпущено 135 250 штук тетрадей, 630 коробок перьев, 16 200 карандашей, 10 350 экземпляров учебников и т. д. — почти в три раза больше, чем в прошлом году. Плохо то, что учебники и ученические принадлежности многих школ лежат до сих пор в селюпо и не выкупаются».

4 сентября 1947 г.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Опалихина Л. Е. из колхоза «Искра», несмотря на предупреждение райуполминзага от 2 июля 1947 года о добровольной уплате недоимки мяса за 1945—46 гг. и первый квартал 1947 г. в количестве 105,8 кг в десятидневный срок, недоимки не погасила. 14 авг. 1947 г. народный суд 1-го участка Тотемского района по иску райуполминзага решил наложить на хозяйство Опалихиной Л. Е. штраф в сумме 1058 руб. и за недоимку мяса взыскать его стоимость деньгами в сумме 2116 руб.

Овчинникова Е. В., работая пастухом, занималась дойкой колхозных коров на пастбище. Народный суд 1-го участка Тотемского района 16 августа 1947 года приговорил Овчинникову Е. В. к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 10 лет. Осужденная арестована».

Через двадцать лет, вспоминая детдомовские годы, Николай Рубцов напишет: «Это было тревожное время. По вечерам деревенские парни распевали под гармошку прощальные частушки:

Скоро, скоро мы уедем
И уедем далеко,
Где советские снаряды
Роют землю глубоко!

А мы по утрам, замерзая в своих плохоньких одеждах, пробирались сквозь мороз и сугробы к родной школе. Там нас встречала Нина Ильинична и заботилась о нас, как только могла...

Все мы тогда испытывали острый недостаток школьных принадлежностей. Даже чернил не было. Бумаги не было тоже. Нина Ильинична учила нас изготавливать чернила из сажи. А тетради для нас делала из своих книг. И мы с превеликим прилежанием выводили буквы по этим пожелтевшим страницам на уроках чистописания.

По вечерам зимой рано темнело, завывали в темноте сильные ветры. И Нина Ильинична часто провожала учеников из школы. Долго по вечерам горел в ее окне

свет, горел озабоченно и трепетно, как сама ее добрая душа. И никто из нас знать не знал, что в жизни у нее случилось большое горе: погиб на фронте муж...»

Зарисовка для районной газеты «Ленинский путь» написана почти одновременно со стихотворением «Русский огонек». И случайно ли слова «как сама ее добрая душа» почти без изменения вошли в стихотворение:

Спасибо, скромный русский огонек...

За то, что, с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле, и нет тебе покоя...

Более того, читаешь сейчас «Русский огонек» и кажется, что в нем сошлись судьбы колхозников, пахавших колхозные поля на своих коровах, сдававших в трудный год собственное зерно в колхозные закрома... За три с половиной килограмма колосьев их отправляли в заключение на год, а за пять литров молока — на десять лет, но люди и среди этого «разбоя» не теряли света в своих душах...

Но так писал, так думал, так чувствовал Рубцов в шестьдесят четвертом году, когда давным-давно закрыли детдом на берегу, когда взгляд поэта, многое повидавшего на своем веку, легко проникал в самые сокровенные тайны русского бытия... У десятилетнего Рубцова этого опыта и умудренности не было. Все жестокие науки человеческого общежития ему еще предстояло постигнуть.

6

«Целыми вечерами, — как вспоминает Е. И. Семенихина, — сидели ребята в пионерской комнате и мечтали, греясь у растопленной печки. Мечтали о том, что будет время, когда все будут счастливы, не будет детдомов...»

Рубцов в то время был хрупким мальчиком «с черными бездонными глазами и очень располагающей к себе улыбкой». Он хорошо играл на гармошке, хорошо учился, выделялся какой-то особой непосредственностью и доверчивостью.

«Учили в Никольской школе, конечно, плохо. Например, преподавателем русского языка и литературы, физкультуры и географии был один человек. Об особых

знаниях тут говорить не приходилось. Зато были книги. Зато на стенах классов висели дореволюционные наглядные пособия. Комплект таких картин, рассказывающих о развитии промышленности в русских городах, нам с сотрудницей Тотемского краеведческого музея удалось найти на чердаке старой Никольской школы. Пролежав десятки лет в опилках, они словно бы и не потускнели. Мы протерли картины тряпкой, и снова заблестела прежняя, такая богатая и такая счастливая русская жизнь. Нижний Новгород, Тверь, Самара...» Разумеется, в городских школах подобные наглядные пособия безжалостно изымались и уничтожались, но в Николе их спасла бедность. Нечем было заменить старорежимные пособия, вот и оставались распахнутыми для детей окна в досоветскую, словно бы освещенную другим солнцем жизнь.

В детдоме все жили с повышенной — палец в рот не клади — активностью. Недаром здесь была сочинена частушка:

Мы детдомовски ребята,
Мы нигде не пропадем!
В синем море не утонем,
Бережочечком пройдем!

Но Рубцов все-таки не потерялся, сумел стать заводилой и среди детдомовцев. Клавдия Васильевна Игошева вспоминает, как уговаривал ее Коля провести игру «Спрятанное знамя». Дети только что ходили в поход за двадцать пять километров до деревни Черепанихи. Там переехали на пароме через Сухону, развели на берегу костер. На обратном пути ночевали в Манылове, в гумне... Всем поход очень понравился, и Рубцов предложил продолжить его, организовав игру «Спрятанное знамя», которое должна была искать вся школа. Он с ребятами разработал план, ориентиры, но, к сожалению, К. В. Игошева так и не сумела выяснить, можно ли играть в такую игру. Не сказали воспитательнице в дирекции детдома ни да ни нет.

Вот так и жили тогда в далекой, затерянной в вологодской глуши Николе.

12 июня 1950 года Николай Рубцов получил свидетельство об окончании семи классов и в тот же день уехал в Ригу поступать в мореходное училище.

Откуда у мальчишки, выросшего посреди полей и ле-

сов, возникла необъяснимая любовь к морю, которого он никогда не видел? Как тут не вспомнить, что и прославленные русские адмиралы тоже выросли в глубине континента... Впрочем, мечту о морских странствиях мог пробудить в юном Рубцове и опыт тотемских земляков. В конце сороковых годов, когда наконец-то начали вспоминать имена славных российских мужей, всплыло из неразличимой тьмы «досемнадцатого» года и имя тотемича Кускова, основавшего столетие назад «Форт-Росс» в Калифорнии. О Кускове тогда писали в районной газете, появился посвященный ему стенд и в Тотемском краеведческом музее... Так что мог, мог Рубцов слышать об отважном земляке, и это тоже сыграло свою роль в выборе пути.

«Колю Рубцова, — пишет в своих воспоминаниях Н. Д. Василькова, — отправляли первым в Ригу... Выдали ему самодельный чемодан, который вместо замка закрывался гвоздиком. Мы, девочки, подарили Коле двенадцать носовых платков — и все обвязанные, вышитые нами...»

7

Удивительное дело... Сколько лет отделяет от нас Николая Рубцова? И ведь не в бесписьменные века он жил, а в десятилетия, когда документировался, кажется, каждый шаг советского гражданина, но — вот нате же! — жалкие крохи сведений, что удастся выудить из архивов, далеко не всегда способны заполнить белые пятна в биографии Рубцова. И порою возникает ощущение, будто и не был он никогда нашим современником, погруженным в стихию справок и анкет, а пришел к нам из другого времени. Можно и далее продолжать эти мистические — о, как приятны они! — рассуждения...

Но, перелистывая тома бухгалтерских и регистрационных книг, понимаешь и другое. Всевластный и всеобъемлющий учет регистрирует каждый шаг человека, но только того человека, который сумел вписаться в советский социум. А тот, кто по каким-либо причинам не смог или же не захотел этого сделать, остается неучтенным. Его надежды и страдания не учитываются, да и не могут быть учтены, потому что советский гражданин и живой человек — это — увы! — не совпадающие друг с другом величины.

В книге учета воспитанников Никольского детдома записано, что 12 июня 1950 года Николай Рубцов уехал в Ригу, уехал поступать в училище.

В мореходке документы у Рубцова не приняли — ему не исполнилось еще пятнадцати лет.

Так ясно видишь эту сцену: уставший, вымотавшийся в долгой дороге подросток входит в приемную комиссию, с облегчением ставит на пол самодельный, запирающийся на гвоздик фанерный чемодан — наконец-то его путь закончен, сейчас его определяют на ночлег, поставят на довольствие! — вытаскивает из кармана документы.

Человек в военной форме задает ему вопрос:

— Сколько тебе лет?

— Четырнадцать... — отвечает Рубцов и удивленно смотрит, как, нераскрытые, протягивают ему назад документы. Он не может понять, что в приеме отказано решительно и бесповоротно, он пытается объяснить, что приехал издалека, что дорога у него заняла три дня, что здесь, в Риге, он никого не знает, но его уже не слушают, о нем уже забыли...

И тогда Рубцов поднимает свой фанерный чемоданчик и выходит из здания училища, выходит на улицу чужого, незнакомого города, где он не знает никого и его не знает никто...

Годы спустя Рубцов написал стихотворение «Фиалки». Судя по некоторым деталям, в «Фиалках» запечатлен опыт, приобретенный как раз в Риге, опыт первой попытки самостоятельного устройства в жизни, во взрослом мире:

Я в фуфаечке грязной
Шел по насыпи мола,
Вдруг тоскливо и страстно
Стала звать радиола:
— Купите фиалки!
Вот фиалки лесные!
Купите фиалки!
Они словно живые!
Как я рвался на море!
Бросил дом безрассудно
И в моряцкой конторе
Все просился на судно.

Умолял, караулил...
Но нетрезвые, с кренцем,
Моряки хохотнули
И назвали младенцем...

Напевная, как бы заволакивающая грустью мелодия стиха настраивает читателя на элегический лад, вызывает сопереживание. Каждому — о, это вечное чудо поэзии! — слышится что-то свое, личное в простенькой мелодии, и поэтому диссонансом врывается в нее рвущийся крик, требующий уже не сопереживания, а сострадания:

Кроме моря и неба,
Кроме мокрого мола,
Надо хлеба мне, хлеба!
Замолчи, радиола...

«Фиалки» обычно датируются 1962 годом, годом выхода самодельной книжки Николая Рубцова «Волны и скалы». Написано стихотворение уже после демобилизации Рубцова с флота, но непосредственные жизненные впечатления, положенные в его основу, — несомненно, относятся к более раннему времени. Как это ни парадоксально, но точность датировки лирики Рубцова по конкретным деталям не сравнима подчас с датировкой событий в его автобиографиях и анкетах. Можно, например, сравнить автобиографию: «Отец ушел на фронт и погиб в том же 1941 году», где полная неправда (отец не погиб на войне) соседствует с неточностью (отца призвали не в сорок первом, а в сорок втором году), и — стихотворение «Фиалки»:

Вот хожу я, где ругань,
Где торговля по кругу,
Где толкают друг друга
И толкают друг другу,
Рвут за каждую гайку
Русский, немец, эстонец...
О!.. Купите фуфайку.
Я отдам за червонец...

Если вспомнить первую строку: «Я в фуфаечке грязной...» — и сопоставить ее с запрашиваемой за фуфайку ценой, легко сообразить, что имеется в виду дореформенный червонец, ставший после 1961 года рублем.

Разумеется, лирика — не самый подходящий материал для финансово-экономических изысканий, но смысл

произведенной нами операции как раз в том и состоит, чтобы пробиться к реальному, четырнадцатилетнему детдомовцу, к тому голодному мальчишке, который пытается продать на рижском рынке единственное свое достояние — грязную фуфайку. Едва ли в цене на том рынке были вышитые и обвязанные одноклассниками носовые платки...

Для четырнадцатилетнего Рубцова рижская неудача была тяжела еще и потому, что все эти годы ему внушали, в какой замечательной стране он родился. Конечно, — говорили ему, — сейчас трудно, но это только сейчас и только здесь, в глухой вологодской деревне. А вообще-то живется хорошо, и главное — все дороги открыты перед юношами и девушками.

Нет никакого сомнения, что в этом смысле Рубцов, как и все остальные детдомовцы, был инфантильней, нежели его сверстники из нормальных семей.

В Риге вдребезги разлетелся внушенный воспитателями и педагогами миф о дорогах, которые открыты молодым. Никому не нужный подросток оказался в равнодушной толчее чужого города.

Только через две недели сумел он вернуться в Ниолу.

Как записано в книге учета воспитанников, 13 августа Николай Рубцов уехал сдавать экзамены в техникум, в Тотьму — город, где тридцать пять лет спустя ему поставят памятник.

Урок, преподанный в Риге, забылся не сразу. Словно бы подводя итоги, Рубцов напишет в сочинении, анализируя образ Катерины в пьесе А. Островского «Гроза»: «...к несчастью, человек может быть «поэтически» настроен до тех пор, пока жестокие удары судьбы не развеют нелепых представлений о жизни как об источнике единственно счастья и радостей».

Пятнадцатилетнему человеку свойственно абсолютизировать собственный жизненный опыт, свои весьма туманные представления о реальной жизни, и не случайно максималистски-мрачный тезис: «Жизнь — это суровая проза, вечная борьба...» — тут же дополняется достаточно оптимистическими размышлениями о возможности «добыть себе счастье, если у него (человека. — Н. К.) для этого достаточно духа и воли...».

Добыть себе счастье Рубцову, конечно же, хотелось, хотя и тогда, в техникуме, да и потом, многие годы

спустя, он не очень-то ясно представлял себе, что это такое... А духа и воли Рубцову было не занимать.

8

В стихотворении «Подорожники» Николай Рубцов писал:

Топ да топ от кустика до кустика —
Неплохая в жизни полоса.
Пролегла дороженька до Устюга
Через город Тотьму и леса.

«Неплохая в жизни полоса...» растянулась почти на два года.

Два года жизни в прекрасном русском городе. Как и на Великий Устюг, на Тотьму у отцов новой культуры — луначарских и губельманов — не хватило, видимо, дефицитного динамита, город даже после войны сохранил свою прежнюю красу. Правда, некий Монашенок, вдохновленный призывами разрушить старый мир, походив с красным знаменем по округе, начал было разбирать колокольню в бывшем Спасо-Суморинском монастыре, но — есть, есть Божий суд! — сверзился вниз, сломал три ребра и отбил печенку. Больше на старинный монастырь не покушались. Настоятельский корпус, корпус братских келий, монастырскую гостиницу передали техникуму, готовившему мастеров лесовозных дорог.

Здесь, в золотом листопаде монастырских берез, и увидел впервые Сергей Багров «русолового, с очень живым, загорелым лицом улыбающегося подростка, которому все кричали:

— Давай, Николай! Давай!

И подросток, подламывая локтями, рванул лежавшую на груди красномехую хромку и неожиданно резко запел:

Куда пошла, зелена рать?
Гремела рать, зелена рать.
Пошла я в лес, зелена рать.
Грибы ломать, зелена рать!

Это и был Николай Рубцов.

Подростки и есть подростки, и школу подросткового мужания Николай Рубцов, воспитанный в детдоме, проходил легко. Он вспоминал потом, как испытывали в техникуме на смелость. Всей гурьбой шли в полуразрушен-

ный собор, от которого остались только стены и внутренний карниз, прерванный проломом. Нужно было пройти по этому карнизу на головокружительной высоте и перепрыгнуть через пролом. Коля прыгал. Было жутковато, но не страшно.

Но таким — отчаянным и бесшабашным — был Рубцов днем, в шумной ватаге сверстников. А вечером? Ночью?

Тот, кто жил в сберегаемых советской властью монастырях, знает, какая тоска обрушивается здесь на человека в сумерках, запекающихся в черных провалах стен, клубящихся под рухнувшими кровлями храмов.

В последние детдомовские годы и годы, проведенные в техникуме, Рубцов словно бы и забыл, что у него есть отец. Никому из его знакомых тех лет не запомнилось, чтобы он пытался восстановить связь с отцом, братом, сестрой, теткой... Быть может, только однажды и попытался рассказать Николай «все накопившееся на душе за эти долгие годы бесконечного молчания». Случилось это уже в 1951 году, когда Рубцов писал сочинение на заданную в техникуме тему: «Мой родной уголок». Оно сохранилось.

Поначалу — это обычное ученическое сочинение, пересказывающее экскурсоводские байки, сочинение, подчас удручающее примитивностью мышления и полным незнанием истории... Приведем лишь некоторые строки из него: «Многое изменилось благодаря Великой Октябрьской революции. Монастырь, бывший очагом насилия и грабежа, превратился в рассадник культуры и грамотности среди населения. В заново отстроенных аудиториях зашумели первые студенты. Бывший тотемский собор превратился в городской кинотеатр, откуда беспрерывно доносится веселая музыка, наполняющая радостью сердца новой молодежи!» Но где-то к середине сочинения Рубцов вдруг оставляет тон разбитного экскурсовода и начинает писать о своем детстве. Вначале, сбиваясь на уже заданный тон: «Иначе и нельзя! Ведь в их среде протекало мое беззаботное, счастливое, незабываемое детство...», но с каждым словом все искреннее и увлеченнее...

«Хорошо в зимнее время, распахнув полы пальто, мчаться с горы навстречу обжигающему лицо ветру; хорошо в летнее время искупаться в прохладной воде, веселой при солнечном свете речки, хорошо бегать до безумия, играть, кувыраться. А все-таки лучше всего

проводить летние вечера в лесу у костра, пламя которого прорывает сгущающуюся темноту наступающего вечера, освещая черные неподвижные тени, падающие от деревьев, кажущиеся какими-то таинственными существами среди окружающей тишины и мрака...»

И чем дальше, тем несовместимее сочетание детских слов и оборотов: «играть... кувыркаться...» с точными, свидетельствующими о духовной зрелости и художническом видении мазками: «веселой при солнечном свете» речкой, «черными неподвижными тенями».

Еще более удивительно, как безбоязненно открывает-ся пятнадцатилетний детдомовец, описывая «темные тотемские ночи». Как бы переходя на рассказ о друге детства, Рубцов пытается написать свой автопортрет: «Обычно безудержно веселый, жизнерадостный, он становится порою непонятным для меня, сидит где-нибудь один, думает, думает и вдруг?... на таких всегда веселых, полных жизнеутверждающей силы глазах показываются слезы!» (Этот «автопортрет» совпадает с тем, что рассказывает о Рубцове Л. С. Тугарина: «А Коля Рубцов ласковый был. У него кличка такая была — любимчик. Но ему что-то безразлично это было. Часто задумчивый сидел». То же самое и в воспоминаниях А. И. Корюкиной: «В детском доме Колю любили все... Он был ласков сам и любил ласку, был легко раним и при малейшей обиде плакал...»)

А дальше, уже забывая о том, что он начал рассказ в третьем лице, как бы о своем друге, Рубцов прямо пишет о том тайном, что мучило его детдомовскими ночами. Страх в этом удивительном сочинении персонафицирован с медведем, превращающимся то в директора школы, то в свирепого хищника...

«Может быть, все это покажется невероятным, но представьте себе, как часто такие истории и им подобные видел я во сне в те же темные тотемские ночи, засыпая под заунывную песню ветра, свистящего в трубе».

Пересказывая сновидение, Николай Рубцов, сам того не понимая, анализирует свои комплексы и пытается преодолеть их. Пускай во сне медведь «нисколько не испугался меня (хотя говорят, что медведь боится людей), а, наоборот, с каким-то диким ревом бросился мне навстречу...» и первым желанием было «бежать, бежать...», но все-таки страх удается преодолеть. Мальчик выхватывает «охотничий нож», который у него наяву отбирает директор школы и который так пригодился

сейчас во сне, и «с криком, который по силе и ужасу не уступает реву самого медведя...» — бросается навстречу ему. Медведь падает, сраженный ножом.

Впрочем, тут же Рубцов и заканчивает свое повествование, выходя из области подсознательного в мир природы, в пейзаж, как это он часто делал потом в своих стихах: «По-прежнему тихо, почти беззвучно шумели старые березы в лесу в безветренные дни, а вместе с порывами ветра громко плакали, почти стонали, как будто человеческою речью старались рассказать все накопившееся на душе за эти долгие годы бесконечного молчания. По-прежнему с какой-то затаенной, еле заметной грустью без конца роптала одинокая осина, вероятно, жалуясь на свое одиночество... По-прежнему спокойно и плавно уносились легкие волны Сухоны в безвозвратную даль...»

Сочинение «Мой родной уголок» интересно как достоверное, из первых рук, свидетельство драматической работы, происходившей в Рубцове-подростке. Результат этой работы известен. С юношеской беспощадностью и благородством Николай Рубцов принимает решение жить вопреки несправедливости судьбы. Жить, как бы и не замечая несправедливости. Живой отец не вспоминает своего сына, и не надо. Значит, у него нет отца.

На следующий год, нанимаясь кочегаром на тральщик, Николай напишет в автобиографии: «В 1940 году переехал вместе с семьей в Вологду, где нас и застала война. Отец ушел на фронт и погиб в том же 1941 году». Конечно, можно объяснить, что Рубцов написал так, не зная все-таки наверняка, где его отец, но едва ли это объяснение правильно. Несмотря на то что начиная с 1953 года Рубцов регулярно встречается с отцом, в 1963 году он повторит свое утверждение: «Родителей лишился в начале войны». Впрочем, взаимоотношения с отцом в 1951 году не кончаются...

В Спасо-Суморинском монастыре, то бишь в лесном техникуме — «рассаднике культуры и грамотности», Рубцов провел два года, лишь изредка наезжая отсюда в Ни́колу. Но уже в летние каникулы после первого курса ехать ему оказалось некуда — 22 июля 1951 года Никольский детдом закрыли.

А через полгода Рубцову исполнилось шестнадцать, и, получив паспорт, в конце лета 1952 года он уезжает в Архангельск, уезжает, позабыв в общежитии техникума

затрепанную тетрадку со своими стихами. Все так и было, как писал он в сочинении год назад: «Последний, отвальный гудок дает пароход «Чернышевский», отходя от пристани, и быстро проходит рекой, мимо маленьких деревянных старинных домиков, скрывающихся в зелени недавно распустившихся листьев берез, лип, сосен и елей, скрадывающей их заметную кособокость и уже подрыхлевший за долгие годы существования вид, мимо громадных церквей, верхушки которых еще далеко будут видны, возвышаясь над городом». Только была не весна, а осень. Дул холодный ветер, густая темнота висела над рекой, как в стихах, которые еще предстоит написать Рубцову:

Была сурова пристань в поздний час,
Искрясь, во тьме горели папиросы,
И трап стонал, и хмурые матросы
Устало поторапливали нас.
И вдруг такой повеяло с полей
Тоской любви! Тоской свиданий кратких!
Я уплывал... все дальше... без оглядки
На мглистый берег юности своей.

9

На этот раз встреча с морем, о котором так мечтал Рубцов и в детдоме на берегу Толшмы, и в полуразрушенном, превращенном в лесотехникум старинном монастыре, состоялась.

Забрызгана
крупно
и рубка,
и рында,
Но час
отправления
дан!
И тральщик
тралфлота
треста «Севрыба»
Пошел
промышлять
в океан...

В этих рубленых, написанных почти десять лет спустя стихах энергии и пафоса больше, чем личного духовного

и житейского опыта, и не случайно, как только романтический пейзаж заселяется людьми, стихотворение проваливается, строчки разбухают случайными, поддерживаемыми лишь ритмом, а не внутренней логикой, словами.

Личностное, лирическое задавлено в этих стихах Рубцова мощной романтической антитезой: слабый, но бесстрашный человек и безграничное, суровое море, которое все-таки покоряется отважным морякам:

А волны,
 как мускулы,
 взмыленно,
 рьяно,
Буграми
 в суровых тонах
Ходили
 по черной
 груды океана,
И чайки
 плескались
 в волнах...

Несовпадение образа лирического героя «морских» стихотворений с самим Рубцовым поразительно. Это несовпадение позволяет многое понять в рубцовском характере. Так беспощадно-жестко выстраивается драматургия жизни, что говорить о самом себе Рубцов долго не решается — не хватало сил...

Как вспоминает капитан РТ-20 «Архангельск» А. П. Шильников, Рубцов был тогда самым низкорослым в команде. Когда боцман Голубин выдал ему робу — а наша швейная промышленность издавна шьет одежду в основном на богатырей, — он буквально утонул в ней. Хорошо, что жена механика РТ-20 ушила Николаю эту робу, чтобы он мог носить ее...

Эти бытовые подробности начала морской одиссеи Николая Рубцова, мягко говоря, не вполне соответствуют облику героя морского цикла, «юного сына морских факторий», который хочет, «чтобы вечно шторм звучал»...

Здесь уместно будет напомнить, что физическое развитие всех русских детей, выросших в годы войны, было замедленным. И даже наше государство, которое всегда думает о живых людях в последнюю очередь, «продлило» их детство и отрочество. В школу тогда брали с вось-

ми лет, позднее призывали и в армию. И наверное, нужно удивляться не тому, что меньше года продержался Николай Рубцов в должности кочегара, а тому, что все-таки почти год он сумел выдержать на этой тяжелой, непосильной для него работе.

Вспоминая через десять лет о своей работе на тральщике, Николай Рубцов напишет:

Никем по свету не гонимый,
Я в этот порт явился сам
В своей любви необъяснимой
К полночным северным судам.

Стихотворение это написано с бесшабашной, характерной для Рубцова начала шестидесятых удалью. И тем не менее из морского цикла оно явно выпадает. Не тематически, а интонационно. Кажется, впервые начинает явственно звучать здесь столь характерная для позднего Рубцова грустная самоирония: «Оставив женщин и ночлег, // иду походкой гражданина // и ртом ловлю роскошный снег». Самоирония, позволяющая если не заговорить о главном в себе, то хотя бы приблизиться к главному. И когда вдумываешься в слова: «Никем по свету не гонимый», понимаешь, что это не красивый, романтический штамп, а беспощадная истина рубцовой жизни. Никто никогда и не гнал Рубцова. И может быть, в том и состояла трагедия и горечь его жизни, что в огромной стране он умудрился прожить почти всю жизнь, не имея никакой собственной жилплощади. И необъяснимая любовь «к полночным северным судам» — тоже понятна и объяснима. Это из тех любовей, что человек сам придумывает для себя. Вместо «полночных судов» могло оказаться что угодно, лишь бы при этом почувствовал себя Рубцов полноправным человеком, смог пройти независимой «походкой гражданина»...

И все-таки работа на тральщике оказалась непосильной.

23 июля 1953 года Рубцов принес А. П. Шильникову заявление на расчет.

— Что, — спросил Алексей Павлович, прочитав написанное на четверти тетрадного листка в косую линейку заявление. — Не нравится у нас, Коля?

— Нет... — смущаясь, ответил Рубцов. — Нравится... Только я учиться решил, на механика.

— Правильно... — сказал Шильников и, оглянув ху-
денькую фигурку своего кочегара, подписал заявление
на расчет.

Через три дня Николай уехал в Кировск. Решил посту-
пить — вспомните: «Я везде попихаюсь...» — в горный
техникум.

Время для поездки Рубцов выбрал не самое удачное.
27 марта 1953 года, вскоре после смерти Сталина, был
опубликован Указ Президиума Верховного Совета Со-
юза ССР об амнистии. По этому указу — амнистия 1953
года получила название Бериевской — из мест заключе-
ния освобождались все лица, осужденные на срок до пяти
лет. К осужденным за контрреволюционные преступле-
ния амнистия не применялась. Не попадали под нее
и такие «преступники», как та же колхозница Е. В. Овчин-
никова, которая за пять литров колхозного молока была
осуждена на десять лет...

Тем не менее амнистировалось довольно много за-
ключенных, и летом поток уголовников хлынул из лаге-
рей. Обстановку, царящую на Кировской железной до-
роге, представить нетрудно. В этом смысле Рубцову вез-
ло всю жизнь — всегда он оказывался в переломные
моменты истории страны именно там, где напряженность
почти достигала предела, и все видел сам, все сам пере-
чувствовал.

На вокзале Рубцова обокрали, и добираться до Ки-
ровска ему пришлось на крыше вагона. В самом вагоне
ехали амнистированные уголовники.

Вероятно, за год работы на тральщике Николаю Руб-
цову удалось скопить какие-то, необходимые на первое
время деньги. Но деньги тоже исчезли вместе с самодель-
ным, «запирающимся на гвоздик» детдомовским чемода-
ном... И хотя Рубцову и удалось поступить в техникум —
проучился он здесь меньше года.

Что делал Рубцов, бросив техникум, известно только
из его стихов:

Жизнь меня по Северу носила
И по рынкам знойного Чор-Су.

Еще известно, что и в солнечно-знойных краях не сумел
отогреться поэт. В 1954 году он написал в Ташкенте:

Да! Умру я!
И что ж такого?
Хоть сейчас из нагана
в лоб!

Может быть,
Гробовщик толковый
Смастерит мне хороший
гроб...

А на что мне
Хороший гроб-то?
Зарывайте меня хоть
как!

Жалкий след мой
Будет затоптан
Башмаками других
бродяг.

И останется все,
Как было
На Земле,
Не для всех родной...
Будет так же
Светить Светило
На заплеванный шар
земной!

Впервые, в этом стихотворении, обращается Рубцов к теме, ставшей в дальнейшем одной из главных в его творчестве. С годами придет в стихи всепрощающая мудрость, философская глубина, но отчаянная невозможность примириться, свыкнуться с мыслью о смерти, останется неизменной. И через шестнадцать лет, стоя уже на пороге гибели, Рубцов будет писать:

Село стоит
На правом берегу,
А кладбище —
На левом берегу.
И самый грустный все же
И нелепый
Вот этот путь,
Венчающий борьбу
И все на свете, —

С правого
На левый,
Среди цветов
В обыденном гробу...

Трудно не заметить внутреннего созвучия этих двух стихотворений, между которыми, как между обложками книги, вместились все богатство рубцовской лирики.

И еще одно... В Ташкенте пусть и неловко, но очень отчетливо впервые сформулирована Рубцовым важная для его стихов и жизненного пути мысль — осознание, что он находится на «Земле, не для всех родной». Как мы уже говорили, Рубцов не сразу сумел заговорить о самом главном в себе, не сразу разглядел в своей судьбе отражение судьбы всей России, не сразу сумел осознать высокое предназначение поэта. И чудо, что далеко от родных краев, в Ташкенте, в минуту усталости или отчаяния удалось ему на мгновение заглянуть далеко вперед, заглянуть в себя будущего...

10

Со стихотворением «Да! Умру я!» перекликается и другое, написанное в последний год жизни поэта стихотворение «Неизвестный».

Ситуация, в которой оказался его герой, в общем-то характерная для поэзии Рубцова, почти такая же, как в «Русском огоньке» или стихотворении «На ночлеге». Существенно отличается от этих и других стихов властным, каким-то эгоцентрическим, все замыкающим на личности героя ритмом:

Он шел против снега во мраке,
Бездомный, голодный, больной.
Он после стучался в бараки
В какой-то деревне лесной.

И если герою стихотворения «На ночлеге» почти мгновенно удастся найти контакт с хозяином избы:

Подмерзая, мерцают лужи...
«Что ж, — подумал, — зайду давай?»
Посмотрел, покурил, послушал
И ответил мне: — Ночевай! —

то «неизвестного» встречают иначе:

Его не пустили. Тупая
Какая-то бабка в упор
Сказала, к нему подступая:
— Бродяга. Наверное, вор...

На первый взгляд может показаться, что «неизвестному» просто не повезло и он напоролся на бездушных, черствых людей. Но это не так. Ведь хозяина «ночлега» немногое разнит от «тупой бабки»:

Есть у нас старики по селам,
Что утратили будто речь:
Ты с рассказом ему веселым —
Он без звука к себе на печь.

Другое дело, что «неизвестный» слишком сосредоточен, заиклен на себе и не понимает, что в неказистых с виду, угрюмых старухах и стариках живет и гордость, и благородство, — не понимает того, что открыто герою стихотворения «На ночлеге»:

Знаю, завтра разбудит только
Словом будничным, кратким столь,
Я спрошу его: — Надо сколько? —
Он ответит: — Не знаю, сколь!

(Старуха в «Русском огоньке» отвечает еще более категорично: «Господь с тобой! Мы денег не берем».)

Но ведь такие ответы, такое отношение хозяев ночлега предполагают, что их собеседник и сам погружен в стихию народной жизни, что он расслышит не сказанное, не оскорбит беззащитной простоты... И когда вместо него появляется человек с психологией «сына морских факторий», когда ясно, что кроме тупости и идиотизма ничего не увидит он в этой почти обескровленной кремлевскими упырями жизни, этот человек рискует оказаться в пустыне своей гордыни, где и суждено закончиться выбранному им пути:

Он шел. Но угрюмо и грозно
Белели снега впереди!
Он вышел на берег морозной,
Безжизненной, страшной реки!
Он вздрогнул, очнулся и снова
Забылся, качнулся вперед...
Он умер без крика, без слова,
Он знал, что в дороге умрет.

Смерть — бессмысленная и нелепая смерть бродяги... Однако в романтической антитезе непонятой личности и тупой человеческой массы смерть эта приобретает почти трагедийное звучание. Тем более что согласно романтическому канону даже сама равнодушная природа не остается безучастной к гибели гордого человека: «Он умер, снегами отпетый...» И только люди:

...вели разговор
Все тот же, узнавши об этом:
— Бродяга. Наверное, вор.

Но странно, первое чувство неприятия человеческого равнодушия, запрограммированное самой ситуацией, быстро проходит, и возникает ощущение совсем другого рода. Умер чужой человек. Умер гордец, не знающий смирения, а значит, и сострадания, умер нелепо, глупо, и что же еще сказать, как иначе определить отношение к чужаку людям, которые живут в рамках христианской морали и сострадания, а не в романтических антитезах? Отношение должно быть сформулировано однозначно, ибо необходимо сразу заявить о своем неприятии произошедшего. Вот и звучит слово: «Бродяга!», а следом — уничижительное, не обвиняющее окончательно, но снижающее всякий романтический флер дополнение: «Наверное, вор».

Сказано жестко, но справедливо. Сам по себе путь, как бы труден он ни был, не представляет нравственной ценности. Уважаем и почитаем только истинный Путь. Зрелый Рубцов четко понимает разницу между бродягой и Путником. Отчасти понимал это, как мы видим по стихотворению «Да! Умру я!», и молодой Рубцов. Во всяком случае в Ташкенте он почувствовал, что превращается в не нужного никому и не несущего в себе ничего, кроме озлобления, бродягу. Он почувствовал в Ташкенте, что выбранный им путь — не тот Путь, который назначено пройти ему.

И вот — поражает в Рубцове это мужество, эта внутренняя сила! — он круто меняет свою жизнь. Осознав гибельность избранного им пути, переступив через обиду, смилив свою гордость, пытается он наладить отношения с родными. В марте 1955 года он приезжает в Вологду и разыскивает здесь отца. Сергей Багров утверждает, что «у Рубцова хранилось фото отца... На фотокарточке надпись: «На долгую память дорогому сыночку Коле. Твой папка. 4/III — 55. М. Рубцов».

Как проходила первая встреча с отцом, Рубцов никому не рассказывал. Он вообще мало рассказывал о своей жизни. Не из-за замкнутости или необщительности, а просто потому, что трудно было говорить об этом.

Подросток с чуть оттопыривающимися ушами, с густыми и широкими, но короткими бровями — таким Рубцов запечатлен на фотографии в паспорте — настороженно смотрел на незнакомого, возбужденно-веселого мужчину, который был его отцом.

Михаил Андриянович, должно быть, не очень-то уютно чувствовал себя под острым, напряженным взглядом сына. Он занимал хорошую должность, работал в ОРСе Северной железной дороги, знал, как надо обходиться с людьми, но этих знаний не хватало для того, чтобы понять, как вести себя в нынешней ситуации. К тому же то и дело заглядывала в комнату Женя — вторая жена Михаила Андрияновича. Неприязненно смотрела она на пасынка — вздыхала тяжело.

И вот вроде бы и дом у Михаила Андрияновича был свой, но Рубцову места в нем не нашлось. Жена Михаила Андрияновича не хотела становиться мачехой. Не для этого она выходила замуж за человека, почти вдвое старше ее.

До скандала, однако, дело не дошло.

Выручил старший брат Альберт. Демобилизовавшись из армии, он устроился работать на артиллерийском полигоне под Ленинградом. На семейном совете было решено, что Николай поедет к нему.

Едва ли Николая Рубцова устраивал подобный поворот дела, едва ли малодушие отца помогло сближению... И хотя в этот раз обошлось без скандала, но новая обида наслочилась на прежнюю. В 1957 году в стихотворении «Березы» Рубцов снова «похоронит» отца:

На войне отца убила пуля,
А у нас в деревне у оград
С ветром и с дождем шумел, как улей,
Вот такой же желтый листопад...

Но ташкентский порыв, смирение и великодушие, проявленные Рубцовым, не пропали даром. Сработало то, что в дальнейшем он сформулирует так: «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью». Не сумев сблизиться с отцом, Николай подружился с Альбертом. Тот и помог непутевому младшему брату хоть как-то устроиться на этой, «не для всех родной» земле.

Если сосчитать, где и сколько жил Рубцов, то получится, что в деревне в общей сложности поэт провел не более десяти лет, считая и детдомовские годы. Три года прожиты в Ленинграде, два — в Москве, пять — в Вологде. Всего на большие города падает десять лет. Плюс пять лет службы на флоте и работы на тральщике... Оставшиеся двенадцать лет — самый долгий срок — пришлось на небольшие города и поселки. И в этом его судьба как-то перекликается с событиями, происходившими в стране. Сговорившись с кремлевскими вождями, московско-ленинградские «ученые» на протяжении всех лет советской власти планомерно уничтожали и уничтожили-таки, свели на нет деревенскую Россию. Этапы раскулаченных мужиков и эшелоны спецпереселенцев сменились в хрущевско-брежневские десятилетия еще более мощными потоками мигрантов из деревень. Вчерашние хлеборобы пополняли армии лимитчиков, заселяли небольшие, разбухающие от великих строек городки и поселки.

В таком поселке под Ленинградом и обосновался Альберт Михайлович Рубцов, к которому приехал в 1955 году Николай. У Приютино, вокруг которого вырос этот поселок, своя история. Здесь, в усадьбе первого директора Императорской Публичной библиотеки, президента Академии художеств, секретаря Государственного совета Алексея Николаевича Оленина гостили А. Пушкин и К. Брюллов, М. Глинка и И. Мартос, А. Мицкевич и Ф. Толстой... Как писал Константин Батюшков:

Мечтает там Крылов
 Под тению березы
 О басенных зверях
 И рвет парнасски розы
 В приютинских лесах.
 И Гнедич там мечтает
 О греческих богах,
 Меж тем как замечает
 Кипренский лица их
 И кистию чудесной,
 С беспечностью прелестной,
 Вандиков ученик,
 В один крылатый миг
 Он пишет их портреты...

Но все это было давно. Пришел с годами в запустение прекрасный английский парк, заросла камышами речка Лубья... Над усадьбой и над поселком в пятидесятые годы распростер свои крылья испытательный артиллерийский полигон. Все строения оленинской усадьбы — господские дома, людская, кухня-прачечная — принадлежали ему. В бывшем барском доме, где сейчас открылся музей, в крошечной комнатухе жил со своей семьей Альберт Рубцов. Во флигеле напротив было общежитие: в большой — 96 квадратных метров — комнате, перегороденной шкафами и занавесками, разместилось двенадцать человек. Двое — с семьями. Здесь, в этой комнате, и поселили Николая Рубцова, устроившегося на полигон слесарем-сборщиком.

Сейчас дом, где жил Рубцов, вроде бы реставрируется. Но и разрушается... Собственно говоря, сейчас, когда повсеместно победила «демократия», слова эти стали синонимами. По узенькой лестнице поднялись мы на второй этаж, заглянули в комнату-общежитие. Полы там уже сняты, и проемы окон как-то неестественно поднялись к потолку.

Старого (тысяча девятьсот пятьдесят пятого года) Приютино уже не существует. Давно выселены прежние жители, но — странно! — самые близкие Николаю Рубцову все еще живут в поселке...

Уточняя, где находится дом номер два, Николай Тамбе, мой товарищ, с которым мы приехали в Приютино, обратился к парню, возившемуся во дворе запущенного, но еще не разрушенного флигеля.

— А вы подождите немного... — ответил тот. — Сейчас Николай придет. Вроде он жил в том доме...

— Ему не Беляков фамилия? — спросил я.

— Беляков... — ответил парень и удивленно посмотрел на меня. — А вы откуда знаете?

О Белякове я знал из книг Николая Рубцова, из его:

Не подберу сейчас такого слова,
Чтоб стало ясным все в один момент.
Но не забуду Кольку Белякова
И Колькин музыкальный инструмент... —

стихотворения, написанного в Приютино в 1957 году.

— А-а... — сказал парень. — Вон там за флигелем Колькина мать сидит. Поговорите, если хотите.

Действительно, в глубине двора грелась на солнце древняя старушка, а у ног ее, теребя сползшие чулки, крутился толстый, похожий на мячик щенок.

— Колюшка-то? Рубцов-то? — переспросила бабушка, когда нам удалось докричаться до нее. — Как же, как же не помнить... А где он сейчас-то, чего-то давно я его не встречала...

Мы не стали рассказывать, что — увы! — уже не встретить Николая Рубцова, что давно умер он, что его именем названа улица в Вологде, что, бронзовый, сидит он сейчас на берегу холодной реки... Восьмидесятичетырехлетняя старушка лучше помнила, что было в пятьдесят пятом году, чем то, что случилось вчера. Она и нас, похоже, приняла за приятелей Рубцова.

— Дружил он с Колькой моим... — сказала она. — Такой паренек хороший...

Зато Николай Васильевич Беляков разговорился не сразу. Жизнь у него сложилась нелегко, да и не очень-то он готов был к разговору. Хотя и слышал Николай Васильевич о Рубцове по радио, но настоящая слава поэта, похоже, еще не докатилась до Приютино.

Разговорился Николай Васильевич в парке, когда вспомнил вдруг — слышанное еще тогда в 55-м — рубцовское четверостишие:

И дубы вековые над нами
Оживленно листвою трясли.
И со струн под твоими руками
Улетали на юг журавли...

— Ну, как жили? — рассказывал он. — Бродили, колобродили, по ночам не спали. Рубцов много рассказывал, стихи читал, вспоминал детство свое, какое оно у него было плохое — рано остался без родителей. У них было два брата: он и Олег...

— Альберт... — поправил я.

— Олег, по-моему... Он уже женат был, жил тут в господском доме, у них там типа комнаты было... А Николай в нашем доме поселился, в общежитии. Я ему понравился, он мне понравился, в общем, подружились. Другие-то на Николая не обращали внимания, потому что он привязчивый очень был, все старался свои стихи прочесть... А у тех людей свои заботы... Ну, а нашел меня, и мы с ним частенько в этом парке сидели, разговаривали. Стихи свои прочесть, а потом спрашивает: нравится? Нравится, нормально, конечно... А он говорит: пойдём, я тебе еще прочитаю. Так и ходим всю ночь с ним.

Можно сказать, частенько ходили... Поэму свою читал. В ней все с самого малого детства, как он из детдома. Про себя и про брата. Они как раз вместе и росли там. Кормиться было трудно, так они убегали с братом. В общем, читал там о каждой корочке хлеба. Рассказывал эту поэму очень долго... А вообще нормальный парень был. Дружбу любил настоящую. Не любил, когда изменяют ему... Он верил в человека...

Этот бесхитростный рассказ Николая Васильевича Белякова я записал на магнитофон, и только дома, переноса на бумагу, услышал громкие, порою заглушающие нашу беседу голоса птиц. Такие же птицы пели здесь, наверное, и Николаю Рубцову...

— Вы, наверное, и в армию его провожали? — спросил я.

— Нет... Ну, в общем, об этом не обязательно знать, но заступился я за одного товарища, и, короче, посадили меня. Так что, скорее, это он меня провожал, ну и потом писал письма. И с армии писал. Такие письма были ужасно-прекрасные...

— А они не сохранились?

— Нет... Я потом снова сидел. Этот дом разломали, а мы во флигель перебрались. Куда-то исчезло все.

— А вы после встречались с Рубцовым?

— Да... Он приезжал сюда, когда узнал, что я освободился. И вот такой интересный эпизод был. Он вышел на Бернгардовке и решил проголосовать, чтоб сюда приехать. Поднял руку. Остановилась машина. Куда? В Прикутино... Ну, садись... А это вытрезвитель, в общем, был. А Коля поддавший. Ну и отвезли его туда. А у него с собой сто пятьдесят рублей денег было. Так пока его не раздели, восемьдесят рублей он спрятал в валенок. А остальные отдал. Ну и, короче говоря, когда оттуда вышел, деньги, которые отдавал, ему вернули, а те, что в валенке были, — исчезли. А ко мне наутро пришел. В дырявых валенках. Вот честно говорю — дырявые пятки. Сто пятьдесят рублей, а пятки на валенках рваные.

— А в каком это году было?

— Это было... В шестьдесят втором я женился... Шестьдесят четвертый примерно. Точно не помню, но так, у меня сынишке уже было года два. Вот он пришел и жалуется, так, мол, и так, в такую историю попал. Ну,

короче говоря, взяли мы, это дело отметили... И он уехал в Вологду. Обещал приехать. Даже, по-моему, это не шестьдесят четвертый был, а где-то побольше, потому что больше я его не видел...

— Может, он из Москвы приезжал?

— Да. Он учился там где-то. Значит, это было позже. Из Москвы он тоже ко мне приезжал, а это было позже. Потому что у меня опять неприятность получилась. И, короче, я уже в лагере узнал о его кончине. Такой журнал есть «Молодая гвардия». Там некролог написан был: трагически погиб. Я потом спрашивал вологодских ребят, а они говорят: да, его жена зарубила...

— Задушила...

— Или задушила. Ну... Я многих вологодских ребят спрашивал: знаете ли такого? Да, говорят, знаем...

Он замолчал.

— Мама ваша его хорошо помнит... — осторожно сказал я.

— А как же... — улыбнулся Николай Васильевич. — Отлично помнит. Он мою мамку здорово любил. Сюда приходил, никогда ему ни в чем не отказывали. И он такой внимательный был... А сам весельчак, на гармошке любил играть. Ночами тут покоя не давал некоторым. Гармошка, она ведь громко играет, не то что так просто... Он из-за Таи очень сильно переживал. Очень расстраивался. Он мне и в тюрьму писал об этом, и сюда... Почти все письма стихами были написаны.

О Таяе я тоже кое-что знал. В Госархиве Вологодской области (ГАВО), в фонде Рубцова, я видел фотографии красивой девушки, которые Рубцов сберег в своих бесконечных странствиях.

— А где она теперь живет? В Ленинграде?

— Таяя-то? Нет... Здесь она живет. Поедемте, покажу.

И вот мы в квартире Таи Смирновой — сейчас Таисии Александровны Голубевой.

Момент для встречи выбран неудачно. Еще не исполнилось сорока дней со смерти мужа — на телевизоре, рядом с его фотографией в рамке, стоит рюмка, прикрытая ломтиком хлеба. Не вовремя мы пришли — да откуда же знать? — но Таисия Александровна не отказывается от беседы.

Чуть смущаясь, чуть посмеиваясь над той собой, давней, она роется в альбоме.

— Рубцов веселый был. Такой веселый, ой! Выйдешь, бывало, на крыльцо, а он уже на гармошке играет. И на танцах играл. Тут парк такой хороший был, дак народ к нам даже из города приезжал. Это сейчас он заросший.

О танцах в приютинском парке Николай Рубцов вспоминал и в последний год своей жизни...

«Вечером придем с ребятами, девок еще ни одной нет. Я начинаю на гармошке играть, чтоб Тайка слышала. Потом отдам гармошку приятелю, чтоб тот играл, а сам — к Тайкиному дому. Попроверюсь как-нибудь задворками, и прямо — к крыльцу. Туман стоит, вблизи даже плохо видно. Смотрю — стоит Тайка на крыльце в белом платье и гармошку слушает. Она думает, что я играю, а я вот он где! Сердце стучит, на душе хорошо! Выскочишь из тумана и к ней. Она вся испугается, а я смеюсь. Хорошо было!»

— И под гармошку танцевали? — спросил я у Таисии Александровны.

— Угу... Еще радиола была. А так вообще и под гармошку.

— А Рубцов не писал из армии?

— Писал... Только сейчас уже не сохранилось ничего. Вот... Только фотографии. Тридцать ведь лет прошло.

И она положила на стол четыре фотографии. На одной — Николай Рубцов в куртке-москвичке с белым воротником, с густыми еще, зачесанными набок волосами. Он лежит перед кустом в траве и чуть усмехается. На обороте его рукой написано:

«Мы с тобою не дружили,
Не встречались по весне,
Но того, что рядом жили,
Нам достаточно вполне!

Тая от Коли.

29/VIII—55 г.

Приютино».

Через два дня Тая подарит Рубцову свою фотографию, ту самую, которая хранится в ГАВО, в рубцовском фонде. На ее обороте надпись:

«На долгую и вечную память Коле от Таи.

30/VIII—55 г. Красоты Приютино здесь нет, она не всем дается, зато душа проста и сердце просто бьется».

С этой фотографией и ушел Николай Рубцов в армию. Остальные его фотографии присланы уже с Северного флота. На одной — снова стихи:

«Не стоит ни на грош
Сия открытка...

Все ж,

Как память

встреч случайных,

Забытых нами встреч,

На случай грусти тайной

Сумей ее сберечь.

1/1 — 1956 г.

Тае от Коли».

История юношеского романа, который пережил Николай Рубцов в Приютино, обыкновенна, почти банальна.

— Как-то у нас ничего серьезного и не было... — рассказывает Таисия Александровна. — Почему-то не нравился он мне. Девчонка была, дак чего понимала? Мы же не знали тогда, что он такой знаменитый станет. Ничего у нас с ним не было. В армию проводила и все. А потом? Потом я встретила с одним человеком...

— А Рубцов приезжал к вам?

— Приезжал... Знаете, какой он потом пьяница был? Он в таком виде приезжал, что мы даже перепугались все. Весна была, а он в рваных валенках, из кармана бутылка торчит. И говорит моему мужу: выйди, мне надо поговорить с ней. А я говорю: нет! Чего нам с тобой разговаривать? Николай тогда посмотрел на мужа и пальцем погрозил: смотри, если только ее обидишь, из-под земли достану.

Я пишу это и смотрю на подаренную Таисии Александровне фотографию молодого Рубцова.

В «москвичке» с белым воротником, перепоясанный ремнем с неуклюжей, бросающейся в глаза пряжкой, девятнадцатилетний Рубцов крутит в руках травинку и смотрит прямо в объектив фотоаппарата. Через несколько дней ему идти в армию. Но это не пугает его. Растерянности нет в его взгляде. Здесь, в Приютино, его будут ждать родные, друзья, любимая девушка..

И не случайно, что на побывку в пятьдесят седьмом

году Рубцов едет сюда, как некогда ездил на каникулы из Тотьмы в Николу...

Соловьи, соловьи заливались, а ты
Заливалась слезами в ту ночь;
Закатился закат — закричал паровоз,
Это он на меня закричал!..

Да, я знаю, у многих проходит любовь,
Все проходит, проходит и жизнь,
Но не думал тогда и подумать не мог,
Что и наша любовь позади.

А когда, отслужив, воротился домой,
Безнадежно себя ощутил
Человеком, которого смыло за борт:
«Знаешь, Тайка встречалась с другим!»

Разумеется, в лирическом стихотворении свои законы отражения действительности. Поэт изменяет, деформирует на свой лад реальные события, как того требует драматургия стиха, но живая, нестихающая боль оживает в душе, и, сминая весь напевно-лирический настрой, врывается криком: «Знаешь, Тайка встречалась с другим!»

Кто знает, любила ли тогда Тая Рубцова. Она и сама сейчас не помнит этого, потому что молодого Рубцова заслонил страшный, пьяный Рубцов, который вломился в ее квартиру уже в шестьдесят пятом году.

Скорее всего, любила... И, изменив, боялась. Этот страх Таисия Александровна помнит и сейчас: «С армии-то когда пришел Рубцов, дак он идет по дороге с чемоданом, а я убежала из дома — спряталась».

И может быть, все и было, как в стихах Рубцова:

Закатился закат. Задремало село.
Ты пришла и сказала: «Прости».
Но простить я не мог, потому что всегда
Слишком сильно я верил тебе!

Ты сказала еще: — Посмотри на меня!
Посмотри — мол, и мне нелегко.
Я ответил, что лучше на звезды смотреть,
Надоело смотреть на тебя!

Соловьи, соловьи заливались, а ты
Все твердила, что любишь меня.
И, угрюмо смеясь, я не верил тебе.
Так у многих проходит любовь...

В трудный час, когда ветер полощет зарю
В темных струях нагретых озер,
Птичьи гнезда ищу, раздвигая ивняк,
Сам не знаю, зачем их ищу.

Это правда иль нет, соловьи, соловьи,
Это правда иль нет, тополя,
Что любовь не вернуть, как нельзя отыскать
Отвихрившийся след корабля?

Эти риторические, обращенные к соловьям и тополям вопросы совсем не так уж и риторичны для Рубцова, который ощущает себя «человеком, которого смыло за борт».

Я так подробно останавливаюсь на истории первой любви Рубцова, потому что она многое проявила в его характере. Детдомовское детство было тяжело еще и тем, что даже элементарного представления об азбуке человеческих отношений, выходя в самостоятельную жизнь, Рубцов не получил. Для молодого Рубцова характерно суровое неприятие даже малейших компромиссов, полное отсутствие умения подлаживаться под характер другого человека. Разумеется, качества, может быть, и не самые плохие, но доставляющие обладателю их массу хлопот. Тем более такому ласковому, влюбчивому человеку, каким был Рубцов.

Бушующая в душе любовь не способна смягчить его. Наоборот, Рубцов словно бы упивается своей горечью.

Стихотворение «Соловьи» написано в 1962 году, когда время все-таки смягчило боль разрыва, а в пятьдесят седьмом свой гнев Рубцов выплеснул в есенинском дольнике. Над стихами стоит посвящение — «Т. С.» — Таисии Александровне, носившей в девичестве фамилию Смирнова.

Хочешь, стих сочиню сейчас?
Не жаль, что уйдешь в обиде...
Много видел бесстыжих глаз,
А вот таких не видел!
Душа у тебя — я знаю теперь —
Пуста и темна, как сени...

«Много в жизни смешных потерь», —
Верно сказал Есенин *.

Не лучший, конечно, избрал путь Николай Рубцов, чтобы вернуть расположение возлюбленной... Как, впрочем, и когда, не надеясь ни на что — и все-таки надеясь! — пришел в ее дом в шестьдесят пятом в рваных валенках, с поллитровкой, торчащей из кармана.

— Я чего-то раньше и вообще не замечала, чтобы кто-то особенно пил тогда, — рассеянно, словно и позабыв, что разговаривает с нами, произнесла Таисия Александровна. — А про Рубцова все считали, что он детдомовский, что он и не пьяница совсем... И вот явился в таком виде. Весна. Сыро. А он в валенках без галош. Весь мокрый. Бутылка в кармане. Я потом об этой встрече его родственнице рассказала, которая на Котовом поле живет. А она говорит: никогда не поверю. Он, знаешь, как ходит. С тростью, в шляпе, разодет весь. Ну, не знаю, говорю, я его таким никогда не видела... А он что? Правда, с тростью ходил? В шляпе?

Нет... Насчет трости я ничего не слышал. Николай Михайлович Рубцов вообще очень мало заботился о своей одежде. Это уже бронзового приделали его, обули в красивые туфли, накинули на плечи элегантное пальто... А в жизни все было не так красиво, не так изящно...

Хотя шляпа была. Шляпу носил. Про эту шляпу можно даже прочитать в воспоминаниях Владимира Степанова, который познакомился с Рубцовым летом 1967 года. Вместе с ребятами из «Вологодского комсомольца» он отправился пообедать в ресторан «Чайка». И все время с удивлением поглядывал на Рубцова, «который и в ресторане не снимал с головы помятую соломенную шляпу. Но и шляпа не скрывала, что голова пострижена наголо». Заметив удивление Степанова, Рубцов, смущаясь, рассказал, что накануне его обокрали и — Рубцов тогда с чемоданчиком ходил по городу, перенося свое добро на другую квартиру, — когда он обнаружил пропажу и бросился догонять вора, на бегу врезался в милиционеров, а те, не долго думая, взяли его под руки и отвели в отделение. В общем, повторилась почти та же история, о которой рассказал Н. В. Беляков. Разница состояла

* Стихотворение цитируется по книге В. Кожина «Николай Рубцов», серия «Писатели Советской России». М., 1976. С. 47.

только в том, что теперь Рубцов был трезвым и без денег. Тем не менее исход был столь же печальным. «Пока ждали начальство, пока где-то разбирались в документах, поэта остригли. А через несколько минут, видя, что он не пьян, не буянит, и сообразив, что он ничего не совершил, отпустили».

Так что носил Рубцов шляпы... Как не носить... Кстати, год назад я прочитал в Вологде объявление: «Ателье головных уборов переехало на улицу Николая Рубцова».

Тут бы и посмеяться, как умеет жизнь закручивать сюжеты, только почему-то было это совсем не смешно.

Невеселым оказался отпуск матроса Рубцова в 1957 году... Разрыв с Тасей он переживал так тяжело еще, может быть, и потому, что все рушилось, ничего не оставалось от жизни, которую он сам для себя придумал:

Когда-то я мечтал под темным дубом,
Что невеселым мыслям есть конец,
Что я не буду с девушками грубым
И пьянствовать не стану, как отец.
Мечты, мечты... А в жизни все иначе.
Нельзя никак прожить без кабаков.
И если я спрошу: «Что это значит?» —
Мне даст ответ лишь Колька Беляков.

Но — увы — и с другом было не посоветоваться, друг тянул свой срок в лагерях. Да и брату, похоже, было не до Рубцова. У него были свои проблемы.

Ты говорил, что покинешь дом,
Что жизнь у тебя в тумане,
Словно о прошлом, играл потом
«Вальс цветов» на баяне...

«Словно о прошлом» нужно было научиться и Рубцову думать о Приютино, которое уже привык он считать родным. Еще одна местность могла стать его домом и не стала им, еще один вариант благополучной жизни был перечеркнут безжалостной судьбой.

Я люблю, когда шумят березы,
Когда листья падают с берез.
Слушаю — и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез...

Брат исполнил свое обещание. Уехал. А Николай Рубцов, хотя и приезжал после пятьдесят седьмого года в Приютино, но только в гости.

Об этом и думал я, разговаривая с Таисией Александровной Голубевой.

— А после шестьдесят четвертого вы не видели его?

— Нет... — вздыхая, ответила она. — Больше не приезжал он сюда...

Не приезжал... Зато сколько раз вспоминал о Приютино, сколько раз переносился душой в эти места, которые могли стать его домом. И разве не о старинном приютинском парке вспоминал Рубцов за три года до смерти, когда писал:

Песчаный путь
В еловый темный лес.
В зеленый пруд
Упавшие деревья.
И бирюза,
И огненные перья
Ночной грозой
Вымытых небес!

Желтея грустно,
Старый особняк
Стоит в глуши
Запущенного парка...

12

В рубцовском фонде в Государственном архиве Вологодской области хранится снимок: мельтешащие над морем чайки, а вдалеке — крохотное, как эти чайки, суденышко. На обороте рукой Рубцова написано:

«Море черного цвета,
Снег на горах.
Это начало лета
В наших местах!

г. Североморск».

В Североморске, визирщиком на эскадренном миноносце, и проходила флотская служба Николая Михайловича Рубцова. Служба была суровая, края тоже суровые, но — странно! — такое веселое лицо у Рубцова только на флотских фотографиях.

Об этом же и воспоминания людей, знавших Николая Рубцова в те годы...

«Думаю, что время службы на флоте, — пишет Борис Романов, — было для него самым благополучным — в бытовом отношении — за всю-то его несладкую жизнь...»

Психологически объяснимо, почему именно тогда Рубцову удалось преодолеть комплекс своей «несчастливости». На флоте Рубцов впервые оказался в равном положении со своими сверстниками. Годы детдома — там равенство было заведомо ущербным — не в счет... А здесь, на службе, хотя и имели товарищи Рубцова свой дом, любящих родителей, но это не создавало им никаких преимуществ по сравнению с Рубцовым. Конечно, они грустили, тосковали о своих близких, но грустить было не заказано и ему. Более того, погружаясь мечтами в выдуманную жизнь, он грустил еще слаще, чем они:

Как живешь, моя добрая мать?
Что есть нового в нашем селенье?
Мне сегодня приснился опять
Дом пустой, сад с густою сиренью.

Ни в коей мере не идеализируя ранние стихотворные опыты Рубцова, все же надо сказать, что раньше он никогда не писал так. Самообман, опасный для любого человека, для такого поэта, как Рубцов, был опасен вдвойне. Конечно, он играет... Хотя бы в стихах, хотя бы в словах пытается примерить на себя облик человека, у которого есть мать, но в том-го и беда, что в этой игре легко перескользнуть через запретную черту. Так играть нельзя. Игра эта опасна прежде всего для собственной души и — случайно ли? — флотские стихи Рубцова поражают своей внутренней пустотой:

Улыбку смахнул
командир с лица:
Эсминец в атаку брошен.
Все наше искусство
и все сердца
В атаку брошены тоже.

Чужие слова, отработанные, ставшие штампами, мертвые схемы полностью вытесняют из стихов голос самого Рубцова, превращают стихи в графоманские опусы:

Я труду научился на флоте,
И теперь на любом берегу
Без большого размаха в работе
Я, наверное, жить не смогу...

Кощунственно говорить так о Рубцове, но наша задача заключается не в том, чтобы пропеть очередной дифирамб гению русской поэзии. Нет! Мы пытаемся проследить, насколько это возможно, подлинный его Путь. А идти по этому пути было трудно и — увы — часто сворачивал Рубцов на уведящие вбок кривые тропинки, и чудо, что каждый раз удавалось ему вернуться назад.

Здесь, наверное, позволительно будет небольшое отступление. У нас сложился сейчас своеобразный жанр воспоминаний-биографий, где в лучших традициях житийной литературы рисуется облик этакого ортодоксально-советского, благостно-русского человека. Традиция, в принципе заслуживающая внимания, но — увы — такие фигуры, как Рубцов, в схему подобной житийной литературы не вмещаются. И прежде всего потому, что в его биографии при всем желании невозможно обнаружить благостного единения поэта с народом. Напротив, оказываясь «в народе», Рубцов зачастую чувствовал себя неуютно. Подобные факты его биографии замалчиваются, ибо разрушают благостную схему, тот «имидж», который сам для себя придумал поэт.

Но кто решил, будто народ врачует душу художника, утешает его? Представление это тем более неверное, что понятие «вечный народ» (тот народ, который был, есть и будет) подменяется в нем более узким. Народом называются лишь непосредственные современники поэта. А этот, нынешний, сиюминутный народ не бережет и не может сберечь никого. Нелепо даже и говорить об этом. Более того, это «небрежение» необходимо самому художнику, ведь не в приятственно-маниловском диалоге зреет душа, а в столкновении, в жесткой и беспощадной ломке судьбы.

Разумеется, у девятнадцатилетнего Рубцова не было бесстрашия, необходимого для выбора своего единственного Пути. Это мужество появится в нем позднее, в шестьдесят четвертом году, а пока? Пока он просто стремится быть таким же, как все.

Но в армии как раз и требуют, чтобы ты был таким же, как все. Так что гармония получалась полная — внутренний настрой сливался с требованиями действи-

тельности... Поэтому-то, наверное, и чувствовал себя Рубцов все годы службы счастливым...

Службы он не боялся. Благодаря детдомовскому опыту к т а к о й жизни он был подготовлен лучше других.

Один московский прозаик, человек весьма наблюдательный, рассказывал мне о драке в общежитии Литинститута, в которой участвовал и Рубцов. Более всего поразило рассказчика, что тщедушный Рубцов хорошо «держал удар». То есть ни на мгновение не терялся от боли и по мере своих сил наносил урон более мускулистым противникам.

Что и говорить, «держат удары» жизнь научила Рубцова, и суровость флотской службы едва ли пугала его...

Тем более что складывалась она у Рубцова вполне благополучно. Как отличник боевой и политической подготовки, он получил право посещать занятия литературного объединения при газете «На страже Заполярья».

Чему учили на занятиях литобъединения, видно из заметки, напечатанной в газете:

«У ФЛОТСКИХ ПОЭТОВ И ПРОЗАИКОВ

В минувшее воскресенье члены литературного объединения при газете «На страже Заполярья» собрались на очередное занятие...

С поэтами беседовал Зелик Яковлевич Штейман, уже знакомый членам литобъединения по встрече в прошлом году. Он конкретно разобрал некоторые произведения старшего матроса Николая Рубцова... Речь шла о поэтическом мастерстве, о борьбе за образность и действенность стихов, о точности словоупотребления, о необходимости высокого душевного накала при создании каждого произведения и большей требовательности к себе — требовательности в свете решений Коммунистической партии».

Стоит ли удивляться, что Рубцов — этот тончайший лирик, лирик по самой природе своей — писал тогда:

От имени жизни, идущей в зенит
Расцвета, —

в заветное завтра,
Это же сила мира гремит
В наших учебных залах.

Впрочем, в газете «На страже Заполярья» он писал и не такое. Политуправление постоянно поручало кружковцам подготовку различных «политических» листовок, и Рубцов отличился и на этой стезе. 3 апреля 1959 года

вместе с капитаном В. Лешкиновым, старшиной второй статьи Р. Валеевым, матросом К. Орловым он пишет «Открытое письмо начальнику штаба ВМС США адмиралу Арлейгу Бэрку»:

Известно всем — СССР
Ракетами силен.
И можем мы, почтенный сэр,
Любой достать район.

Стихи эти не нуждаются в комментарии. Такое ощущение, что автор словно бы полностью освободился от ненужного груза человеческих чувств...

Удивительно, как меняется лицо Николая Рубцова за годы службы. Бесследно исчезает мальчишка в бескозырке, что запечатлен на фотографии «Привет из Североморска»... Вместо него — незнакомый нам человек...

Конечно, неверно было бы думать, что Рубцов искренне верил в то, что он писал по заданию политуправления... Но и считать, что стихотворные опусы тех лет никак не задевали душу, тоже неверно. Многое, многое в этих стихах — искреннее... А неудовлетворенность, разумеется, была. После побывки в Приютино в 1957 году началась в Рубцове та внутренняя, неподвластная ему самому работа, которая и сделала Рубцова великим поэтом...

Подтверждением ее служат не те флотские стихи, что публиковались на страницах газеты «На страже Заполярья» или в альманахе «Полярное сияние», а, к примеру, первый, написанный еще тогда вариант «Элегии»... Но для окружающих смысл внутренней работы, происходившей в Рубцове, был непонятен, и неудивительно, что, как пишет в своих воспоминаниях Валентин Сафонов, стихи:

Стукнул по карману — не звенит,
Стукнул по другому — не слышать.
В тихий свой, безоблачный зенит
Улетают мысли отдыхать.
Но очнись, и выйду за порог,
И пойду на ветер, на откос
О печали пройденных дорог
Шелестеть остатками волос... —

были восприняты товарищами по литобъединению как шутка. «Очень уж не вязалась печальная наполненность

этих строк с обликом автора — жизнерадостного морячка. Впрочем, даже не то что не вязалась — противоречила ему. Был Николай ростом не высок, не крепок. Пышные усы носил — они ему довольно задиристый, этакий петушковатый вид придавали. Короткую, по уставу, прическу, в которой если и содержался намек на будущую лысину, то весьма незначительный. Аккуратен, подтянут — флотская форма очень шла ему...»

Впрочем, и стихи, написанные в 1957 году в Приютино, тоже не очень-то вяжутся с обликом «жизнерадостного морячка»...

И все-таки, понимая, что во время службы на флоте Рубцов почти вплотную подошел к грани, за которой начинался уже совсем другой человек, не имеющий никакого отношения к тому подлинному Рубцову, которого мы знаем, что-то удерживает назвать его флотские годы потерянными. Нет... Здесь, на флоте, Рубцов впервые в жизни почувствовал, что он может преодолеть собственную несчастливость, он почувствовал в себе силу, позволившую ему перешагнуть через детдомовскую закомплексованность и стать хозяином собственной жизни.

«О себе писать ничего пока не стану, — сообщает Рубцов В. Сафонову. — Скажу только, что все чаще (до ДМБ-то недалеко!) задумываюсь, каким делом заняться в жизни. Ни черта не могу придумать! Неужели всю жизнь придется делать то, что подскажет обстановка? Но ведь только дохлая рыба (так гласит народная мудрость) плывет по течению!»

Осенью 1959 года Николай Рубцов демобилизовался.

Перед отъездом он заезжал в Североморск к Валентину Сафонову, чтобы попрощаться.

«— Куда проездной выписываешь?

— Еще не думал. — Грусть была в его голосе. — Может, в Вологду, в деревню подамся, а может, в Ленинград. Там у меня родственник на заводе работает. Приютит на первый случай. Ты все-таки питерский адрес запиши — оно вернее...

И с той же грустью добавил:

— Четыре года старшина голову ломал, как меня одеть-обуть и накормить... Теперь самому ломать при-

дется... Да не о том печаль. Ждал я этого дня, понимаешь! Долго ждал. Думал, радостным будет. А вот грызет душу тоска. С чего бы?

Я проводил его к причалу. Мы стояли на берегу. Был час прилива. Тугая волна медленно наступала на берег, закрывая отмели, тинистое дно, весь тот травяной, древесный и прочий хлам, который годами скапливался в море...»

13

Демобилизовавшись, Рубцов еще не решил наверняка, где осесть и чем заняться на «гражданке».

— Может быть, в деревню подамся... — прощаясь, сказал он В. Сафонову.

Трудно судить, насколько серьезными были эти слова, но, как вариант, обдумывал Рубцов и такую перспективу. В деревне он не был уже больше восьми лет, и сейчас, после всех преобразований Никиты Сергеевича, ему могло казаться, что жизнь там изменилась к лучшему.

Демобилизовался Николай Рубцов двадцатого октября, а в ЖКО Кировского завода устроился только 30 ноября. Почти полтора месяца заняла поездка в деревню... Косвенно свидетельствует об этом и стихотворение Рубцова «Загородил мою дорогу», написанное тогда же, в 1959 году.

Готовя его к публикации в «Юности» в 1964 году, Николай Рубцов — то ли по настоянию редакции, то ли по собственной воле — до неузнаваемости переработал текст. В первоначальном же варианте стихотворение звучало так:

Загородил мою дорогу
Грузовика широкий зад.
И я подумал: слава Богу, —
село не то, что год назад!
Теперь в полях везде машины
И не видать худых кобыл.
Один лишь древний дух крушины
все так же горек, как и был.
Да, я подумал: «Слава Богу!»
Но Бог-то тут при чем опять?
Уж нам пора бы понемногу
от мистицизма отвыкать.

Давно в гробу цари и боги,
И дело в том — наверняка, —
что с треском нынче демагоги
летят из Главков и ЦК!

По сравнению с тем, что печатал Рубцов на страницах «На страже Заполярья», поэтом сделан шаг вперед. Вопрос в другом — в какую сторону сделан этот шаг? Стихотворение словно бы разрывают две противоборствующие силы. «Древний дух крушины», горько растекающийся над полями, не только не вяжется с заимствованным у новоявленных эстрадных политруков призывом «от мистицизма отвыкать», но и разрушает, сводит на нет картину положительных перемен, что произошли в деревне. Как уже говорилось, в 1964 году Рубцов попытался переработать стихотворение и, безжалостно жертвуя эффективной концовкой, изъял эстрадно-атеистические строки, но лучше стихотворение не стало, оно поблекло, превратилось в малозначащую пейзажную зарисовку...

Причина неудачи понятна. Хотя и отвратительна была Рубцову эйфория шестидесятнического пафоса, но ведь именно это он и чувствовал тогда, именно так и думал, демобилизовавшись с флота. А изымать самого себя из стихов — занятие заведомо бесперспективное.

Что же думал, что чувствовал Рубцов в пятьдесят девятом году — на вершине хрущевского десятилетия? Два года назад отшумел в Москве фестиваль, когда словно бы распахнулись окна во все концы света. Еще два года и этот необыкновенный подъем завершится триумфом — полетом в космос Юрия Гагарина. Ощущение свободы, предчувствие перемен захлестывало тогда страну, и как же остро должен был ощущать это Рубцов после тесноты корабельных помещений и духоты политбесед... Сугубо личные ощущения опять совпали у него с доминантой времени, и, быть может, если бы из Североморска Рубцов сразу поехал в Ленинград, он бы и не уловил никакого противоречия, смело бы двинулся по эстраднему пути и — кто знает? — какая бы судьба ожидала его... Наверное, в личностном плане более счастливая, более благополучная, ибо страшен и труден Путь человека, который идет против времени.

Но Рубцову «не повезло». Из Североморска он поехал не в Ленинград, а в деревню, за счет окончательного разорения которой и оплачивались блистательные триумфы хрущевского десятилетия. Те первые реформы, что

вызывали надежды на улучшение деревенской жизни, уже давно были сведены на нет кукурузными аферами Никиты Сергеевича, а широкомасштабное движение страны к коммунизму, начавшееся с разорения личных хозяйств и приусадебных участков колхозников, вообще отбросило деревню к временам коллективизации.

Конечно, понять это сразу человеку, которому четыре года вдалбливали на политзанятиях мысль о правильности и разумности политики партии, было невозможно. Вот Рубцов и замечает обнадеживающие перемены, надеется, что в дальнейшем, когда выгонят из Главков и ЦК еще несколько десятков демагогов, будет еще лучше, почти совсем хорошо... Только вот никак не отвязаться от всепроникающей горечи крушины, которой пропиталась вся здешняя жизнь, но, может, просто кажется, просто мерещится этот «древний дух»?

Наверное, с этими мыслями и уехал Рубцов из деревни... Но хотя и перебрался он в большой город, где совсем не слышно было горечи деревенской жизни, трещинка в его вере в благотворность хрущевских перемен появилась.

Трещинка эта пугала Рубцова. Очень хотелось позабыть увиденное в деревне. словно стремясь вернуться в прежнюю, флотскую простоту и ясность жизни, он пишет:

И с таким работал жаром,
Будто отдан был приказ
Стать хорошим кочегаром
Мне, ушедшему в запас!

Приказ такой отдавал себе сам Рубцов, но он же сам и не подчинялся ему, не мог подчиниться. И такие стихи, как «В кочегарке», не только не проясняли жизнь, но вызывали еще большую неудовлетворенность собой. Не подвластные самому Рубцову процессы шли в нем, и духовное прозрение совершалось как бы против его воли.

О все нарастающем чувстве неудовлетворенности свидетельствует письмо Валентину Сафонову, отправленное Рубцовым 2 июля 1960 года. Рубцов так описывает свою ленинградскую жизнь: «...сперва было не очень-то весело, теперь же можно жить, так как работать устроился на хороший завод, где, сам знаешь, меньше семисот рублей никто не получает. С полочки особенно хорошо: хожу

в театры и в кино, жру пирожное и мороженое и шляюсь по городу, отнюдь не качаясь от голода.

Вообще, живется как-то одиноко, без волнения, без особых радостей, без особого горя. Старею понемножку, так и не решив, для чего же живу. Хочется кому-то чего-то доказать, а что доказывать — не знаю. А вот мне сама жизнь давненько уже доказала необходимость иметь большую цель, к которой надо стремиться».

Сходные мысли звучат и в стихотворении о детстве, когда «...мечтали лежа // о чем-то очень большом и смелом, // смотрели в небо, и небо тоже // глазами звезд на нас смотрело...».

Но и обращение к детству — эта спасительная для многих палочка-выручалочка — не помогает Рубцову преодолеть неудовлетворенность. Ловко подогнанные друг к другу строчки:

Я рос на этих берегах!
И пусть паром — не паровоз.
Как паровоз, на всех парах
Меня он в детство перевез... —

не способны удержать образы реальной жизни. Стихи Рубцова все более заполняются словесной эквилибристикой:

Буду я жить сто лет,
и без тебя — сто лет.
Сердце не стонет, нет,
Нет, сто «нет»!

В своей антологии новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны» Константин Кузьминский сообщает, что именно в 1961 году Рубцов увлекался перевертышами. «Интерес к вывескам наблюдался у поэта Коли Рубцова, который писал мне в 1961 году, что ходит по городу и читает вывески задом наперед. Элемент прикладного абсурда, о котором, в приложении к Рубцову, ни один из его биографов не сообщает. Тем не менее это литературный факт. Письмо я натурально потерял. В письме еще были стихи, но они где-то приводятся по памяти».

Справедливости ради надо сказать, что интерес к словесной игре сохранялся в Рубцове до конца жизни. Многие вспоминают, как по утрам придумывал он шуточные хулиганские стихотворения. Это было своеобразной гим-

настикой для ума... Подобных шуток-экспромтов немало воспроизведено в воспоминаниях о поэте, но сам поэт редко записывал их. Придумывались эти шутки для разминки, для «разогрева» и самоцелью для Рубцова уже не являлись.

В 1960 году Николай Рубцов поступил в девятый класс школы рабочей молодежи номер сто двадцать. В мае 1961 года устроился работать шихтовщиком в копровый цех Кировского завода и поселился в общежитии на Севастопольской улице.

Товарищ Николая Рубцова по общежитию — Александр Васильевич Николаев вспоминает:

— Жил я в одной комнате с Николаем Рубцовым... Койки наши стояли рядом. Засиживались вечерами допоздна: я учился в машиностроительном техникуме, Николай — писал стихи. В его тумбочке лежала стопка листов, испещренных пометками, вычеркнутыми строчками, вымаранными чернилами словами. Иногда Николай часами бился над одним словом. Бывало, вернемся с завода в общежитие — в комнате хоть шаром покати: добываем у ребят хлеба, ставим чайник, пьем кипяток...

В молодости общежитейский неуют переносится легче, но не таким уж молодым был Рубцов, да и все двадцать пять скитальческих лет, оставшихся за спиной, тоже брали свое, и временами в стихах прорывалась горечь:

Что делать? —

ведь ножик в себя не вонжу,
и жизнь продолжается, значит.

На памятник Газа в окно гляжу:
железный! А все-таки... плачет.

«Николай Рубцов, — пишет в своих воспоминаниях Глеб Горбовский, — был добрым. Он не имел имущества. Он им всегда делился с окружающими. Деньги тоже не прятал. А получка на Кировском заводе доставалась нелегко. Он работал шихтовщиком, грузил металл, напрягал мускулы. Всегда хотел есть. Но ел мало. Ограничивался бутербродами, студнем. И чаем. Супы отвергал.

Помню, пришлось мне заночевать у него в общежитии. Шесть коек. Одна оказалась свободной. Хозяин отсутствовал. И мне предложили эту койку. Помню, как Рубцов беседовал с кастеляншей, пояснял ей, что пришел ночевать не просто человек, но — поэт, и поэтому необходимо — непременно! — сменить белье».

Жил Рубцов в общежитии на Севастопольской, в комнате номер шестнадцать, где и были написаны стихи, вошедшие в сокровищницу русской классики: «Видения на холме», «Добрый Филя»... Первые стихи настоящего Рубцова.

14

Как и когда началось превращение рядового сочинителя, среднего экспериментатора в великого поэта? Едва ли и в дальнейшем, когда более основательно будет изучен ленинградский период жизни Рубцова, мы сможем получить исчерпывающий ответ на этот вопрос. Даже его тогдашние друзья не уловили произошедшей в нем перемены.

«Не секрет, — пишет в своих воспоминаниях Г. Горбовский, — что многие даже из общавшихся с Николаем узнали о нем как о большом поэте уже после смерти. Я не исключение».

Но если мы не можем ответить на вопрос «когда?», то объяснить, почему случилась эта перемена, в общем-то, можно.

Ни в Москве, ни в Ленинграде о трагедии гибнущей русской деревни ничего не знали и не хотели знать. Магазины были завалены продуктами, и здешнюю публику больше волновали нападки Хрущева на абстракционистов. После того известного выступления Хрущева, как утверждают многочисленные мемуаристы, и отшатнулась от Никиты Сергеевича интеллигенция, а отнюдь не с его наступления на Едую деревню.

Об этом свойстве советской интеллигенции очень точно скажет несколько лет спустя А. И. Солженицын: «Отчасти по московско-ленинградской нечувствительности к страданиям деревни и провинции (эти два города полвека были усыплены и подкуплены за счет ограбления остальной страны) наша образованщина слепа и глуха к национальному бытию, не научилась видеть и не тянется видеть процессы истинные, грандиозные: вода,

воздух, земля, еда, отравленные продукты, семья, вымирание, новое брежневское наступление на деревню, уничтожение последних остатков крестьянского уклада; что 270-миллионный народ мучается на уровне африканской страны, с неоплаченной работой, в болезнях, при кошмарном уровне здравоохранения, при уродливом образовании, сиротстве детей и юношества, оголтелой распродаже недр за границу, — но читайте журналы и сборники плюралистов: об этом ли они пекутся? Если бы действительно заботились о России — то почему ни о чем об этом?..»

Неверно было бы считать, что Рубцов вообще не был заражен «московско-ленинградской нечувствительностью» к страданиям деревни. Его стихотворение «Я забыл, как лошадь запрягают...» передает типичные для переехавшего в город человека представления о деревенской жизни.

Да и вся система официального и неофициального воспитания навязывала Николаю Рубцову губительный для нравственности атеизм, пренебрежительно-снисходительный взгляд на традиции и уклад деревенской жизни.

«Прозрение» пришло, вероятно, во время поездки на Вологодчину. Едва ли стихотворение «Видения на холме» (первоначальное название «Видения в долине») осознавалось самим Рубцовым как начало принципиально нового периода в его творчестве. Стихотворение задумывалось как чисто историческое, но, обращаясь к России:

Россия, Русь —
Куда я ни взгляну!
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы... —

поэт вдруг ощутил в себе силу родной земли, и голос его стал набирать мощь, обретая привычные нам рубцовские интонации:

Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...

И неслучайно строки, призванные, по мысли поэта, нарисовать картину военного нашествия давних лет, неразрывно слились с картиной хрущевского лихолетья:

Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и доли
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы,
Они несут на флагах черный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестностях России.

И вместе со стихотворением рождалось искупительное прозрение:

Кресты, кресты...
Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они — и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной — бессмертных звезд Руси,
Спокойных звезд безбрежное мерцанье...

В «Видениях на холме» можно обнаружить не только интонации и образы, характерные для зрелого Рубцова, но и характерное только для него восприятие мира, понимание русской судьбы.

Существует немало исследований, доказывающих, что Рубцов в значительно меньшей степени, чем, например, Есенин, испытал на себе влияние фольклора. Возможно, исследователи и правы, пока речь идет о чисто внешнем влиянии, но если проанализировать более глубинные взаимосвязи, то обнаружится, что все не так просто. От фольклора у Рубцова — особое восприятие времени. Прошлое, настоящее и будущее существуют в его стихах одновременно, и если и связаны какой-либо закономерностью, то гораздо более сложной, нежели однолинейная выстроенность.

От фольклора у Рубцова и двусмысленность шуточных стихотворений («Я забыл, как лошадей запрягают...»), и многозначность серьезных стихов. В строке «Россия, Русь! Храни себя, храни!» можно увидеть и изображение гитлеровского нашествия, но едва ли тогда подлинный смысл будет угадан нами. Разумеется, «угадывание» — слово неудачное. Стихи Рубцова — не ребусы, просто, помимо обычного, в них заключен и некий вещий смысл,

воспринять который значительно легче на уровне подсознания, нежели путем длительных умозаключений...

«Видения на холме» — первое в ряду «вещих» стихов Рубцова, а с годами поэт научится столь ясно различать будущее, что даже сейчас, когда, годы спустя, читаешь его стихи, ощущаешь холод разверзающейся бездны. И всегда потрясает почти документальная точность предсказания.

Например, те же предсмертные строки Рубцова:

Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый,
Разобьется с треском, и в потемки
Уплывут ужасные обломки... —

многие понимают как апокалипсическое предсказание, но это ошибочно. У Рубцова предсказания носят гораздо более конкретный характер. И это становится ясно сейчас, когда в Вологде ведутся разговоры, что хорошо бы, дескать, перенести могилу с обычного городского кладбища в Прилуцкий монастырь и перезахоронить Рубцова там, рядом с Батюшковым. Деяние, так сказать, в духе перестроечного времени (при Хрущеве могилу Рубцова просто бы запахали), но Рубцову незнакомое, вот и написано им:

Сам не знаю, что это такое...
Я не верю вечности покоя!

Какая уж тут «вечность покоя», если тебя переносят — народу же удобнее! — поближе к экскурсионным тропам.

Впрочем, мы отвлеклись... В шестьдесят первом году написано Рубцовым и стихотворение «Добрый Филя»:

Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
— Филя! Что молчаливый?
— А о чем говорить? —

где, пока еще на уровне вопроса, смутной догадки осознание собственной неустроенности и личной несчастьливости начинает сливаться в стихах Рубцова с сознанием нещастьливости и неустроенности общей русской судьбы.

В таком большом городе, как Ленинград, даже и узкий круг пишущих людей всегда весьма неоднороден. Первое время Николай Рубцов активно посещает занятия литературного объединения «Нарвская застава» и литературный кружок при многотиражке «Кировец».

Руководитель «Нарвской заставы» поэт Игорь Михайлов вспоминает: «Странно сейчас перебирать пожелтевшие листки со стихами Коли Рубцова — те экземпляры, которые давались на обсуждение в «лито». Вот шесть стихотворений, украшенных решительным минусом его оппонента: «На родине», «Фиалки», «Соловьи», «Видения в долине», «Левитан» и «Старый конь». Может быть, иногда чрезмерно суровы и требовательны к молодому поэту были его друзья, но отчетливо видишь, что в своих оценках они редко ошибались...»

Зато: «Очень понравился «литовцам» своеобразный юмор Рубцова. И характерно, что именно здесь впервые «на ура» были приняты те его стихи («В океане», «Я весь в мазуте, весь в тавоте, зато работаю в тралфлоте»), которые стали его первыми публикациями и сразу составили ему добрую репутацию... И уж совершенный восторг вызвало у товарищей Рубцова одно из самых улыбочивых его стихотворений — «Утро перед экзаменом»: для ошалевшего школяра скалы стоят «перпендикулярно к плоскости залива», «стороны зари равны попарно», облако несется «знаком бесконечности» и даже «чья-то равнобедренная дочка» двигается, «как радиус в кругу»...

Игорь Михайлов пишет, что «товарищи по «лито» очень четко «засекли» тот момент, когда из-под пера Рубцова стали появляться зрелые, художественно совершенные стихи». Вывод, разумеется, неожиданный. Ведь отвергнутыми, как мы видим, оказались лучшие стихи Рубцова, а «принятыми на ура» — случайные, к зрелому Рубцову не имеющие никакого отношения. Увы... И сейчас для многих профессиональных литераторов Рубцов остается всего лишь автором забавных стишков о «равнобедренной дочке», и эти люди искренне недоумевают, как это вдруг Рубцов заделался классиком...

Подобный «Нарвской заставе» круг общения если и устраивал Рубцова, то только на первых порах. Очень скоро он начал тяготиться им...

В рубцовском фонде в Государственном архиве Вологодской области сохранилась записная книжка поэта, расстрепанная и прошитая им самим суровой ниткой — косо, но прочно. Верой и правдой — почти двадцать лет — служила она Николаю Михайловичу, была единственным свидетелем многих дней его жизни. Страницы, аккуратно заполненные красивым рубцовским почерком, залиты вином, многие записи расплылись, новые адреса зачастую записаны поверх старых — толкучка и мешанина фамилий, городов, телефонов такая же невообразимая, как и в самой его жизни. Есть здесь и не справочные записи... Смешные диалоги... То ли придуманные самим Рубцовым, то ли услышанные где-то сентенции: «Жизнь хороша. Нельзя ее компрометировать»... Записи для памяти: «Купить трубку»... На семнадцатой странице — начало какой-то прозы: «Он сильнее всего на свете любил слушать, как поют соловьи. Часто среди ночи он поднимал меня с койки и говорил: «Давай бери гитару — и пойдём будить соловьев. Пусть они попоют. Ночью они умеют здорово это делать...» Запись обрывается, восемнадцатой страницы в книжке нет (нумеровал сам Рубцов), и не узнать, разбудил ли Рубцов соловьев, как никогда не узнать и много другого из его жизни.

Но главное для меня в этой книжке, конечно, фамилии. С их помощью легко установить круг ленинградских знакомств поэта. Саша Кузнецова, Надя Виноградова, Нина Токарева, Надя Жукова, В. В. Васильев, Жора (в скобочках — друг В. Максимова), Борис Новиков, В. Гаринов, Зоя, А-р Кушнер, Н. О. Грудина, К. Кузьминский, И. Сергеева, Бахтин, Ю. Федоров, М. Л. Ленская, С. Орлов, Д. Гаврилов, Вильнер, Люся Б., Петя, Бродский, Г. Семенов, Зина, Ю. Логинов, Кривулин, Катя... Список можно продолжить, но и перечисленных фамилий вполне достаточно, чтобы получить представление о круге общения Николая Рубцова в Ленинграде. Немало здесь и профессиональных литераторов и тех, кто назывались «второй литературной действительностью». Сближение с ними в поиске единомышленников — литературный факт, как пишет К. Кузьминский.

В уже упоминавшейся антологии новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны», превращенной по замыслу ее авторов в насыщенное различными документами и воспоминаниями повествование о литературном Ленинграде, Борис Тайгин пишет: «Нет (в антологии. — Н. К.) неопубликованных текстов покойного Коли Рубцова (а

они должны быть!), кроме одного, включенного им в первый его сборник «Волны и скалы» (1962 г., печать моя, обложка Э. К. Подберезкиной, тираж 5 экз.):

Сколько водки выпито,
Сколько стекол выбито,
Сколько средств закошено,
Сколько женщин брошено!
Где-то финки звякали,
Где-то дети плакали...
Эх, сивуха сивая,
Жизнь была... красивая!

Оно, конечно, моральному кодексу строителя коммунизма не совсем соответствует, как и сам Коля. Поэтому и печатать его начали всплошную только по-смертно. А то, живой, он мог бы как-нибудь признаться, что его лучший друг — Эдик Шнейдерман, а любимый поэт — Бродский. Славянофилам это не очень было бы по нутру».

Здесь, естественно, необходимо сделать поправку на излишнюю категоричность суждений: «лучший друг», «любимый поэт». Борис Тайгин, судя по его воспоминаниям, опубликованным в Северо-Западном книжном издательстве (см. сборник «Воспоминания о Рубцове». Архангельск, 1983. С. 89—92), впервые увидел Николая Рубцова 24 января 1962 года на вечере в Доме писателей имени В. В. Маяковского, а познакомился с ним только 6 мая. Первая встреча состоялась 1 июня и до 13 июля, пока шла перепечатка книги «Волны и скалы», они виделись, последующее общение — «в начале сентября, вечером, буквально на несколько минут, зашел ко мне...» — было кратковременным и эпизодичным... Я не собираюсь обвинять Б. Тайгина в искажении фактов, но очевидно, что делать на основе столь кратковременного и достаточно специфического общения категорические выводы едва ли разумно. Рубцов был весьма замкнутым человеком и отнюдь не сразу раскрывался в своих привязанностях и пристрастиях...

Тем не менее процитированное нами суждение Б. Тайгина помогает понять, почему Рубцов не стал своим и в кругу неофициальных ленинградских литераторов, почему он не был услышан и понят там... Момент в биографии Рубцова — принципиальный.

Рубцова многое родило с поэтами этого круга, которые хотя и овладели в совершенстве техникой эстрадно-

популярного стиха, но поэтами «поколения» так и не стали. Поколение шестидесятников пошло по другому пути, их певцы призывали побыстрее «возводить» коммунизм, пытались возродить романтику чекистских будней и «комиссаров в пыльных шлемах», подогревали энтузиазм строителей гэсов и чернобылей. Отчасти это объясняется тем, что идеология шестидесятничества только в Москве, где слышнее запах из кремлевских буфетов, и могла иметь успех. А Ленинград, в силу своей удаленности от кремлевских кормушек, от этого искуса уберется. Здесь поэты не грешили дифирамбами палачам-комиссарам, не воспевали великие стройки коммунизма. Но, уберечьшись от одного искуса, далеко не все сумели уберечься от другого, быть может, еще более опасного — от так называемого «кривостояния, при котором прямизна кажется нелепой позой» *.

Типичный образчик такого «кривостояния» — отношение Бориса Тайгина к Николаю Рубцову. В кругу новых знакомых, как и на занятиях литобъединения «Нарвская застава», «на ура» принимались хотя и несколько другие стихи, но тоже не те, которые Рубцов считал для себя главными.

«Николай Рубцов, — пишет Борис Тайгин в воспоминаниях, — на сцену вышел в заношенном пиджаке и мятых рабочих брюках, в шарфе, обмотанном вокруг шеи поверх пиджака. Это невольно обратило на себя внимание. Аудитория как бы весело насторожилась, ожидая чего-то необычного, хотя здесь еще не знали ни Рубцова, ни его стихов.

Подойдя к самому краю сцены, Николай посмотрел в зал, неожиданно и как бы виновато улыбнулся и начал читать... Читал он напевно, громко и отчетливо, слегка раскачиваясь, помахивая правой рукой в такт чтению и почти не делая паузы между стихотворениями.

Стихи эти, однако, были необычными. Посвященные жизни рыбаков, они рисовали их труд и быт под каким-то совершенно особым углом зрения. И насквозь были пропитаны юмором, одновременно и веселым и мрачным.

Аудитория утомилась, стала внимательно слушать. И вот уже в зале искренний смех, веселое оживление после очередных шуточных строк. И искренние шумные

* Вестник РСХД, № 97.

аплодисменты после каждого стихотворения. «Читай еще, парень!» — кричали с мест. И хотя время, отведенное для выступления, уже давно истекло, Николаю долго не давали уйти со сцены».

Столь же теплый прием вызывали стихи «Сколько водки выпито...» и подобные им. Написано Рубцовым таких стихов было немало. Многие из них не печатаются из-за тех неприличных выражений, без которых они сразу утрачивают свой юмор или на которых и построены целиком. Этими стихами можно восторгаться — многие наши классики любили поозорничать, — но считать их главными в наследии Рубцова, конечно, нельзя. Представление о том, чего ждали от Рубцова в кругу его новых знакомых, дает стихотворение «Жалобы алкоголика», помеченное январем 1962 года:

Ах, что я делаю, зачем я мучаю
Больной и маленький свой организм?
Ах, по какому же такому случаю?
Ведь люди борются за коммунизм!

Скот размножается, пшеница мелется,
И все на правильном таком пути...
Так замети меня, метель-метелица,
Ох, замети меня, ох, замети!

Я жил на полюсе, жил на экваторе —
На протяжении всего пути,
Так замети меня, к едрене матери,
Метель-метелица, ох, замети...

Если сравнить это стихотворение с «Добрый Филей», станет очевидной разница между «кривостоянием» и прямым Путем, который все-таки изберет для себя поэт Николай Рубцов. Ерничание и дешевый эпатаж не способны выразить то, что должен был чувствовать Рубцов.

Кстати говоря, в той машинописной копии, по которой воспроизведены здесь «Жалобы алкоголика», под стихотворением стоит подпись: «Коля Рубцов». Потом слово «Коля» зачеркнуто и сверху от руки написано «Н». Не случайно и Тайгин, цитируя стихотворение «Сколько водки выпито...», называет Рубцова Колей. Как и «Жалобы алкоголика», это стихотворение действительно напи-

сано Колей... Рубцовым. Перу же Николая Рубцова принадлежат «Видения на холме», «Добрый Филя»...

Как писал Глеб Горбовский, «питерский Рубцов как поэт еще только просматривался и присматривался, прислушивался к хору собратьев, а главное — к себе, живя настороженно внутренне и снаружи скованно, словно боялся пропустить и не расслышать некий голос, который вскоре позовет его служить словом, служить тем верховным смыслам и значениям, что накапливались в душе поэта с детских (без нежности детства) лет и переполняли его сердце любовью к родимому краю, любовью к жизни».

Рубцов «расслышал»-таки позвавший его Голос.

Путь, который избрал Николай Михайлович Рубцов, А. И. Солженицын называл невидимым. Когда на тебя смотрят, когда ты оказываешься как бы на сцене общественного внимания, легче совершать подвиги или делать вид, что совершаешь их, срывая аплодисменты. Труднее идти своим путем, когда никто не смотрит на тебя, когда пропадает путник в сумерках, сгущающихся над бескрайним полем. Но этот невидимый путь, хотя он самый трудный, — единственный, что ведет к Правде.

16

Когда человек не втянут в мелкую, ничтожную суету, когда душа его раскрыта и он внимает звучащему для него Глаголу, жизнь приобретает особую точность, из нее исчезают невнятные паузы безвременья.

Лето 1962 года. Николай Рубцов получает аттестат зрелости, заканчивает (вместе с Б. Тайгиным) издание своей книжки «Волны и скалы» и, взяв очередной отпуск, уезжает в Николу.

Здесь, на вечеринке, он и знакомится заново со своей будущей женой Генриэттой Михайловной Меньшиковой. Любовь это была или увлечение с его стороны — судить трудно. Во всяком случае, вскоре после отъезда Рубцова из Николы, Генриэтта Михайловна перебирается к нему поближе: устраивается работать почтальоном в городе Ораниенбауме под Ленинградом.

Рубцов же, возвращаясь из отпуска, заезжает на несколько дней к отцу. Об этом свидании он писал в стихах:

Есть маленький домик в багряном лесу,
И отдыха нынче там нет и в помине:
Отец мой готовит ружье на лису
И вновь говорит о вернувшемся сыне...

Стихотворение «Жар-птица» впервые опубликовано в «Вологодском комсомольце» 10 октября 1965 года, но написано оно наверняка раньше, скорее всего еще тогда, в шестьдесят втором. Косвенным свидетельством этого служит не только «автобиографическая» строфа, но и образный строй, характерный для ленинградского периода: «Мотало меня и на сейнере в трюме, // И так, на пирушках, во дни торжества, // И долго на ветках дорожных раздумий, // Как плод, созревала моя голова».

И хотя несколько затянутый диалог:

— Старик! А давно ли ты ходишь за стадом?
— Давно, — говорит. — Колоколья вдали
Деревни еще оглашала набатом,
И ночью светились в домах фитили.
— А ты не заметил, как годы прошли?
— Заметил, заметил! Попало как надо.
— Так что же нам делать, узнать интересно...
— А ты, — говорит, — полюби, и жалея,
И помни хотя бы родную окрестность,
Вот этот десяток холмов и полей... —

пока еще проигрывает афористической иронии «Доброго Фили», да и в голосе пастуха прорываются какие-то опереточные нотки, но появляются здесь и новые, еще не встречавшиеся в стихах Рубцова мотивы. Впервые любовь к родной земле, к Отчизне воспринимается как средство собственного спасения.

В этом стихотворении так много необычной для Рубцова стилевой чересполосицы, что невольно закрадывается мысль, а не специально ли сохранены эти огрехи как живая запись свершившегося с ним чуда, когда нелепой увиделась вокруг позиция «кривостояния», когда так просто: «...в прекрасную глушь листопада // Уводит меня полевая ограда, // И детское пенье в багряном лесу...», когда прямо в руки слетает сказочная жар-птица поэзии...

Экзамены на аттестат зрелости, «издание» книжки, подытожившей долгий этап поисков самого себя, знаком-

ство с будущей женой, очередное примирение с отцом — события плотно следуют друг за другом.

Рубцов простился с отцом. Тот провожал его до вокзала и всю дорогу нес сыновний чемодан, а на вокзале купил бутылку вина, и — ему категорически было запрещено пить — выпил на прощание. Рубцов еще не знал, что видит отца в последний раз...

Вернувшись в Ленинград, Рубцов нашел извещение из Литературного института. На конторском бланке сухо было написано, что он прошел творческий конкурс и приглашается для сдачи вступительных экзаменов.

Существует легенда, будто на вступительные экзамены Рубцов опоздал и его зачислили в институт без экзаменов. Однако документы «Личного и учебного дела Рубцова Николая Михайловича» (архив Литературного института им. А. М. Горького, опись № 1, арх. дело № 1735, связка № 116) в корне опровергают ее.

Экзамены Николай Рубцов сдавал, как все, в установленные сроки. Четвертого августа он написал на четверку сочинение, шестого получил пятерку по русскому языку и тройку по литературе, восьмого — четверку по истории и десятого — тройку по иностранному языку. Отметки, конечно, не блестящие, но достаточно высокие, чтобы выдержать конкурс. 23 августа появился приказ № 139, в котором среди фамилий абитуриентов, зачисленных на основании творческого конкурса и приемных испытаний студентами первого курса, значилась под двадцатым номером и фамилия Николая Михайловича Рубцова.

В конце августа, радостный, в приподнятом настроении возвращается Рубцов в Ленинград, чтобы рассчитаться с заводом: уволиться и выписаться из общежития. Здесь, в общежитии, на тумбочке возле кровати, он и нашел письмо от отца (стиль и орфография автора письма сохранены. — *Ред.*):

«Здравствуй дорогой родной сыночек Коля! Первым долгом сообщаю что здоровье мое после твоего отъезда сильно ухудшается, почти ежедневные сердечные приступы, вызывали скорую помощь, зделают укол. Правда навремя боли прекращаются, а потом опять. Этоже медикаменты которые пользы не дают. Дорогой Коленька узнай пожалуйста можно или нет попасть к профессору хотелось бы на осмотр и консультацию. Неплохо бы попасть в больницу. Узнайте пожалуйста и опишите мне

какие надо документы и когда можно приехать. Привет от моей семьи твой отец М. Рубцов. 24.VIII.62».

Никаких свидетельств о хлопотах Рубцова по поводу отца обнаружить не удалось, но едва ли письмо оставило его равнодушным. Хотя до десятого сентября он и рассчитался с Кировским заводом, в Москву Рубцов не торопится, вероятно, пытается что-то выяснить в ленинградских больницах. Впрочем, хлопоты эти оказались ненужными. 29 сентября 1962 года Михаил Андриянович Рубцов умер от рака.

Рубцов был на похоронах отца...

Мачеха устроила его спать в отдельную комнату. Николай потом рассказывал, как долго не мог он заснуть, ворочался, прислушиваясь к глухой вологодской тишине... И вдруг — раздался стук в окно. Явственно: тук-тук-тук... Рубцов вскочил, бросился к окну, но там никого не было. До конца жизни не мог отделаться он от ощущения, что это умерший отец стучал тогда ночью в его окошко...

Возвращаясь из Вологды, Рубцов заехал в Ораниенбаум: был день рождения Генриэтты Михайловны. Рубцов приехал прямо из Вологды, рассказал, что не удалось разыскать Альберта и тот так и не попал на похороны отца. Приехал Рубцов в Ораниенбаум вечером 25 октября, а утром уехал. Уезжал Рубцов, уже зная, что у него будет ребенок...

Смерть отца и известие о ребенке... Вроде бы ничего особенного в таком совпадении и нет. Нет, кроме того, что вдруг в корне меняется положение самого Рубцова. Смерть отца как бы освобождала его от своего «сиротского комплекса». Но что же взамен? Взамен то, что Рубцов сам вдруг становился отцом, бросающим своего ребенка.

Это даже не ирония судьбы — это больше похоже на злобный смех тех потусторонних сил, голоса которых — вспомните «детское пенье в багряном лесу» — все ближе, все явственней различал Рубцов.

В Ораниенбауме Генриэтта Михайловна купила Рубцову — денег у него совсем не было — билет на электричку до Ленинграда.

В декабре она оставила свое почтальонство и вер-

нулась в Николу. Устроилась работать в клуб на тридцать шесть рублей жалованья.

20 апреля 1963 года здесь, в Николе, у Рубцова и родилась дочка Лена...

Сам Рубцов в это время жил уже в Москве.

17

«С Тверского бульвара в низкое окно врывались людские голоса, лязганье троллейбусных дуг, шум пронесшихся к Никитским воротам машин.

В Литинституте шли приемные экзамены, и все абитуриенты по пути в Дом Герцена заглядывали ко мне с надеждой на чудо. Человек по десять в день...» — так описывает жаркий августовский день 1962 года Станислав Куняев, работавший тогда заведующим отделом поэзии в журнале «Знамя». И вот: «Заскрипела дверь. В комнату осторожно вошел молодой человек с худым, костистым лицом, на котором выделялись большой лоб с залысинами и глубоко запавшие глаза. На нем была грязноватая белая рубашка: выглаженные брюки пузырились на коленях. Обут он был в дешевые сандалии. С первого взгляда видно было, что жизнь помотала его изрядно и что, конечно же, он держит в руках смятый рулончик стихов.

— Здравствуйте, — сказал он робко. — Я стихи хочу вам показать.

Молодой человек протянул мне странички, где на слепой машинке были напечатаны одно за другим вплотную — опытные авторы так не печатают — его вирши. Я начал читать:

Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог...

Я сразу же забыл... о городском шуме, влетающем в окно с пыльного Тверского бульвара. Словно бы струя свежего воздуха и живой воды ворвалась в душный редакционный кабинет...

Я оторвал от рукописи лицо, и наши взгляды встретились. Его глубоко запавшие махонькие глазки смотрели на меня пытливо и настороженно.

— Как Вас звать?

— Николай Михайлович Рубцов...»

К вечеру в редакцию зашел Анатолий Передреев, и Куняев показал ему стихи Рубцова.

— Смотри-ка... — сказал Передреев. — А я слышу — Рубцов, Рубцов, песни поет в общаге под гармошку. Ну, думаю, какой-нибудь юродивый...

Так и произошла счастливая и крайне важная для Николая Рубцова встреча с поэтами, которым суждено было сыграть большую роль в его писательской судьбе.

Как пишет Вадим Валерианович Кожинов, тоже близко знавший Рубцова в его московский период, эти люди дали «возможность Николаю Рубцову быстро и решительно выбрать свой истинный путь в поэзии и прочно утвердиться на этом пути».

В. Кожинов вспоминает, что наибольшим успехом пользовались такие стихи Рубцова, как «Добрый Филя», «Осенняя песня», «Видения на холме». А в дальнейшем с таким же восторгом были встречены и «В горнице», «Прощальная песня», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...».

Что и говорить — попадание полное, стопроцентное. Наконец-то Рубцов нашел свой круг общения, своего читателя. Это было как прорыв безнадежности. То главное, что в Ленинграде «оценивалось жирными минусами оппонентов», нашло в Москве живой отклик, и это главное рванулось из Рубцова новыми, обжигающими стихами. Поэт говорил о себе, но его судьба, словно бы вобравшая в себя сиротство, обездоленность и нищету советской России, и была судьбой страны, и, говоря о себе, говорил Рубцов ту правду, поведать которую было назначено ему.

Перемена, произошедшая в Рубцове, реализовалась уже при составлении второго, к сожалению, так и не изданного сборника «Над вечным покоем». Составляя этот сборник, он безжалостно — в Москву приехал с баулом, набитым стихами, — бракует прежние сочинения, еще вчера казавшиеся интересными.

Судьба этих стихов неизвестна. Кое-что сохранилось в частных архивах, но большинство, вероятно, погибло. Уезжая на летние каникулы, Николай убрал свои бумаги в ящики письменного стола в общежитии, а когда осенью вернулся, выяснилось, что в комнате делали ремонт, мебель вынесли, все письменные столы стояли в коридоре, и своего он так и не нашел. Скорее всего ленинградский архив Рубцова закончил свое существование в мусоропроводе или на складе макулатуры.

Впрочем, он не особенно-то и разыскивал свои бумаги...

Кстати сказать, перемену, произошедшую в Рубцове, остро почувствовали и его ленинградские друзья. В рубцовском фонде, в Государственном архиве Вологодской области, хранится письмо Э. Шнейдермана, в котором тот просит Рубцова узнать об условиях приема в Литинститут, куда они с Константином Кузьминским собираются поступить. Это тоже, как говорит К. Кузьминский, литературный факт. Только теперь уже из жизни составителя антологии новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны». Факт, о котором, как я понимаю, он сам не любит вспоминать сейчас.

Сближение с кружком московских поэтов было важно для Рубцова и с практической точки зрения. Во многом именно благодаря дружбе с Вадимом Кожиновым главным стихам Рубцова и удалось сравнительно быстро пробиться к читателю. А это, надо сказать, было нелегко. Эстрадная поэзия была тогда в моде.

Вадим Кожинов сумел заинтересовать рубцовскими стихами Дмитрия Старикова, и когда тот стал заместителем главного редактора журнала «Октябрь», Рубцов начал в нем печататься. В «Октябре» были опубликованы: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Тихая моя родина...», «Звезда полей», «Русский огонек», «Видения на холме», «Памяти матери», «Добрый Филя» и другие стихотворения. Дружба с журналом «Октябрь» продолжалась, и неоднократно в трудные минуты Николай брал от редакции командировки.

Конечно, сейчас можно оспаривать роль небольшого кружка московских поэтов в судьбе Николая Рубцова. Можно говорить, что он и без них бы не бросил писать стихи, но все же... Как вспоминает Эдуард Крылов, признание таланта Рубцова в Литературном институте отнюдь не было безоговорочным, «поэты либо вовсе не признавали его, либо признавали с большими оговорками и отводили ему очень скромное место».

В справедливости этого утверждения Э. Крылова убеждаешься, листая журнал семинарских занятий за 1963—1964 гг. Напомним, что Николай Рубцов занимался в семинаре Н. Н. Сидоренко. Кроме Рубцова в этом семинаре учились Г. Багандов, Д. Монгуш, В. Куропат-

кин, М. Шаповалов, Г. Шуров, В. Лякишев, А. Рябкин, И. Шкляревский.

29 октября 1963 года состоялось обсуждение стихов Рубцова. Он читал подборку из десяти стихотворений: «А между прочим осень на дворе...», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «На перевозе», «Ночь на перевозе», «Полночное пение», «В лесу под соснами», «Тихая моя родина», «Над вечным покоем», «Я забыл, как лошадь запрягают...», «Ворона». Подборка, разумеется, неровная, но многому из перечисленного предстояло стать хрестоматийным. Поэтому-то и интересно, как воспринимались эти стихи тогда, в октябре 1963 года. Записи в журнале семинарских занятий, конечно, не стенограмма, но общий характер выступлений они передают...

Первым взял слово Газимбек Багандов.

— Если бы Рубцов работал над стихами больше, он обогнал многих бы из нас... — сказал он и в подтверждение своей мысли заявил, что многое из поэзии Рубцова ему близко. Хотя, конечно, имеются и недостатки... — Меня не удовлетворяют концовки в стихах... Вот стихотворение «Ворона». Для чего написано это стихотворение, о чем оно — я не понял. «Ворона» ничего людям не дает. «В конце отпуска...» Четвертая строфа, две последние строчки прозаичны, а до них были хорошие строчки, тем обиднее срыв... Почти всегда мысль тогда, когда она должна завершиться выводом, уходит в сторону, затихает... «Я буду скакать...» — хорошее стихотворение, где тоже не все ясно для меня, но ряд строчек, общая мысль — понятны. Очень жаль, что не все стихи сделаны до конца.

— То, что Рубцов талантлив, факт, — сказал следом за Багандовым В. Лякишев. — Но и восхвалять особенно нечего. Стихи хорошо сделаны, широк их диапазон. За стихами встает человек совершенно ясного, определенного характера. Грустный человек... Перепевы или, вернее, повторы тем А. Блока, С. Есенина...

А вот мнение Арсения Рябкина о стихах Рубцова:

— Меня удивляет, что тема «деревня», «родина» очень гнетуще написана... Ряд слов и образов не из того «словаря». Совмещение разных вещей... «Отрок» — «десантник», или в стихотворении «Я буду скакать...» — звездная люстра? Это образ не из тех стихов. Рубцов сильно, крепко начинает стихотворение «Над вечным покоем», а дальше идут слабые строчки, нет законченной мысли...

И даже руководитель семинара Н. Н. Сидоренко, человек, тонко чувствующий поэзию, не сумел понять всей необычности того семинарского занятия, на котором прозвучало сразу столько шедевров русской лирики. Бегло похвалив Рубцова, Н. Н. Сидоренко тут же заявил: «Надо, чтоб поэт ставил перед собой бóльшие задачи, с каждым стихотворением. Надо, чтоб грусть становилась просветленной. Вскрывать закономерности времени. Облик Родины все-таки меняется, это должно стать предлогом для больших обобщений, а не просто констатация фактов, пусть и в своей окраске впечатлений. В поэзии должна быть перспективность... Поэзия должна утверждать. Пусть с вами произойдет второе рождение!»

Разумеется, непедagogично было «захваливать» семинариста, но и пожелание автору стихов «Тихая моя Родина», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» второго рождения тоже не свидетельствует об особом педагогическом даре...

Когда перечитываешь записи, сделанные в дневнике семинарских занятий, отчетливо понимаешь, что, хотя и звучали на этих занятиях лучшие стихи Рубцова, их здесь не слышали.

Это к вопросу о значении «московского кружка» в становлении поэта... Но и среди кружковцев Рубцов порою чувствовал себя неуютно, как и среди ленинградских поэтов. Станислав Куняев пишет, что о семье Рубцова, о его дочери он узнал только из «Прощальной песни»... Признание предельно честное и вместе с тем очень точно передающее характер взаимоотношений Рубцова с кружковцами. И дело не в какой-то там особой замкнутости и скрытности Николая Михайловича. За плечами Рубцова была совершенно другая жизнь, и опыт незнакомой его московско-ленинградским друзьям жизни выдавал его. Груз этот невозможно было сбросить вместе с пальто в прихожей московской квартиры, этот опыт непреодолимой преградой вставал на пути к сближению. У всех была своя жизнь, у Рубцова — тоже своя.

Как вспоминает А. Черевченко, живший с Рубцовым в одной комнате, в общежитие частенько приходили «кружковцы», гостили по нескольку дней, пили. Но припомнить, чтобы кто-нибудь из них приглашал Рубцова к себе домой, Черевченко так и не сумел. Не было такого. Члены московского кружка, разумеется, не специально, но тем не менее достаточно неуклонно выдерживали такую линию поведения. Погуляв в общежитии, насла-

дившись не обремененной никакими заботами жизнью общаги, они уезжали в свои квартиры, в свою в общем-то благоустроенную жизнь.

Их нельзя упрекать. Они едва ли понимали, насколько унижительна эта вечно полуголодная жизнь. Но можно понять и Рубцова, который писал в 1962 году в своих апокрифических стихах:

Куда пойти бездомному поэту,
Когда заря опустит алый щит?
Знакомых много, только друга нету,
И денег нет, и голова трещит.

Стихотворение это точно передает ощущения Рубцова того времени и оценку им своего московского окружения.

Другое дело, что кружок московских поэтов, о котором пишет Вадим Кожинов, помог Рубцову понять самого себя. Это безусловно. Зная его слабость или, вернее, гибкость, его умение приспособливаться к обстоятельствам (это, по сути дела, одно и то же), можно предположить, что не встретясь Николай Михайлович с «кружковцами», опять бы свернул он, как уже часто сворачивал, на какую-то боковую тропинку, с которой — Бог знает! — сумел ли бы выбраться назад.

18

Рубцов поступил в Литературный институт, когда ему исполнилось двадцать шесть с половиной лет. Детдом, годы скитаний, служба на флоте, жизнь лимитчика-работяги... Это осталось позади. Впереди — неясно — брезжил успех. Пока же Рубцов был рядовым студентом.

О жизни Рубцова-студента написано столько, что порою трудно отделить правду от слухов, факты от домыслов, и волей-неволей приходится обращаться к архивным свидетельствам.

Свернешь с Тверского бульвара, пройдешь мимо памятника Герцену через двор, в дальний угол, к гаражу... Здесь, в полуподвале, и находится хранилище институтских документов. Сразу за дверью — металлическая, выгороженная перильцами и оттого похожая на капитанский мостик площадка... Металлическая лестница ведет вниз, к стеллажам, на которых пылятся бесконечные папки и гроссбухи... Часть институтского архива вообще не разобрана и свалена в соседней комнате прямо на пол.

В этом канцелярском, зарастающем пылью море и искал я архивные свидетельства о Рубцове-студенте...

«Проректору Лит. института от студента I курса Рубцова Н.

Объяснительная записка

Пропускал последнее время занятия по следующим причинам:

- 1) У меня умер отец. На три дня уехал поэтому в Вологду.
- 2) Взяли моего товарища Макарова. До этого момента и после того был занят с ним, с Макаровым.
- 3) К С. Макарову приехала девушка, которая оказалась в Москве одна. Несколько дней был с ней.

Обещаю не пропускать занятий без уважительных причин.

10/XII—62 г.

Рубцов»

Поверх этой объяснительной записки резолюция: «В приказ. Объяснить выговор».

«Ректору Литературного института им. Горького тов. Серегину И. Н. от студента первого курса осн. отд. Рубцова Н. М.

Заявление

Я не допущен к сдаче экзаменов, т. к. не сдавал зачеты.

Зачеты я не сдавал потому, что в это время выполнял заказ Центральной студии телевидения... Писал сценарий для передачи, которая состоится 9 января с.г. *

Прошу Вас допустить меня к экзаменам и сдаче зачетов в период экзаменационной сессии.

7/I—63 г.

Н. Рубцов»

Резолюция: «В учебную часть. Установить срок сдачи зачетов 15 января. Разрешаю сдавать очередные экзамены».

«Ректору Литературного института им. Горького тов. Серегину от студента I курса Рубцова Н.

Объяснительная записка

После каникул я не в срок приступил к занятиям. Объясняю, почему это произошло.

Каникулы я проводил в отдаленной деревне в Вологодской области. Было очень трудно выехать оттуда вовремя, т.к. транспорт там ходит очень редко.

Причину пропущу считать уважительной.

25/II—63 г.

Н. Рубцов»

Резолюция: «В учебную часть. Принять к сведению объяснения т. Рубцова».

* Сценарий этот был написан Рубцовым в соавторстве с А. Червченко.

Приведенные мною объяснительные записки и заявления студента Рубцова несколько не соответствуют образу бесшабашного поэта, который рисуют авторы некоторых воспоминаний.

«Его знаменитое «Возможно, я для вас в гробу мерцаю» попало в руки Серегина. Он вызвал Рубцова к себе. Между ними состоялся короткий разговор. Ректор спросил: «Это ваше заявление, Рубцов?» Коля ответил: «Да». Ректор с сожалением посмотрел на Рубцова, как-то весь съежился и с горечью сказал: «Коля! Это же мальчишество! Иди».

А стихи были такие:

Возможно, я для вас в гробу мерцаю,
Но заявляю вам в конце концов:
Я, Николай Михайлович Рубцов,
Возможность трезвой жизни отрицаю.

Процитированные нами воспоминания — не ложь, не обман. Бесспорно, что подобная трактовка разговора исходит от самого Рубцова. И этот трансформированный в легенде облик все-таки более точно отражает состояние души автора «Тихой моей Родины», «Прощальной песни», нежели ставящие двадцатисемилетнего поэта в униженное положение выкручивающегося школяра объяснительные записки.

Хотя... Ведь и эти заявления, и объяснительные записки — истина. Та горькая истина, о которой исследователи творчества Рубцова и авторы воспоминаний стараются почему-то не думать...

В архиве Литературного института хранится объемистый фолиант, озаглавленный «Лицевые счета студентов на буквы Н-Э» за 1963 год. Страница номер тридцать два посвящена анализу материального достатка студента Рубцова. Записи по-бухгалтерски немногословны и содержательны:

«19 января 1963 выплачена Рубцову стипендия 22 руб. Удержано 1 руб. 50 коп.». То же самое в феврале, марте, апреле, мае.

Жить на такие деньги в Москве было невозможно. И не разобрать, чего больше — юмора или горечи? — в рассказе А. Червченко, вспоминавшего, как Рубцов, вернувшись из института, долго лежал по своему обыкновению прямо в пальто на койке, а потом вдруг неожиданно спросил: «Саша... А зачем тебе два пиджака?» Подумав, Червченко решил, что второй пиджак ему

и правда ни к чему. Тут же пиджак был продан. На выручку купили две бутылки вина, кулек жареной кильки, батон, пачку чая и конфеты-подушечки. Был пир.

Вот так и жил Рубцов. Но вернемся снова к «лицевым счетам». 25 июня 1963 года Рубцов получил аж 66 рублей — стипендию сразу за три летних месяца. Что и говорить, 62 рубля 50 копеек — три с половиной рубля составили удержания — не деньги для двадцатисемилетнего, имеющего ребенка человека. С этими деньгами и уехал Рубцов в деревню. А вот когда вернулся назад, опоздав на занятия, — он задержался в Николе, чтобы пособирать клюкву, — приказом номер 157 его лишили сентябрьской стипендии, и в сентябре он не получал ничего. Точно так же, как и в ноябре... Ну а вскоре его вообще отчислили из института. Всего, как свидетельствует беспристрастный бухгалтерский документ, за полтора года учебы на дневном отделении Рубцов получил чуть больше двухсот рублей — примерно столько же, сколько он получал на Кировском заводе в месяц.

Конечно, в общежитии Литинститута нищета переносилась легче, но двадцать семь лет — достаточный возраст, чтобы не замечать ее. Рубцова раздражало, что друзья специально приводят своих знакомых посмотреть на него — как в зверинец...

Очень точно передает состояние Николая в Литинституте Борис Шишаев: «Когда на душе у него было смутно, он молчал. Иногда ложился на кровать и долго смотрел в потолок... Я не спрашивал его ни о чем. Можно было и без расспросов понять, что жизнь складывается у него нелегко. Меня всегда преследовало впечатление, что приехал Рубцов откуда-то из неудобных мест своего одиночества. И в общежитии Литинститута, где его неотступно окружала толпа, он все равно казался одиноким и бесконечно далеким от стремлений людей, находящихся рядом. Даже его скромная одежда, шарф, перекинутый через плечо, как бы подчеркивали это.

Женщины, как мне кажется, не понимали Николая. Они пели ему дифирамбы, с ласковой жалостью крутились вокруг, но когда он тянулся к ним всей душой, они пугались и отталкивали его. Во всяком случае те, которых я видел рядом с ним. Николай злился на это непонимание и терял равновесие».

Живший одно время с Рубцовым в одной комнате

общежития ленинградец Сергей Макаров вспоминает, что Рубцов «знал много страшных историй про ведьм и колдунов и часто рассказывал их по ночам. Рассказывал глуховатым голосом. Против окон нашей комнаты качались ночные фонари, тени ползали по потолку, и я представлял их ожившими силами зла — настолько впечатляющими были эти истории. Тогда я вскакивал как ошпаренный и быстро включал свет. А Рубцов в эти минуты хохотал...

...Рубцов был впечатлительным, даже порою мнительным человеком. Однажды он принес пачку копирки. Пишущей машинки у нас не имелось, поэтому и кофирка-то была ненужной. Вечером за окном тихо падал снег. Николай взял ножницы, сделал из копирки несколько самолетиков, открыл окно и сказал мне: «Каждый самолет — судьба. Давай испытаем судьбу! Вот этот самолет — судьба Паши Мелехина». Мелехин, поэт, учился с нами на одном курсе. Рубцов сильным взмахом руки пустил самолет на улицу — черный, он отлично был виден нам в белом несильном снегопаде. Самолет приземлился на снегу возле деревьев ближней аллеи. «А это — судьба Глеба Горбовского». Бросок — и мы вновь, уже с явным интересом, наблюдаем за полетом самолетика. Он полетел далеко, только куда-то вбок, вкось. «А это — моя судьба», — сказал Николай и опять сильно послал черный самолет в снегопад. В это время налетел небольшой порыв ветра, самолет резко взмыл вверх, затем круто накренился и стремглав полетел вниз. Николай подавленно молчал. Больше самолетиков он не пускал и почти неделю был не в духе...»

Конечно, Рубцов сам испытывал судьбу, сам из озорства вызывал из сумерек злых духов ночи. В его стихах навязчиво повторяются одни и те же образы ведьмовских чар. Иногда, как, например, в стихотворении «Сапоги мои — скрип да скрип» шутливо:

Знаешь, ведьмы в такой глуши
Плачут жалобно.
И чаруют они, кружа,
Детским пением,
Чтоб такой красотой в тиши
Все дышало бы,
Будто видит твоя душа сновидение.
И закружат твои глаза
Тучи плавные

Да брусничных глухих трясин
Лапы, лапушки...

Но чаще и с каждым годом все грознее и неотвратимее уже не в озорном воображении, не в глубинах подсознания, а почти наяву возникнут страшные видения:

Кто-то стонет на темном кладбище,
Кто-то глухо стучится ко мне,
Кто-то пристально смотрит в жилище,
Показавшись в полночном окне...

И все это — и пугающая самого Рубцова чернота, и отчаянная нищета, и понимание необходимости своих стихов — сплеталось в единый клубок. И как результат — срывы, те пьяные скандалы, о которых так часто любят вспоминать теперь. Конечно, ничего особенно страшного в этих скандалах не было, и, безусловно, другому человеку они бы сошли с рук. Но не Рубцову... Ему мало что прощалось в этой жизни. За все он платил, и платил по самой высокой цене...

19

Осень шестьдесят третьего года помимо новых стихов принесла Рубцову и неприятности. Впрочем, поначалу они не особенно пугали. Просто жестче сделалось вдруг отношение к Рубцову, и то, что прощалось еще год назад, теперь каралось.

Выписка из приказа № 157 от 24 сентября 1963 года:

«§ 2. За пропуски занятий по неуважительным причинам снять со стипендии на сентябрь месяц следующих студентов:

2. Рубцова Н. — 2-й курс».

Выписка из приказа № 203 от 22 ноября 1963 года:

«§ 4. Студента 2-го курса тов. Рубцова Н. М. снять со стипендии на ноябрь месяц за пьянки и систематические пропуски занятий без уважительных причин».

И наконец, приказ по Литературному институту им. Горького № 209 от 4 декабря 1963 года:

«3 декабря с.г. студент 2-го курса Рубцов Н. М. совершил в Центральном Доме литераторов хулиганский поступок, порочащий весь коллектив студентов Литературного института.

Учитывая то, что недавно общественность института осудила

недостойное поведение Рубцова Н. М., а он не сделал для себя никаких выводов, исключить за хулиганство с немедленным выселением из общежития.

Проректор Литературного института

А. Мигунов».

Есть какая-то жесткая и неумолимая логика в чередѣ этих приказов. Смешно было бы утверждать, что Рубцов не пил и вел себя примерно и тихо. Нет! Пил... Буянил... Но не следует забывать и того, что пили и буянили в Литературном институте многие. И, разумеется, администрация института не испытывала особенного восторга по поводу пьянок и время от времени принимала меры... Однако, судя по папке с приказами за вторую половину шестидесят третьего года, никто не карался так жестоко, как Рубцов. Так, может быть, скандалы Рубцова отличались каким-то особым размахом? Нет... Судя по воспоминаниям тогдашних студентов Литинститута, такого не было... Откуда же тогда систематическое, отчасти смахивающее на травлю преследование? Откуда это уже почти совсем мстительное: «Исключить... с немедленным выселением из общежития»? Ведь для большинства студентов выселение из общежития значило лишь разлуку с Москвой. Для Рубцова же это было полной катастрофой, ибо никакой иной, кроме как в общежитии, жилплощади он не имел. И кто-кто, а администрация института прекрасно была осведомлена об этом обстоятельстве. В личном деле подшит тетрадный листок в косую линейку, на котором Николай Рубцов изложил всю свою биографию.

Помимо автобиографии, были в деле Рубцова и выписка из трудовой книжки, и сверенная с паспортом анкета... Так что проректор А. Мигунов, подписывавший роковой для Рубцова приказ, очень хорошо знал, что значит для того «немедленное выселение из общежития».

Возможно, со временем, когда будут опубликованы дополнительные свидетельства и материалы, прояснятся все детали этого рокового в жизни Рубцова события, но и сейчас уже можно восстановить в целом историю изгнания поэта из института.

Ректором тогда был И. Н. Серегин. В памяти многих студентов осталось его худое, изможденное лицо. Серегин был неизлечимо болен. Диагноз: лейкоз (рак крови). К Рубцову Серегин относился хорошо, и, перелистывая выписки из приказов, вшитые в дело Рубцова,

можно увидеть, что все наиболее жестокие кары обрушиваются на его голову как раз в отсутствие Серегина.

4 декабря 1963 года Рубцова отчислили из института.

Как вспоминает Валентин Сафонов, «приказ об исключении Рубцова вывесили на доску незамедлительно, и в железно продуманных его формулировках действительно фигурировали слова «драка» и «избил». «Дебошир со стажем» и «смутьян» — вслух отозвался о Николае один из старейших преподавателей, специалист по Достоевскому. И ничтоже сумняшеся предложил привлечь злодея к уголовной ответственности. Только нам, студентам, не верилось, что тщедушный, полуголодный и, главное, не терпящий никаких драк Коля Рубцов мог осилить дюжего дядю, немало и с пользой для себя потрудившегося на ниве литературного общепита. Начали собственное расследование. Выяснилось, что содержание приказа, мягко говоря, противоречит истине. Дело было так. В одном из залов Дома литераторов заседали работники наробраза, скучая, внимали оратору, нудно вещавшему с трибуны о том, как следует преподавать литературу в средней школе. Колю, проникшего в ЦДЛ с кем-то из членов Союза, у дверей этого зальчика задержало врожденное любопытство. Так и услышал он список рекомендуемых для изучения поэтов. Сурков, Уткин, Щипачев, Сельвинский, Джек Алтаузен... Список показался ему неполным.

— А Есенин где? — крикнул Рубцов через зал, ошарашивая оратора и слушателей. — Ты почему о Есенине умолчал? По какому праву?

Тут и налетел на Колю коршун в обличье деятеля из ресторана, ухватил за пресловутый шарфик, повлек на выход... Рубцов, задыхаясь от боли и гнева, попытался оттолкнуть «интенданта», вырваться из его рук.

— Бью-ут! — завопил метрдотель. Подскочила прислуга. При своих, что называется, свидетелях составили протокол, который и лег в основу грозного приказа об исключении».

В декабре Литературный институт отмечал свой тридцатилетний юбилей. К юбилею вернулся из больницы Серегин. Его ли это заслуга или товарищей-студентов, установить трудно, но «дело» Рубцова решено было рассмотреть на товарищеском суде, который состоялся 20 декабря. Суд (на нем председательствовал Водолагин) после унижительного для Рубцова разбирательства все же «решил войти в ректорат института с предложением

о восстановлении т. Рубцова в правах студента и о наложении на него за совершенный проступок строгого административного взыскания с последним предупреждением».

21 декабря Рубцов пишет заявление на имя Серегина: «Учитывая решение товарищеского суда, прошу восстановить меня студентом института».

А 25 декабря И. Н. Серегин подписывает приказ № 216.

«В связи с выявленными на товарищеском суде смягчающими вину обстоятельствами и учитывая раскаяние тов. Рубцова Н. М., восстановить его в числе студентов 2 курса.

Объявить ему строгий выговор с предупреждением об отчислении из института в случае нового нарушения моральных норм и общественно-трудовой дисциплины».

Иван Николаевич в отличие от многих других администраторов Литинститута был человеком порядочным. Тот же А. Черевченко вспоминает, как, устав от притеснений А. Мигунова, уехал он в Харьков; здесь через два месяца его разыскал посланец ректора. Он передал А. Черевченко записку И. Н. Серегина: «Саша! Напиши заявление о переводе на заочное. Через неделю я ложусь в больницу, и оттуда меня уже не выпустят».

Вот и Рубцова Серегин спас.

Хотя, если судить здраво, ничего особенного он не сделал. Ведь Литературный институт и задумывался его создателями как о с о б о е учебное заведение. Контингент учащихся был невелик и весьма специфичен. Возраст однокурсников Рубцова колебался от двадцати до тридцати лет. За спиной у каждого был свой немалый жизненный опыт, и единые мерки ко всем не подходили. При И. Н. Серегине и не было единых мерок. В институте царил почти домашняя обстановка. Во всяком случае гнев начальства легко смягчался, ошибка исправлялась. Так произошло и с Рубцовым. Кара за его, рядовые для студента Литинститута прегрешения оказалась слишком суровой, и И. Н. Серегин, возвратившись ненадолго в институт, исправил ошибку.

Но так было при И. Н. Серегине. Он спас Рубцова и снова лег в больницу. Теперь уже навсегда. И спасти Рубцова стало некому.

И снова удивляешься, как точно совпадает судьба Рубцова с историей страны. В начале шестидесятых уже сточается общая обстановка в стране. Прежние полулибе-

ральные отношения постепенно вытесняются. Каждый конкретный человек становится интересным для системы не своей неповторимой человеческой сущностью, а лишь как исполнитель определенной социальной роли. В разных учреждениях это проходило по-разному и в разное время. В Литературном институте процесс бюрократической унификации студентов совпал с последними месяцами работы в институте И. Н. Серегина. Новую институтскую администрацию Николай Рубцов не устраивал уже потому, что не умел в нужную минуту сделаться незаметным, выпирал из любых списков и реестров. Нет, он не был особенным бунтарем. Просто если обычного дебошира можно было все-таки как-то приструнить, то случай с Рубцовым оказался тяжелее. Никакие нравоучения, никакие собеседования не могли помочь преодолеть ему безнадежную нищету и неустроенность.

И еще. Рубцов все время с какой-то удручающей последовательностью раздражал почти всех, с кем ему доводилось встречаться. Он раздражал одноглазого комманданта общежития, прозванного Циклопом, раздражал официанток и продавцов, преподавателей института и многих своих товарищей. Раздражало в Рубцове несоответствие его простоватой внешности тому сложному духовному миру, который он нес в себе. Раздражение в общем-то понятное. Эти люди ничего бы не имели против, если бы Рубцов по-прежнему служил на кораблях Северного флота, вкалывал бы на заводе у станка или работал в колхозе. Это, по их мнению, и было его место. А Рубцов околачивался в стольном граде, учился в довольно-таки престижном институте, захаживал даже — ну, посудите сами, разве это не безобразие?! — в святая святых — ЦДЛ. Разумеется, люди покрупнее, поопытнее понимали, кто такой Рубцов, но таких людей в окружении поэта было немного, и новая администрация Литературного института не относилась к их числу.

То, что произошло с Рубцовым в июне 1964 года, настолько невероятно, что любой пересказ будет выглядеть как грубая ложь. Поэтому-то я и вынужден воспроизвести здесь тексты документов, которыми была нагружена покотившаяся на Николая Михайловича Рубцова «телега». Напомню только вначале, что Рубцов успешно сдал весеннюю сессию за второй курс и, как явствует из приказа № 101 от 22 июня 1964 года, был переведен на

третий курс. Аттестуя его, поэт Н. Н. Сидоренко дал ему самую блестящую характеристику: «Если бы вы спросили меня: на кого больше всех надежд, отвечу: на Рубцова. Он — художник по организации его природы, поэт по призванию». Уместно будет напомнить здесь, что крупные подборки стихов Николая Рубцова уже были завершены в журналах «Юность» и «Октябрь». И вот...

«Гл. администратору ЦДЛ от метрдотеля ресторана.

Докладная записка

Довожу до Вашего сведения, что 12 июня 1964 г. трое неизвестных мне товарищей сидели за столиком на веранде, который обслуживала официантка Кондакова. Время уже подходило к закрытию, я дал распоряжение рассчитываться с гостями. Официантка Кондакова подала счет, тогда неизвестные мне товарищи (разрядка здесь и дальше наша. — Н. К.) заявили официантке, что они не будут платить, пока им не дадут еще выпить. Официантка обратилась ко мне, я подошел и увидел, что товарищи уже выпивши, сказал, что с них довольно и пора рассчитаться, на что они опять потребовали водки или вина, тогда я обратился к дежурному администратору, которая вызвала милицию. Когда приехала милиция и попросила, чтобы они уплатили, — один из них вынул деньги и сказал — «деньги есть, но платить не буду, пока не дадут водки». Время было уже 23.30, и буфет закрыт.

После долгих уговоров один из них все же рассчитался, и они были выпровожены из ЦДЛ.

16.VI.64

Казенков».

Докладная записка заверена круглой печатью Центрального Дома литераторов...

Вот такой документ. Составлен он был четыре дня спустя после происшествия, когда дело об очередном «дебаше» Рубцова уже закрутилось вовсю, и, следовательно, у нас нет никаких оснований предполагать, что метрдотель Казенков скрывает какие-то иные «хулиганские» действия посетителей, кроме тех, что указаны в докладной. Поэтому-то и позволяет его «Записка» почти с документальной точностью восстановить все детали «недостойного поведения» Рубцова в тот вечер.

Рубцов вместе с двумя товарищами (имена их так и остались неизвестными) после экзамена по советской литературе зашел в ЦДЛ — «отдохнуть», как напишет он в объяснительной записке. Сели за столик, заказали какую-то еду, бутылку вина. После пересчитали свои рублевки и трешки и решили заказать еще выпивки. В принципе, кроме того, что пить вообще вредно, ничего крими-

нального, ничего особенного в их поведении не прослеживается... И вероятно, ничего примечательного и не произошло бы в тот вечер, если бы не обладал Рубцов прямо-таки удивительной способностью раздражать обслуживающий персонал, даже если и вел себя тихо и скромно. Феномен этот можно объяснить только особой холуйской безжалостностью разных администраторов и официантов к слабому. Опытным, натренированным взглядом они сразу различали, что здесь, за столиком в ресторане, Рубцов не на своем месте, что он не свой человек здесь. Эти жиденькие прядки волос, этот заношенный пиджак... Как уж тут укрыться от безжалостного, пронизывающего взгляда?! А коли незащищен — в этом и заключается холуйская психология! — значит, на нем и можно сорвать накопившееся за день раздражение.

Уставшая, задерганная, Клавочка все чаще косилась на столик, за которым сидели и пересчитывали измятые рублевки и трешницы молодые люди — явно не богатые, явно не влиятельные. Нет, Клавочку раздражали и другие клиенты, но это — другие люди, им, пересиливая раздражение, обязательно нужно улыбнуться, чтобы не нарваться на неприятность, там нужно сделать вид, что тебе самой доставляет удовольствие угождать им... И от этого еще сильнее раздражение против этих троих, которые просительно и жалко улыбаются, комкая в потных руках рублевки... И тогда — поглубже, порезче! — «Платить будете?!» А в ответ снова просительные, заискивающие улыбки — не успели обзавестись эти молодые люди невозмутимостью и величественными манерами завсегдатаев ресторанов... Да и сюда-то попали случайно, показали вместо пропусков студенческие билеты, на корочках которых написано «Литературный институт имени А. М. Горького при Союзе писателей СССР», их пропустили на вахте, но могли ведь и не пустить... Так вот, заискивающие улыбки и неуверенное, нерешительное: «А можно еще заказать... Водочки...»

— Нельзя! — режет официантка, которой надоело бегать, надоело подавать на столики водку. — Будете платить?!

Ну, конечно, будут... И уже комкают невзрачные студенты трешки и рублевки, соединяя их под изничтожающим взором официантки в общую кассу. О, как ненавидит сейчас прекрасноголовая Клавочка всех своих пьющих и жрущих с утра до вечера клиентов! И тут из-за соседнего столика — барственный голос:

— Клавочка! Принесите-ка еще триста граммов... И сразу — поверх раздражения — угодливая улыбка: «Сейчас! Одну минуточку!..» И действительно, оставив невзрачных клиентов разглаживать скомканные рублевки, бежит Клавочка в буфет, и оттуда, такая легконогая, такая большеглазая, сияя улыбкой, — к соседнему столику с графинчиком на подносе... А потом назад к троице — ну, чего они копошатся, чего застыли, раскрыв рты? — и с ходу: «Собрали деньги? С вас восемь семьдесят!»

А в ответ: «Вы нам, пожалуйста, принесите все-таки еще бутылку водки!» И ведь этак с нажимом говорят, а у самих голоса дрожат от страха.

— Я сказала вам: нет водки!

— Ну, тогда вина...

— Вина тоже нет!

И все это: они — тихо, чтобы не услышали, а она — громко, в полный голос. И уже оглядываются завсегдатаи ресторана, скучающе пытаются рассмотреть: кто это там, кто такие, как попали сюда? И нашей троице за столиком уже и водки той не надо, но ведь и уйти оплеванными тоже не хочется... И тогда, как последний аргумент:

— А мы платить не будем, пока не принесете!

Не надо, не надо бы говорить этого, и уже понимают они, что не надо бы, но — поздно, уже захлопнулась западня.

— Ах, вы платить не будете! — торжествующе, на весь зал звучит голос Клавочки, и уже не исправить ничего, потому что Клавочка торопливо убегает, скрывается за дверями... И совсем неуютно становится за столиком. Напряженно, стараясь не смотреть друг на друга, чтобы не выдать свой страх, сидят приятели. Самое лучшее сейчас — положить деньги на столик и уйти, но как уйдешь, когда начинается такое? Вот и метрдотель появился. Он идет, и поначалу — метрдотель еще не видит: кто там за столиком? — лицо его величественно и беспристрастно. Не меняя выражения лица можно публично сделать строгий выговор официантке, а посетителям улыбнуться приветливо: «Все хорошо? Сейчас ваш столик другой официант обслужит. Отдыхайте, пожалуйста...» Но вот метрдотель уже разглядел все. На его величественном лице появляется улыбка. Ах Клавка, ах баба!

— Что же вы так, молодые люди? — предвкушая

потеху, спрашивает метрдотель. — Если денег нет, придется вас в милицию сдавать.

И снова оглядываются из-за соседних столиков — там свои разговоры идут, там свои заботы, некогда в чужие вникать! — просто так оглядываются; что же делается-то такое, проникли в ресторан неизвестно как, да еще и платить не собираются! Возмутительно! Что это за порядки такие в ЦДЛ наступили? — и снова к своим разговорам, к своим заботам...

Все это игра. Игра для вымотавшейся за день официантки Клавды Кондаковой, небольшая разрядка после утомительного дня для метрдотеля Казенкова *. Только для испуганных студентов это не игра. И совсем уже не игра для строго-настрого предупрежденного Рубцова. (В своей объяснительной записке он напишет 18 июня: «Неделю назад я зашел в ЦДЛ с намерением отдохнуть после экзамена, посмотреть кино, почитать. Но я допустил серьезную ошибку: на несколько минут решил зайти в буфет ЦДЛ и в результате к концу вечера оказался в нетрезвом состоянии. Работниками милиции у меня был взят студенческий билет».)

Ситуация развивается словно по сценарию. Уже и рады бы заплатить ребята, но некому заплатить — и метрдотель, и официантка убежали встречать милицию. И милиция — у милиции вообще свойство появляться именно в таких случаях — появляется. И может быть, и не хочется милиционерам участвовать в затеянной склоке: ведь никто не бьет посуды, драки нет, все чинно и спокойно, и деньги для уплаты по счету лежат на столе, но что же делать — служба... И нужно проверить документы, нужно вывести неугодных посетителей из ЦДЛ. «Идите, идите, ребята...»

Момент вывода из ЦДЛ нашей тройцы — весьма важный и чрезвычайно загадочный. Именно здесь, возле вахты, бесследно исчезают двое участников «дебоша» и остается только один Рубцов. Он один и фигурирует далее в обвинительных документах.

«Директору Дома литераторов тов. Филиппову В. М.

от ст. контролера Прилуцкой М. Г.

Докладная записка

Довожу до Вашего сведения, что во время моего дежурства 12.VI.64 г. после 23 часов ночи подходит ко мне метрдотель ресторана и говорит,

* Кстати, не тот ли это метрдотель, с которым, судя по воспоминаниям В. Сафонова, схлестнулся Рубцов в начале декабря?

что три человека, сидящие за столиком в ресторане, отказываются платить счет. Придется вызывать милицию.

Войдя в ресторан, я узнала одного из сидящих, это был студент Литинститута т. Рубцов Н. М.

На предложение оплатить счет — три товарища заявили, что счет они оплатят после того, как будет подана еще одна бутылка вина. В продаже вина им было отказано, и я вызвала милицию.

По приходу милиции счет был оплочен (разрядка наша, орфография — автора записки. — *Н. К.*). Удостоверена личность этих людей; все они оказались студентами Литинститута.

Вот при каких обстоятельствах студенческий билет т. Рубцова был отобран милицией и оказался у меня и передан руководству Дома литераторов.

16.VI.64

ст. контролер Прилуцкая»

И опять-таки — круглая печать Центрального Дома литераторов.

Докладная записка М. Г. Прилуцкой существенно проясняет загадочное исчезновение двух участников «дебюша». Прилуцкая сама пишет, что, «войдя в ресторан, я узнала одного из сидящих, это был студент Литинститута т. Рубцов Н. М.», и именно Рубцов-то, а вернее, возможность впутать его в новый скандал, и интересовали, по-видимому, М. Г. Прилуцкую более всего в этой истории. Ресторанная склока, затеянная официанткой Кондаковой, начинает приобретать именно с этого момента зловещий оттенок и все более смахивает на расправу над Рубцовым.

«Директору ЦДЛ тов. Филиппову Б. М.

Докладная записка

12 июня в 23 ч 15 мин к дежурному администратору Леонидовой Э. П. и старшему контролеру Прилуцкой М. Г. обратилась официантка ресторана Кондакова К. А. с просьбой вызвать милицию, так как три посетителя не расплачиваются, требуют еще спиртного и ведут себя вызывающе.

По приходе милиции инцидент в основном был улажен, но в вестибюле был задержан один из этих посетителей, и выяснилось, что все они студенты Литинститута, а задержанный оказался известным по своему скандальному поведению в ЦДЛ студентом Рубцовым Н. М. Вопрос об исключении его из Литинститута ставился осенью 1963 г. в связи с дебошем в пьяном виде в ЦДЛ.

В апреле-мае 1964 г. я дважды просил Рубцова покинуть здание ЦДЛ, куда он приходил с писателями, причем 2-й раз он в компании с Куняевым и Переделиным (очевидно, имеется в виду Передреев. — *Н. К.*) оскорбили писателя Трегуба. (Трегуб Семен Адольфович, критик,

вел в Литературном институте спецкурс по творчеству Николая Островского. — *Н. К.*)

У Рубцова отобран студенческий билет, который прилагается к докладной.

Прошу Вас принять соответствующие меры.

Помощник директора ЦДЛ

Сорочинский

Круглая печать.

Перечитывая эти докладные записки, можно заметить, как постепенно сгущаются краски вокруг в общем-то безобидного происшествия. Вот и в докладной записке Сорочинского появляется фраза «ведут себя вызывающе», отсутствовавшая в докладных метрдотеля и Прилуцкой. Привлекаются и какие-то другие события, которые если и имели место, но не в т о т, роковой для Рубцова вечер.

«Дирекция Литературного института имени Горького.

Копия: Секретариат Правления Союза писателей СССР тов. Воронкову К. В.

В письме № 19/29 от 4 декабря 1963 г. дирекция ЦДЛ ставила вопрос о хулиганском поведении в ЦДЛ студента В/института Н. М. Рубцова, учинившего в нашем клубе в пьяном виде дебош.

Н. М. Рубцову было категорически запрещено посещение Центрального Дома литераторов, он был исключен из состава студентов Литинститута, но в дальнейшем почему-то восстановлен (разрядка наша. — *Н. К.*).

В апреле и мае 1964 г. студента Рубцова дважды пришлось удалять из ЦДЛ, а 12 июня с.г. это пришлось сделать уже при помощи милиции, так как, напившись в ресторане, он и компания, с которой он находился, отказались оплатить заказанный им ужин...

Дирекция ЦДЛ вынуждена вновь просить дирекцию Литинститута им. Горького принять меры в отношении студента Н. М. Рубцова и поставить нас в известность.

При сем прилагаю студенческий билет Н. М. Рубцова, отобранный у него милицией и докладные записки дежурного секретаря ЦДЛ тов. Прилуцкой, пом. директора тов. Сорочинского и метрдотеля ресторана тов. Казенкова.

Директор ЦДЛ

Б. Филиппов. 17 июня 1964 г.»

Как писала в своей докладной записке М. Г. Прилуцкая, «с ч е т б ы л о п л о ч е н». Но, похоже, у Сорочинского, Прилуцкой, Филиппова был свой счет к Рубцову, и поэту предстояло «заплатить» по нему сполна.

И стоит ли удивляться, что эта компания чиновников от ресторана очень легко нашла общий язык с чиновниками от Литературного института.

18 июня 1964 года у Рубцова была взята объяснительная записка по поводу случившегося. Что нужно было объяснить ему? То, что они хотели купить втроем еще одну бутылку вина? Впрочем, сам факт происшествия никого не волновал. Нужна была причина, повод... 25 июня 1964 года проректор А. Мигунов наложил на объяснительной записке Рубцова резолюцию: «За систематическое появление в нетрезвом виде в ЦДЛ и недостойное поведение отчислить из числа студентов очного отделения». Напомним, что резолюция эта появилась уже после того, как Рубцова перевели на третий курс.

Нет сомнения, что прежний ректор института И. Н. Серегин не допустил бы такого поворота дела — ведь ничтожным, надуманным был сам повод для исключения Рубцова. Но это Серегин. Нравственные и духовные качества нового главы института не сильно отличались от психологии ресторанных официантов и администраторов.

«26 июня 1964 г.

Союз писателей СССР

*Консультанту Секретариата правления СП СССР
тов. Соколову Б. Н.*

Уважаемый Борис Николаевич!

В ответ на Ваше письмо от 24 июня с. г. сообщаю, что Рубцов Н. М. после дебоша, учиненного им в ЦДЛ в декабре месяце, был строго осужден всем коллективом института. На заседании товарищеского суда он давал обещание, что исправится. Однако он продолжал нарушать дисциплину. Его еще раз предупредили на комиссии по аттестации студентов II курса. Несмотря на принятые меры общественного воздействия, Рубцов Н. М. снова недостойно вел себя 12 июля (июня. — Н. К.) с. г. в ЦДЛ.

За систематическое появление в нетрезвом виде в ЦДЛ и недостойное поведение Рубцов Н. М. исключен из числа студентов очного отделения. Тов. Рубцов просит разрешить ему заниматься без отрыва от производства. Если он осознает свою вину, положительно проявит себя на производстве, можно будет рассмотреть вопрос о зачислении на заочное отделение.

Проректор

А. Мигунов».

Едва ли случайно совпадение даты письма Б. Н. Соколова, кстати, отсутствующего в деле, и даты резолюции А. Мигунова на объяснительной записке Рубцова. Как ни грозны были украшенные круглыми печатями документы из ЦДЛ, которые пришли в институт, видимо, 18 июня — в этот день и заставили Рубцова на-

писать объяснительную записку, — но все же и за круглыми печатями невозможно было скрыть всю смехотворность так называемого «дебоша». И хотя и тяготел А. Мигунов по своей сущности ко всем этим сорочинским-прилуцким-филипповым, но без приказа он не мог решиться исключить Рубцова. Этот приказ и поступил, по-видимому, 24 июня в письме неведомого нам консультанта из СП СССР.

Не ясно, как был сформулирован этот приказ, но Рубцов должен был «оплотить» по счету. И он заплатил по нему...

«Все разъехались на каникулы... — вспоминая об этих днях, пишет Э. Крылов, — и только мы с Рубцовым оставались в общежитии. Мне ехать было некуда, а его что-то задерживало. Но вот собрался и он в свою Нинолу. Я зашел к нему в комнату. На полу лежал раскрытый чемодан. Сам он сидел на корточках и запускал желтого цыпленка, который как-то боком прыгал на металлических лапках и старательно клевал пол. Рубцов залиvisto смеялся, хлопал руками по полу, как бы отгоняя цыпленка, а меня даже не заметил. Я постоял, потом, увидев в чемодане поверх белья странную книжицу, взял ее в руки и тихо вышел. Книжица оказалась отпечатанной на машинке и называлась «Волны и скалы. Тридцать восемь стихотворений». Я прочитал ее всю, и, каюсь, мне захотелось ее присвоить. Я присоединил книжицу к папке с его стихами и двум тетрадям, которые уже хранились у меня. Но потом мне стало совестно (все-таки книжка вроде — не рукопись, да и как бы я стал смотреть ему в глаза), и я снова пошел к нему. К моему удивлению, он все еще запускал цыпленка, забыв обо всем на свете. Я окликнул его.

— Вот посмотри. Хорош, правда? Дочке везу, — и он опять пустил цыпленка прыгать по полу».

Таким самозабвенно играющим с цыпленком, купленным для дочери, и запомнился Рубцов перед отъездом в Нинолу. Уезжал он только на лето. Осенью, как обещали ему А. Мигунов и Н. Н. Сидоренко, его должны были восстановить на дневном.

Когда читаешь или слушаешь воспоминания о Рубцове, охватывает странное чувство. Рубцова видели в коридорах общежития, встречали на городских улицах, запомнили то в очереди у пивного ларька, то в редакции какого-нибудь журнала. Знавшие Рубцова тщательно припоминают разговоры, добросовестно описывают прокуренные комнаты общежития Литературного института, всплывают даже самые незначительные детали, но все эти подробности облетают, как пожелтевшая листва, и за прозрачными ветвями деревьев словно и нет городского асфальта — только сырое осеннее поле. Над полем сгущаются сумерки, и зябко, холодно вокруг, и только вдалеке, у кромки чернеющего леса, робко помаргивают деревенские огоньки. Огоньки той деревни, в которой он жил...

Летели, летели недели,
 Да что там недели — года...
 Не раз в ЦДЛе сидели,
 А вот у реки никогда —

с горькой иронией напишет в стихотворении, посвященном Рубцову, Николай Старшинов. И Борис Романов тоже вспомнит, что от «знакомства с Николаем Рубцовым у меня сохранилось... очень конкретное впечатление «на манер» того, которое бывает, когда в море, в сумерках или ночью, внезапно проходит возле тебя огромное, с немногими огнями судно».

Но тогда откуда же этот сквозящий в строках городских описаний пейзаж сырого осеннего поля, пейзаж рубцовской деревни? И какой же силой любви к своей родной земле должен обладать поэт, чтобы и люди, никогда не видевшие ее, никогда не бывавшие в ней, увидели ее и запомнили, как свою? И не потому ли с таким вниманием вчитываешься в коротенькие письма Рубцова из деревни, не потому ли ловишь каждое слово человека, видевшего его там?

Почти все письма Рубцова и воспоминания, касающиеся жизни Рубцова в деревне, относятся к 1964 году, может быть, самому страшному и трудному году в жизни поэта...

«Я снова в своей Николе... — пишет Николай Рубцов

Сергею Багрову 27 июля 1964 года.— Живу я здесь уже месяц. Погода, на мой взгляд, великолепная. Ягод в лесу полно — так что я не унываю...»

Слово «унываю», хотя и снабжено отрицанием «не», как-то выпадает из контекста. Дальше Рубцов пишет о своих успехах, о том, как прекрасно движутся дела с публикацией стихов: «Ты не видел моих стихов в «Молодой гвардии» и «Юности» — 6-е номера? Я недоволен подборкой в «Юности», да и той, в «Молодой гвардии». Но ничего. Вот в 8-м номере «Октября» (в августе) выйдет, по-моему, неплохая подборка моих стихов. Посмотри. Может быть, в 9-м номере. Но будут...» Вроде бы и нет причин для уныния... И Сергей Багров, навестивший Рубцова в Николе, тоже рисует портрет бодрого, «неунывающего» поэта: «А было то утро влажное, голубое, словно вымытое в реке и подсыхающее на припеке. Пахло накошенным клевером и гвоздикой. По крайнему к Толшме посаду я подошел к плоскокрышей (рядка здесь и дальше наша.— Н. К.) избе с крыльцом, заросшим крапивой и лопухами...»

Войдя через сени в полулю дверь, слегка удивился... На полу валялись клочья бумаг, салфетка с комода, будильник, железные клещи и опрокинутый набок горшок с домашним цветком. На столе — какие-то распашонки, тут же чугунок с вареной картошкой, бутылочка молока и детский ботинок. Из горенки послышался младенческий крик, а вслед за ним с крохотной девочкой на руках выплыл и сам Рубцов. Был он в шелковой белой рубахе, босиком. Перекинутый через лоб жидкий стебель волос и мигающие глаза выражали досаду на случай, заставивший его сделаться нянькой.

— Это Лена моя! — улыбнулся Рубцов и посадил притихшую дочку на толстую книгу. — Гета с матерью ушли сенокосить, а мы пробуем прибираться. Вернее, пробует Лена. И я ей все разрешаю!..

— Но так и хорошее можно что-нибудь изломать?

— А вон, — показал Николай на ручные часы, вернее, на то, что когда-то было часами, а теперь валялось в углу с разбитым стеклом и покореженным циферблатом. — Еще утром ходили. Но я ей дал поиграть...

— Теперь без часов вот остался?!

— А что мне часы! Без них даже лучше. Спешить никуда не надо. Живи, как подскажет тебе настроение».

Сергей Багров не останавливает наше внимание ни на бедности окружающей Рубцова жизни; ни на, должно

быть, непростых взаимоотношениях — с Генриэттой Михайловной Рубцов так и не зарегистрировался — между обитателями этой «плоскокрышей избы» (избушки, как впоследствии будет называть ее сам поэт). Едва ли это сделано умышленно. Бодрость, энергия Рубцова заражали гостя, вот и осталась в памяти только «праздничная улыбка, а в карих глазах что-то ласково-легкое, игравшее радостью и приветом».

Летом 1964 года Рубцов чувствовал себя на взлете. За первыми крупными подборками стихов в центральных журналах виделось близкое признание... А исключение из института казалось несущественной, формальной ошибкой, которую легко исправить.

Во всяком случае ни жене, ни Сергею Багрову об отчислении из института Рубцов не рассказывал. И это не просто бездумная самоуверенность или болезненная скрытность — те качества характера, которые отмечали в Рубцове почти все знавшие его. В этом видится другое, нечто большее...

Рубцов был человеком с обостренным чувством Пути. Когда листаешь сборники его стихов, все время мелькают слова «путь», «дорога», служащие не столько для обозначения каких-то определенных понятий реального мира, сколько для фиксации особого состояния души поэта.

Даже в шуточных стихах движение в пространстве зачастую несет особый нравственный смысл:

Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводе,
Потом еще на чем-то вроде,
Потом верхом, потом пешком
Пойду по волоку с мешком
И буду жить в своем народе...

Но вместе с этим, единственным и истинным Путем были и пути в обратную сторону, пути, о которых никогда не писал Рубцов с иронией, потому что они всегда осознавались им как трагедия.

Еще в 1963 году была написана Рубцовым «Прощальная песня»:

Я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.

Не принято отождествлять героя литературного произведения с его автором, но лирического героя «Прощальной песни» и поэта Рубцова, кажется, не разделяет ничто. И не потому ли так пронзительно, так неподдельно искренне звучат строки этого шедевра русской лирики:

Не грусти! На знобящем причале
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.

В «Прощальной песне» поражает не только магия горьковатой печали, но и почти очерковая точность, с которой рисует поэт детали быта: и заплывший грязью двор, и берестяную зыбку, и тещу — пожилую женщину, вернувшуюся после тяжелого дня работы: «мать придет и уснет без улыбки...» Читаешь эти стихи и невольно задумываешься: да оправдано ли сетование друзей на скрытность Рубцова? Можно ли рассказать о своей жизни более открыто, чем это сделано в «Прощальной песне»? Неужели можно распахнуться сильнее? Едва ли... Ни в одной исповеди не скажешь так просто о самом главном: о том пути, который считаешь единственно возможным для себя, об отчаянной решимости пройти этот путь до конца...

«Прощальная песня» чрезвычайно важна для понимания того, что пережил Рубцов во второй половине 1964 года.

Он вернулся в Николу счастливым летом, где его ждали жена и дочь. И летом 1964 года порою начинало казаться, что как-то и наладится жизнь. Даже теща, прозванная Рубцовым гренадером, и та постепенно смирялась с необычностью избранного непутевым зятем пути. И по утрам в то лето не так грозно, не так гневно гремела она у печи ухватами. Она видела, что фантастическая мечта Рубцова вроде бы и обретает реальную плоть: он учился в Москве «на поэта», его стихи печатаются в журналах, газетах... Может быть, впервые — и, увы, так ненадолго! — был Рубцов настоящим счастливым. И не отсюда ли такая неестественная для людей, знавших его по городу, «праздничная улыбка»? И работалось в это лето Рубцову удивительно хорошо. Пятьдесят стихотворений было написано им в Николе летом 1964 года...

Но лето прошло. По-осеннему потемнела спокойная вода Толшмы. В институте Рубцова не восстановили.

Что произошло в Москве в сентябре 1964 года, когда Николай Рубцов вернулся из Николы, не понимал, кажется, и он сам. Еще в июне, уезжая из Москвы, вероятно, по совету Н. Н. Сидоренко, Рубцов написал такое заявление:

*«В ректорат Литературного института им. Горького
от Рубцова Н. М.»*

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на заочное отделение сроком на 1 год, так как я хочу в производственной обстановке работать над книжкой.

Прошу на время заочного обучения оставить меня в творческом семинаре Н. Н. Сидоренко.

23/VI—64 г.

Н. Рубцов».

Приказ № 106 об отчислении Рубцова из института был издан 26 июня 1964 года. Сам же Николай Михайлович скорее всего узнал о своем окончательном отчислении из института, только вернувшись в Москву, в конце августа — начале сентября. В полном неведении об отчислении Рубцова оказался и Н. Н. Сидоренко. 10 сентября он пишет по этому поводу возмущенное письмо А. Мигунову:

«Уважаемый Алексей Андреевич!

Совсем недавно узнал я о том, что студент Н. Рубцов исключен из института, меж тем как на последнем заседании, где стоял о нем вопрос, было решено повременить до окончания экзаменов: если Рубцов сдаст экзамены успешно, он останется в составе наших студентов, хотя, возможно, ему придется перейти на заочное отделение. О своем переводе на заочное отделение он сам просил в заявлении перед отъездом на каникулы.

И вдруг — исключение, хотя экзамены сданы успешно. То ли не соблюдено наше общее решение, то ли что-то случилось позднее, чего я не знаю.

За это лето Н. Рубцов выступал со стихами на страницах журналов «Молодая гвардия», «Юность», «Октябрь». Его стихи были замечены в литературной среде, оценены положительно. Сборник стихов Н. Рубцова включен в план Северо-Западного издательства.

За время каникул Н. Рубцов написал много новых стихов, часть их у меня имеется. Это — хорошие стихи.

Завершение литературного образования нужно Рубцову как воздух. Пусть он будет заочником, но пусть продолжает учиться, пусть находится под нашим руководством и наблюдением.

Если имеется хоть какая-нибудь возможность для восстановления Н. Рубцова в институте, она должна быть использована нами. Прошу очень Вас рассмотреть этот вопрос возможно скорее и объективнее.

10 сент(ября) 1964

Руководитель семинара *Н. Н. Сидоренко*».

Вероятно, и для А. А. Мигунова такой исход казался наиболее приемлемым. Во всяком случае на письме Н. Н. Сидоренко третьего октября появилась его резолюция: «*В приказ. Восстановить в числе студентов III курса заочного отделения*».

Казалось бы, на этом и должен был закончиться вопрос о восстановлении Рубцова хотя бы на заочном отделении, но дальше происходят еще более удивительные и загадочные вещи. Решение А. А. Мигунова не выполняется его подчиненными. Издавать приказ о восстановлении Рубцова на заочном отделении никто не собирается. Тем более что сам Рубцов уже не может проконтролировать это дело — после очередной попытки вовлечь его в скандал он спешно уезжает из Москвы. Что случилось тогда в ЦДЛ, можно понять из письма Рубцова С. Куняеву от 18 ноября 1964 года. Рубцов писал: «Хорошо, я думаю, что я «завелся» тогда не до конца, а сдержался... Я тут же тогда уехал и не знаю, исключили меня опять из института или, может быть, нет...»

Не исключили... Рубцов напрасно поспешил с отъездом из Москвы. Его не исключили из института, потому что, похоже, никто и не собирался его восстанавливать.

«Уважаемые товарищи! — напишет из Никольского Рубцов. — После того как я уехал из Москвы, из института, где я был (в октябре) по делу своего восстановления на заочном отделении, — я уже больше не работал зав. клубом в с. Никольском, так как за длительное отсутствие «потерял» эту должность.

С ноября работаю в здешней районной газете. Об этом и посылаю Вам справку.

Так что мой адрес прежний:

Вологодская обл., Тотемский р-н, с. Никольское.

С уважением. *Николай Рубцов*.

Р. С. Неужели до сих пор не оформлен приказ о моем восстановлении? Ведь я тогда уехал, договорившись по этому поводу с ректором и с кафедрой творчества».

Письмо это Рубцов напишет уже в декабре из Никольского, а поздней осенью, вернувшись назад, он встретится в Тотьме с Сергеем Багровым.

«В один из дождливых дней прогудел пароход и по сходням в толпе пассажиров на тотемский берег сошел Николай...

- А как институт?
- Перешел на заочное.
- В Тотьме останешься?
- Нет. Поеду в Николу.

Денег не было у Рубцова, и он был вынужден (как не хотел!) взять в районной газете командировку. Перед тем как уехать, зашел на часок ко мне. Мы сидели в доме моих родителей, на старинных высоких стульях; пили вино, курили и слушали дождь. И вдруг Николай запел:

Потонула во тьме отдаленная пристань.
По канаве промчался, эх, осенний поток!
По дороге неслись сумасшедшие листья,
И порой раздавался пароходный свисток...

Я слушал его резковатый красивый голос и мысленно видел перед собой холодный сухонский плес и уплывающий пароход, на котором ехал Рубцов куда-то далеко-далеко, к каким-то неведомым берегам, где гуляют промозглые ветры, где тревога, где грозы, где вечная ночь.

Едва кончил он петь, как раздался гудок. Мы поспешили на пристань».

...И откладываешь книгу воспоминаний, и снова пытаешься понять: что же влекло Рубцова в ту сырую холодную осень к его бедной «избушке» в Николе? Ведь, наверное, можно было пристроиться в Москве и без Литературного института и жить пусть и небогато, но уж куда вольготнее и лучше, нежели в нищей вологодской деревне тех лет.

Рубцов сам ответил стихами на этот вопрос. Ни литературный успех, ни деньги не могли помочь ему преодолеть обиду. Только — семья, только — деревня Никола, только — Родина, с которой всегда ощущал он «самую жгучую связь». И не было другого пути для него. Именно в тяжкую минуту оскорбления и униженности должна была слиться его поэтическая судьба с судьбой народной. И не могло быть сомнения в выборе. Только безусловное

принятие этой жизни, только полное забвение себя и, как результат, обретение возможности плакать ее слезами, петь ее голосом, звенеть ее эхом:

И разбудят меня, позовут журавлиные крики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...
Широко по Руси предназначенный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полет этих гордых прославленных птиц.

Журавли уже пролетели над тонущей в осенней грязи деревенькой, когда Рубцов пароходом до устья Толшмы, а потом на пароме, потом пешком по дороге, что прошла через колхоз «Сигнал», лесом вдоль огромного болота наконец добрался до дома, этой нищей избы с плоской крышей.

«Я уже три дня в Николе... — пишет он Сергею Багрову 30 октября 1964 года. — Один день был на Устье в дороге. Пришлось топтать пешком. Не знаю, как бы я тащился по такой грязи, столько километров... с чемоданом! Хорошо, что ты любезно оставил его у себя...

Вчера я отправил Каленистову заметки о той учительнице и стихотворение. Стихотворение писать было тяжелой, ей-богу! Ты сам знаешь, почему это. Можно было бы подумать еще и над прозой, и над стихами, если б я точно знал, что еще будут ходить пароходы. Ведь если они на днях перестанут ходить, этот мой материальчик мог бы сильно задержаться, и тогда я был бы виноват перед Каленистовым.

Сережа, я здесь оказался совсем в «трубе». На Устье у меня потерялись или изъялись кем-то последние гроши. Сильно неудобно поэтому перед людьми в этой избе, тем более что скоро праздник. Может быть, поскольку я уже подготовил материал, Каленистов может послать мне десятку?.. Непосредственно к нему с этим вопросом я решил не обращаться, так как плохо знаю его. А вообще надо бы обязательно хоть немного поддержать эту мою и збушку» (разрядка наша. — Н. К.).

Трудно поверить, что это письмо написано автором «Журавлей». Стихотворение трагедийно и безысходно: «Вот замолкли — и вновь сиротеют душа и природа оттого, что — молчи! — так никто уж не выразит их...», и так высок трагедийный пафос, что как-то несоразмерен он с отчаянной, будничной нищетой, в которой оказался Рубцов у себя «в избушке». Десять рублей — ничтожная

и по тем временам сумма — может поддерживать семью Рубцова. О какой счастливой деревенской идиллии может идти речь, если в Николе Рубцов оказался против своей воли нахлебником в бедствующей деревенской семье?

Тут уместно будет вспомнить, что Генриэтта Михайловна работала тогда в клубе и получала тридцать шесть рублей в месяц, а своей коровы — этой деревенской коровицы — в семье не было *. Так что жили Рубцовы очень плохо. Кстати, и плоскокрышую избушку они занимали не одни. На другой половине жила многодетная семья Чудиновых.

Но все-таки и здесь, среди деревенской нищеты и униженности, не покидает Рубцова ощущение правильности принятого решения, истинности избранного пути. Именно в эту глухую осень, сидя у крохотного, смотрящего на холодную Толшму окошка, пишет он стихотворение «Душа», напечатанное уже после его смерти под заголовком «Философские стихи». Новое название кажется мне неудачным, потому что стихотворение именно о душе, о том, как сперечь, как сохранить ее:

За годом год уносится навек,
Покоем веют старческие нравы,—
На смертном ложе гаснет человек
В лучах довольства полного и славы!
К тому и шел! Страстей своей души
Боялся он, как буйного похмелья,
— Мои дела ужасно хороши! —
Хвалился с видом гордого веселья... —

рисует Рубцов образ «счастливого» человека, достигшего полного благополучия, но тут же — яростно и напористо! — оспаривает это благополучие:

Последний день уносится навек...
Он слезы льет, он требует участия,
Но поздно понял важный человек,
Что создал в жизни ложный облик счастья!

Ложный облик счастья... Рубцов, как вспоминают его друзья, побаивался благополучных, особенно в казенном

* Кстати, шокирующая многих (в воспоминаниях С. Багрова) реплика Н. М. Рубцова: «Гета с матерью ушли сенокосить, а мы пробуем прибираться», — нуждается в пояснения. Генриэтта Михайловна и ее мать «сенокосили» для колхоза. Участие Рубцова в этой работе ничего бы не изменило, все равно бы женщин заставили идти на покос.

коште, людей. И не удивительно, а вполне закономерно, что ложь навязываемого ему «облика счастья» открылась поэту не в Москве или Ленинграде, а в нищей вологодской деревушке, среди серых изб и покосившихся заборов, где он жил, отрезанный бездорожьем и безденежьем от всех своих литературных и окололитературных знакомых и доброхотов. Счастье — это не внешнее благополучие, а осознание единственности избранного пути, невозможности другого.

...Я знаю наперед,
Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает,
Кто все пройдет, когда душа ведет,
И выше счастья в жизни не бывает!

Стихотворение «Душа» смущало самого Рубцова «холодноватостью». И тем не менее поэт не отказывался от него, время от времени прилагал силы, чтобы опубликовать стихотворение, соглашаясь даже на правку. Это свидетельствует о том, что и «холодноватое» стихотворение «Душа» было принципиально важно для него.

23

Трудно писать о жизни Рубцова осенью-зимой 1964 года... Слишком малый срок отделяет нас от его земного бытия. Рубцов мог бы и сейчас жить с нами, и поэтому-то испытываешь некую неловкость, сопоставляя события, расшифровывая скороговорку воспоминаний, пробираясь сквозь полунамекы и стыдливые умолчания. И все-таки нужно пробраться, потому что жизнь настоящего поэта, его путь и судьба — это тоже его произведение, страницы которого таят в себе не меньше нравственного, духовного содержания, нежели стихи. Да и в самих стихах открывается новый глубинный смысл, когда прочитываешь их в контексте всей жизни.

Рубцов никогда не вел дневника. Его дневник — стихи. И, открывая стихи, датированные 1964 годом, словно бы видишь одинокого Путника, стоящего на краю заснеженного поля. И сгущаются холодная тьма и отчаяние, и видения злыми тенями проносятся в сумерках — страшная, глухая нежить, готовая смять, растерзать душу. И уже нет сил отмахнуться от нее, все ближе холодное, смертное дыхание... И тогда, сквозь сумерки и холод отчаяния, огонек...

...Я был один живой.
Один живой в бескрайнем мертвом поле!
Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?)
Мелькнул в пустыне,
как сторожевой...

Огонек в доме, стоящем на краю заснеженного поля.
В доме одинокая старуха, растерявшая на этом поле всех
своих родных (стихотворение «Русский огонек»).

Как много желтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне
И поразил
Сиротский смысл семейных фотографий:
Огнем, враждой земля полным-полна,
И близких всех душа не позабудет!..
— Скажи, родимый, будет ли война? —
И я сказал: — Наверное, не будет.
— Дай Бог, дай Бог... Ведь всем не угодишь,
А от раздора пользы не прибудет... —
И вдруг опять: — Не будет, говоришь?
— Нет, — говорю, — наверное, не будет.
— Дай Бог, дай Бог...

И вот: вроде бы и не говорили ни о чем, а уже легче.
В робком помаргивании крохотного огонька посреди
бесконечной тьмы рассеиваются злые видения. Снова
в душе покой, и легко ей радоваться добру и прощать
обиды, самоотверженно забывая себя и себя же обретая
в этом забвении...

— Что ж, — говорю, — желаю вам здоровья!
За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...

И не этот ли «скромный русский огонек» мерцал
Рубцову из затянутых морозной наледью крохотных окон-
шек «избушки», где жил он тогда со своей семьей. Жизнь
в Николе кое-как налаживалась. Прислали деньги из
«Октября» — двести с лишним рублей. Сумма для Руб-
цова немалая.

«Я живу же по-прежнему, среди зимней, рано темнею-
щей теперь скучной никольской природы, — неуклюже,
как бы извиняясь за что-то, пишет он Сергею Багрову. —
Нехотя пишу прозу, иногда стихи. Жаль, что Гета (из

Николы) без твоего ведома взяла у тебя дома мой чемодан. Она бы этого не сделала, если бы не спешила на грузовик, в котором отправлялась из Тотьмы. Между прочим, я просил ее, чтобы она только подстрочники стихов Хазби взяла из чемодана, но она без тебя все равно ничего бы не нашла, поэтому унесла их вместе с чемоданом. Что буду делать дальше, я еще не знаю. Хочу все-таки до того, как поеду отсюда, что-нибудь закончить, хотя бы несколько глав повести, которую я задумал».

Но так уж была устроена жизнь Рубцова, что и у «скромного русского огонька» не суждено было задержаться ему... Так всегда было с ним. Об этом он писал еще в той же «Прощальной песне»:

Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой, наступающий топот
Все мне слышится, словно в бреду.

Этот «злой, наступающий топот» — не метафора, не химера сознания. Осенью 1964 года он был реальностью жизни Рубцова... Чтобы понять это, снова нужно вспомнить, как жила вологодская деревня в те годы. Жизнь в Николе ничем не отличалась от бедствий деревни, описанной в повести В. Белова «Привычное дело». И не только по своему материальному достатку, но и по характеру отношений. Председатель никольского колхоза «Россия» Н. А. Беляевский рассказал мне, что паспорта они начали выдавать своим колхозникам только в 1967 году, и до этого времени все колхозное хозяйство держалось, по сути дела, на подневольном труде. В это трудно поверить, но — увы! — и полвека спустя после победы советской власти в нашей деревне жили так же, как при крепостном праве. И, конечно же, сам факт появления в этой закрепощенной деревне вольного человека смущал местное начальство.

И вот — произошло то, что и должно было произойти. Фотография Рубцова появилась на доске «Тунеядцам — бой!» в сельсовете. Рубцов снят на ней в свитере. Сложив на груди руки, чуть усмехаясь, прищурившись, он смотрит с этой, быть может, самой лучшей своей фотографии на нас... Действительно, смешно...

Но тогда было не до смеха.

Тем более что деньги из «Октября» уже растаяли, и снова приходилось рассчитывать на копеечные (весь

номер «Ленинского знамени» стоил двадцать два рубля) гонорары из газеты.

«Дорогой Вася! — пишет Рубцов в начале ноября В. Елесину. — Посылаю заметку о нашем фельдшере. Редактируй ее и сокращай, как хочешь (это не стихи); но только хоть что-нибудь из этой заметки надо бы напечатать. Так что, если найдешь это возможным, предложи, пожалуйста, заметку в газету.

Живу неплохо. Хожу в лес рубить дрова. Только щепки летят!»

Заметку Рубцова в газете напечатали спустя три месяца — 4 марта 1965 года...

24

На берегу Толшмы в Никольском до сих пор стоит церковь. Вернее, то, что от нее осталось. Часть церковной стены не разрушили, головастые местные мужики прямо к ней прирубили бревенчатые стены и сделали пекарню. Одна сторона у нее церковная, каменная с фризами, с окошечками, забранными решетками, белая, другая — бревенчатая, избяная, почерневшая... Рядом с этой пекарней, на четырех опорах — церковный купол с дырой от маковки. На куполе еще и сейчас сохранились остатки фресок. Из мутноватой, затягивающей их пелены небытия смотрят на нас святые. Смотрели они и на Рубцова...

Наверное, если постоянно жить в Никольском, можно привыкнуть и к этой церкви-пекарне, и к этому куполу с дырой посередине... Но для человека, который бывал в Никольском наездами, зрелище непереносимое. И гаснущие, уходящие в небытие святые, и церковь-пекарня...

О никольской церкви Рубцов никогда не писал стихов. Никогда не рассказывал он про нее друзьям. Он просто приходил сюда и иногда до сумерек, как вспоминают жители села, неподвижно сидел на берегу Толшмы возле церкви-пекарни, возле купола с гаснущими ликами святых. Сидел, вглядываясь в ясную и беззащитную даль заречья, пытаясь соединить — он должен был соединить это! — несоединимое...

И соединил. Его стихи — всегда попытка восстановления храма, это возведение церковных стен, вознесение куполов, это молитва, образующая церковное строение, и страшное ожидание окончательной гибели его. Рушатся, рассыпаются в пыль стены возведенного храма, осен-

няя пустота сквозит между опорами купола, и гаснет свет святости в захлестывающей поэта черноте.

Я не хочу подвергать критике памятник Н. М. Рубцову в Тотьме, но этот памятник — неправда. В развалинах Никольской церкви, что на берегу реки Толшмы, созвучия рубцовской судьбе больше. Они так же трагичны, как трагична его жизнь, так же страшны, как страшна судьба Рубцова.

В письме Глебу Горбовскому Рубцов, кажется, об этом и пытался рассказать. Он писал:

«Сiju сейчас, закутавшись в пальто и спрятав ноги в огромные рваные старые валенки, в одной из самых старых и самых почерневших избышек селения Никольского — это лесистый и холмистый, кажущийся иногда совершенно пустынным, погруженный сейчас в ранние зимние сумерки уголок необъятной, прежде зажиточной и удалой Вологодской Руси. Сегодня особенно громко и непрерывно воют над крышей провода, ветер дует прямо в окна, и поэтому в избе холодно и немного неуютно, но сейчас тут затопят печку, и опять станет тепло и хорошо.

Я уже пропадаю здесь целый месяц. Особенно желания коротать здесь зиму у меня нет, так как мне и окружающим меня людям поневоле приходится вмешиваться в жизнь друг друга, иначе говоря, нет и здесь у меня уединения и покоя, и почти исчезли и здесь классические русские люди, смотреть на которых и слушать которых — одна радость и успокоение. Особенно раздражает меня самое грустное на свете — сочетание старинного невежества с современной безбожностью, давно уже распространившиеся здесь...»

Письмо Рубцов не дописал, не отправил. Об этом нельзя было рассказывать никому.

И разве случайно взгляд Рубцова в стихах все чаще и чаще обращается «на тот берег». Туда же, куда смотрели святые с исклестанных злым осенним дождем фресок...

Фрески заплывали темнотой, и, как эти фрески, погружался в черноту отчаяния и сам Рубцов. Казалось, навсегда рвались последние ниточки, связывавшие его с Москвой, со всем миром...

«Сiju порой у своего почти игрушечного окошка и нехотя размышляю над тем, что мне предпринять в дальнейшем. Написал в «Вологодский комсомолец» письмо, в котором спросил, нет ли там для меня какой-

нибудь (какой угодно) работы. Дело в том, что, если бы в районной газете нашли для меня, как говорится, место, все равно мне отсюда не выбраться туда до половины декабря. Ведь пароходы перестанут ходить, а машины тоже не смогут пройти по Сухоне, пока тонок лед. Так что остается одна дорога — в Вологду — с другой стороны села, сначала пешком, потом разными поездами».

Вместе с ощущением безнадежности нарастало и взаимонепонимание в семье. «...Такое ощущение, — жалуется Рубцов в письме С. Куняеву, — будто мне все время кто-то мешает и я кому-то мешаю, будто я перед кем-то виноват и передо мной тоже...»

И хотя тут же переводит разговор в шутку, дескать, мог бы объяснить этот казус с психологической стороны не хуже Толстого и хотя бы «в объеме достигнуть его, Толстого, глубины...», но отчаяннейший крик о помощи, прорвавшийся в строчках письма, все равно ведь прозвучал. И — увы — не был услышан.

«Жизнь моя идет без всяких изменений и, кажется, остановилась даже, а не идет никуда... Получил письмо от брата из Ленинграда (Альберт Михайлович Рубцов жил тогда в Невской Дубровке. — *Н. К.*). Он зовет меня в гости, но я все-таки не могу сдвинуться с места ни в какую сторону. Выйду иногда на улицу — увижу снег, безлюдье, мороз и ко всему опять становлюсь безразличным и не знаю, что мне делать, да и не задумываюсь над этим, хотя надо бы задуматься, так как совсем разонравилось мне в старой этой избе, да и время от времени рассчитывать ведь надо за эту скучную жизнь в ней. Было бы куда легче, если бы нашлись здесь близкие мне люди. Но их нет, хотя ко всем я отношусь хорошо. Впрочем, хорошее отношение здесь тоже понимает каждый по-своему и все отлично от меня».

Это письмо последнее из написанных им той зимой. Вскоре Рубцов уехал в Вологду на областной семинар начинающих литераторов, а оттуда в Москву — хлопотать о восстановлении в Литературном институте.

Выбираться из Николы зимой трудно. Нужно сначала пройти вдоль Толшмы тридцать пять километров до лесопункта Гремяченского, потом на лесовозе по узкоколейке Монзенского леспромхоза добраться до станции Монза где и пересесть на поезд:

Вот он, глазом огненным сверкая,
Вылетает... Дай дорогу, пеший!
На разъезде где-то, у сарая,
Подхватил меня, понес меня, как леший!

И, разумеется, нельзя было пускаться в такой путь без валенок. В валенках и отправился Рубцов из Никольского. В валенках ходил по Вологде, в валенках приехал в Москву. В валенках, уже по весне, возвращаясь в Вологду, заехал в Приютино. Таким, в рваных валенках, с детскими ботиночками, перекинутыми через плечо, и запомнили его друзья юности — Таисия Александровна Голубева и Николай Васильевич Беляков.

Таким, прошедшим по бездорожью, сквозь снежную мглу заметенного поля, усталым Путником видится сейчас Рубцов и нам...

25

На Новый год, в Москве, Рубцова пригласил к своим родителям Вадим Кожинов. Сам он где-то задержался, и его родители, смущенные видом Рубцова, не пустили его в квартиру.

«Я приехал чуть ли не без четверти двенадцать и застал Николая на улице у подъезда, — пишет в своих воспоминаниях В. Кожинов. — Помню, меня страшно возмутило нарушение обычая, который я всегда считал священным: за новогодний стол необходимо посадить всякого, любого гостя. Я вбежал в квартиру, чтобы поздравить с Новым годом мать, и вернулся на улицу.

Что было делать? У нас имелось с собой вино и какая-то снедь, но все же встреча Нового года на улице представлялась крайне неуютной. Оставалось минут десять до полуночи. Широкая Новослободская была совсем пуста — ни людей, ни машин.

И вдруг мы увидели одинокую машину, идущую в сторону Савеловского вокзала, за которым не так уж далеко находится общежитие Литературного института. Мы бросились наперерез ей. Полный непобедимого молодого обаяния Анатолий Передреев сумел уговорить водителя, и тот на предельной скорости домчал нас до «общаги». Мы сели за стол в момент, когда радио уже включило Красную площадь. Почти не помню подробностей этой новогодней ночи... Но эта ночь была — тут

память нисколько мне не изменяет — одной из самых радостных новогодних ночей для нас всех. Нами владело какое-то ощущение неизбежного нашего торжества — невзирая на самые неблагоприятные и горестные обстоятельства. Под утро мы с Анатолием Передреевым даже спустились к общежитскому автомату и позвонили моему отцу, чтобы как-то «отомстить» ему этим нашим торжеством. У него уже было совсем иное настроение, он извинялся, упрасивал, чтобы все мы немедленно приехали к нему...

— Ты даже представить себе не можешь, к о г о ты не пустил на свой порог, — отвечал я. — Все равно что Есенина не пустил...

И это тогда, 1 января 1965 года, уже было полной правдой».

Трудно не согласиться с В. В. Кожинным. В январе шестьдесят пятого года это действительно было правдой. Уже написаны были Рубцовым великие стихи. Написаны там, на краю заледеневшего поля... И среди них одно из самых прекрасных и страшных — «Звезда полей»...

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.

Эти строки завораживают, и сам, леденея от холода, будто бы заглядываешь в смертную черноту полынни. Но стихотворение возносит душу к высшему свету:

...в минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...

И такая благодать в достигнутых высях, такая чарующая даль открывается окрест, что уже не жалко и жизни — все родное, все освещено светом звезды полей... Но в последней строфе снова возвращаешься сюда, на поле, в заледенелую мглу:

Но только здесь во мгле заледенелой
Она восходит ярче и полней...

«Полней» и «полынья»... Эхом, отразившимся от студенной воды, повторяется рифма, замыкая движение и не стиха даже, а самой жизни...

Это эхо различаешь всегда, вслушиваясь в стихи Николая Рубцова. Читаешь их и словно бы твои самые главные и самые чистые чувства, отражаясь, возвращаются к тебе, и замирает сердце, узнавая их:

Скачет ли свадьба в глуши потрясенного бора,
Или, как ласка, в минуты ненастной погоды
Где-то послышится пение детского хора,—
Так — вспоминаю — бывало и в прежние годы!

Вспыхнут ли звезды — я вспомню, что прежде блистали
Эти же звезды. А выйду случайно к парому, —
Прежде — подумаю — эти же весла плескали...
Будто о жизни и думать нельзя по-другому!

И вот тут-то начинаешь понимать вдруг, что, может быть, в том и заключается опыт души и сердца, чтобы научиться отзываться на звук Глагола, затерянный в древних, смутных и неясных смыслах. И стихают пораженные силой Глагола глухие стоны на темном кладбище, отступают бурьян и нежить, которым так привольно и на нашей земле, и в нас самих...

И не в этом ли заключена магическая сила рубцовой поэзии, не в этом ли и состоит его великий подвиг — подвиг Путника, стоящего на краю поля?

Судьба... Путь...

Рубцов не выбирал своей судьбы, он только предугадывал ее. Он не мог изменить судьбы, но всегда узнавал ее, когда она являлась ему... В конце декабря он покинул деревню и сел на поезд, который должен был отвезти его в Вологду, а потом и в Москву.

Поезд мчался с грохотом и воем,
Поезд мчался с лязганьем и свистом,
И ему навстречу желтым роем
Понеслись огни в просторе мгlistом...

Так пытался убежать из своей деревни герой «Привычного дела» Иван Африканович, так уезжал и Рубцов... Ни в коей мере не пытаюсь я сблизить героя повести В. Белова и великого русского поэта, но по своей кровной сути оба они — сыновья своей земли, отрываясь от которой уже перестают быть собою.

Николай Рубцов прозревает и постигает свою судьбу, «узнает» ее: в этом стихотворении все называется прямо, с пугающей отчетливостью...

Вместе с ним и я в просторе мгlistом
Уж не смею мыслить о покое, —
Мчусь куда-то с лязганьем и свистом,
Мчусь куда-то с грохотом и воем...

Это дьявольское наваждение движения — «Подхватил меня, понес меня, как леший!» — было уже известно Рубцову:

Железный путь зовет меня гудками,
И я бегу...

Но раньше были силы, чтобы прервать его, чтобы остановиться:

Но мне не по себе,
Когда она за дымными веками
Избой в снегах, лугами, ветряками
Мелькнет порой, покорная судьбе...

Теперь же в «Поезде» не осталось и этого. Какая-то зловещесть чудится в бравурном финале:

...Быстрое движенье
Все смелее в мире год от году,
И какое может быть крушенье,
Если столько в поезде народу?

Как мы знаем, поездно-многолюдье не спасло поэта от крушения. Мотив дьявольского наваждения-движения повторится у Рубцова и в его стихотворении о собственной смерти:

А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый,
Разобьется с треском

и в потемки
Уплывут ужасные обломки.

Николай Рубцов так и умер, как раз в «крещенские морозы», умер, словно бы задохнувшись от бессмысленной, опустошающей душу скорости поезда, на котором — неведомо куда — мчимся мы все...

Но это будет еще не скоро. В 1965 году у Николая Рубцова еще оставалось целых пять лет жизни.

Прежде чем приступить к рассказу о последнем пятилетии жизни Рубцова, надо понять, почему именно 1964 год стал переломным в его жизни.

Этот год останется в истории страны не только кремлевским переворотом, положившим конец кукурузным авантюрам строителя коммунизма, но и тем, что именно в этом году наконец-то восторжествовали, прорвались наружу процессы, подспудно вызревавшие в умах нашей «образованщины». Закамуфлированное под ниспровергателей, наше советское мещанство сбросило маску шестидесятничества, похерило клятвы юности и, толкаясь, устремилось к кормушкам. Там теперь, помимо привычного, установленного еще троцкистами и ленинскими ассортимента — спецпайков, спецраспределителей, казенных дач, появились еще и загранкомандировки. В считанные месяцы — нечто подобное мы наблюдали совсем недавно, когда вчерашние идеологи застоя превратились вдруг в «демократов», захватывающих правдами и неправдами власть, — недавние шестидесятники образовали прослойку угодливо-сытых людей, которые лакейски поддакивали всем идеологическим идиотизмам, а сами торопливо и жадно разворовывали страну, и ради сохранения своих синекур вовлекали страну в авантюры минводхозов, чернобылей, кампаний неперспективных деревень.

Этот феномен еще не нашел должного отражения в нашей литературе, должно быть, потому, что и перестройка развивается в основном в интересах все той же образованщины, отдельные представители которой сумели хорошо подзаработать на всех катаклизмах, обрушившихся — не без ее помощи! — на нашу бедную Родину.

Разумеется, в середине шестидесятых механизм тотального воровства и вранья еще только начинал раскручиваться, но уже тогда Система начала сбрасывать с себя все, что мешало ей. И в первую очередь она стремилась освободиться от порядочности и честности. Тогда сразу смешались границы конфронтующих лагерей. Роковая черта, проведенная шестьдесят четвертым годом, прошла не по национальным, не по мировоззренческим расхождениям, а по нравственным. Случайно ли, что по одну сторону оказались такие разные люди, как А. Сахаров и И. Шафаревич, а по другую брежневые, сусловы, беляевы...

Еще раньше и еще резче эта граница разделила поэтов. И опять-таки прежде всего по нравственному признаку. Все настоящее, честное, искреннее отвергалось Системой. Зато все, что служило ее интересам, — возвеличивалось и поднималось. И в этом смысле очень показательны судьбы четырех совершенно несхожих между собой поэтов — Евгения Евтушенко, Иосифа Бродского, Андрея Вознесенского, Николая Рубцова.

Все четверо — почти погодки. Старше — Вознесенский и Евтушенко. Они оба с 1933 года. Рубцов на три года моложе их. Еще на три года моложе — Бродский. Он родился в тридцать девятом. Все четверо пришли в поэзию примерно в одно время, после смерти Сталина, когда сдвинулись маховики истории, вовлекая в свое движение бесконечные миллионы людей и целые страны.

Возраст для сравнения, которое мы собираемся провести, существен. И. В. Сталин сказал: «Нам надо воспитывать новое, бодрое (разрядка наша. — *Н. К.*) поколение, способное к преодолению любых трудностей». По этой программе, по этому сталинскому чертежу и строилось воспитание поколения, родившегося в тридцатые годы. Б о д р о с т ь в них закладывали долго и всерьез. И вместе с тем как раз это поколение, хлебнувшее и бедствий войны, и сталинской бодрости, было первым из поколений, которое не успело запятнать себя грязью и кровью сталинского правления. Важно, что к тому моменту, когда, скрежеща и рассыпая ржавчину куплетов:

— Берия! Берия!
Вышел из доверия!
А товарищ Маленков
Надавал ему пинков! —

сдвинулись наконец шестерни истории, все четверо не были отягощены прошлыми ошибками и бодро, как и все их сверстники, приняли произошедшие перемены. Ну а дальше? А дальше, как и положено, судьбы начали складываться у каждого по-своему.

В 1959 году, когда после армии Рубцов приехал в Ленинград, ему было двадцать три, за плечами — семь классов деревенской школы и неоконченный техникум, годы скитаний и службы на флоте. Еще было очень сильное желание выразить в стихах то, что мучило, терзало его. Правда, как это выразить? — представлялось смутно, неясно...

Иосифу Бродскому было тогда двадцать. Образованием он формально не превосходил Рубцова — тоже только школа-семилетка. Но путь Бродского, похоже, уже определился. К 1960 году он уже нашел себя, хотя известность его и не выходила за границы весьма узкого круга почитателей.

Зато эстрадная слава Евтушенко и Вознесенского гремела повсюду. Отметим, что своей «образованностью» и Евтушенко, и Вознесенский значительно превосходили ленинградцев Бродского и Рубцова. Евтушенко вместе с Вознесенским уверенно завоевывал аудиторию, становился выразителем «шестидесятнического» мировоззрения.

Разница в образовании, в уже приобретенной известности существенна. Но еще более существенна та подмена поэзии эстрадной публицистикой, которая тогда происходила на глазах у всех. Явление это объяснимо только последствиями бодрого воспитания шестидесятников, представления о подлинной поэзии которых были настолько смутны, что они в основной своей массе и не замечали подмены. Уместно здесь будет напомнить, что и демобилизовавшийся с флота Рубцов тоже поддался соблазну эстрады и под крики: «Давай, парень! Шпарь!» — поначалу пробовал силы в создании звуковых эффектов и даже достиг в этом определенного успеха.

Бродского же эстрада, кажется, не тянула совсем. И не случайно, что он, быть может, первым из всей четверки начал ощущать дискомфорт времени перемен, внутреннюю лживость психологии шестидесятничества. В 1961 году, в самый разгар бабьего лета советской власти — вспомните триумф первого полета в космос — он писал:

Это трудное время. Мы должны пережить,
перегнать эти годы,
с каждым новым страданьем забывая былые невзгоды
и встречая как новость эти раны и боль поминутно,
беспокойно вступая в туманное новое утро...

Утро и в самом деле было туманным, а время трудным, хотя и не закончилась еще пресловутая оттепель. Но поэт словно бы прозревал будущее. Ощущение близкой трагедии пронизывает и «Стансы городу», написанные в июне 1962 года:

Все умолкнет вокруг.
Только черный буксир закричит
Посредине реки,
Иступленно борясь с темнотою,
И летящая ночь
Эту бедную жизнь обручит
С красотой твоей
И с посмертной моей правотою.

Интересно сопоставить это стихотворение с «Осенней песней» Николая Рубцова, написанной в те же годы и только недавно напечатанной целиком, без купюр:

Потонула во тьме
Отдаленная пристань.
По канаве помчался —
Эх — осенний поток!
По дороге неслись
Сумасшедшие листья,
И порой раздавался
Пароходный свисток.

Стихи, разумеется, разные. Различны по манере, по образной структуре. Единит их лишь выбор пейзажа — ночь на судоходной реке — да еще общее ощущение подступающей катастрофы. Но вот если вспомнить написанное в эти же годы стихотворение А. Вознесенского «Ночь»:

Сколько звезд!
Как микробов

в воздухе... —

то стихи Бродского и Рубцова могут показаться написанными одним человеком. Разница их с Вознесенским в том, что Рубцов и Бродский видят все-таки одно мироздание, а Вознесенский — совсем другое.

Кроме номера телефона — Ж-2-65-39 — Иосифа Бродского в записной книжке Николая Рубцова, к сожалению, мы не располагаем достаточно достоверными свидетельствами о взаимоотношениях между этими поэтами. Скорее всего, никаких особых отношений не было, но это тем более интересно. Те поразительные параллели, которые обнаруживаются в их судьбе и творчестве, лишней раз свидетельствуют, что система победившего шестидесятиничества отвергала, сбрасывала все более или менее настоящее, подлинное.

Случайно ли, что в стихотворении И. Бродского: «Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам...» и Н. Рубцова: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», написанных в одно время, есть почти цитатные совпадения?

Ясно, что оба стихотворения писались в предчувствии тех перемен, что уже отчетливо осознавались многими; в стремлении понять, определить для себя духовные ценности, не зависящие от соответствия их литературной и общественной ситуации. Стихи писались как попытка увидеть сквозь время и свою судьбу, и судьбу народа.

И конечно, это прозрение не могло быть рациональным, логическим. У Иосифа Бродского прозрение рождается в сгущении мистических сумерек полудогадки:

Между низких ветвей лошадиный сверкнет изумруд,
кто стоит на коленях в темноте у бобровых запруд,
кто глядит на себя, отраженного в черной воде,
тот вернулся к себе, кто скакал по холмам в темноте...

А Николай Рубцов, наоборот, словно бы пытается вызвать из глубины памяти все самое светлое, чтобы рассеять надвигающийся мрак, но ни веселые картины деревенского гулянья, ни звуки гармошки не способны рассеять ни «мглу под обрывом», ни горечь озарения:

Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти дойду до могилы...—

и, главное, предошущение своей собственной судьбы:

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.

Эти ощущения не были характерными для поэзии шестидесятых, когда, по выражению А. Вознесенского:

Как багровые светофоры,
Наши лица неслись во мрак.

Хотя и в самовлюбленно-оптимистической поэзии Вознесенского тоже порою прорывалось подсознательное ощущение действительности как некоего сатанинского действия. Не случайно ведь в его книге «Антимиры», включившей стихи начала шестидесятых, ангелы — эти обитатели надзвездных сфер — прочно вписываются в мирок образованщины, хозяев застойных десятилетий.

«Он повис... С искаженным и светлым ликом, как у ангелов и певиц» (1963). Или: «Как ангелы или лакеи, стоят за креслами, глаза» (1962). Ангелы и певицы, ангелы и лакеи... Низведение обитателей высших сфер до положения прислуги, или, как принято стало выражаться, обслуживающего персонала, совершается Вознесенским, быть может, и неосознанно, но закономерно. Этого и нужно было ожидать от человека, просившего Чудотворную икону Божией Матери Владимирской грохнуть-ся в ноги его ветреной подружке, чтобы та наконец-то отдалась ему.

На этом фоне самовлюбленных ужимок и хорошо оплачиваемого оптимизма и совершалось прозрение подлинных поэтов. И конечно, за него приходилось платить. Это ведь только Евгений Евтушенко, «сквозь Россию мчась на «Москвиче» с любимой, тихо спящей на плече», спеша на курорт, мог попросить у Пушкина: «...пленительную участь — как бы шая, глаголом жечь». А у Некрасова: «неизящности силу» да «подвиг мучительный твой, чтоб идти, волоча всю Россию...». Ну и заодно уж и у Блока — «два кренящихся крыла», у Пастернака — «смущенье веток», у Есенина — нежность «к березкам и лугам, к зверью и людям»...

И дело не только в неразборчивости Евтушенко, не в том, что он выпрашивает все подряд. Просто настоящий поэт ничего и ни у кого просить не будет. Ни у Пушкина, ни у Маяковского, ни у власть имущих. Поэтому-то и платить ему за все приходится самому.

И не случайно, что именно в тот год, когда Евтушенко, кренясь в своем воображении на блоковские крылья, катил «по России вместе с Галей, куда-то к морю в «Москвиче» спеша от всех печалей...», Николай Рубцов, выгнанный из Литинститута, отправился в свою нищую вологодскую деревню, а Иосиф Бродский в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был выселен из Ленинграда в специально отведенные места с обязательным привлечением к труду на пять лет. В марте 1964 года он отправился по этапу вместе с уголов-

никами в деревню Норинское Коношского района Архангельской области.

У Бродского своя судьба, а у Рубцова — своя. Незачем насильственно сближать их, но все же поражает, как удивительно совпадает рисунок этих судеб. Одни и те же даты, похожие кары, сходные ощущения. Даже география и то почти совпадает.

Правда, в 1971 году Рубцов не уехал никуда. Его просто убили. Но с точки зрения Системы, стремящейся избавиться от любого неугодного ей образа мысли, это различие было несущественным...

Объективности ради следует сказать, что вскоре после 1964 года были неприятности и у Евгения Евтушенко. Хотя он и признавался, что:

Мне в Братской ГЭС мерцающе раскрылся,
Россия, материнский образ твой, —

Ленинскую премию за поэму, воспевавшую очередную экологическую катастрофу, ему так и не дали. Это, конечно, несправедливо. Тогда за такую поэму премию должны были дать.

Впрочем, как мы знаем, Евгений Евтушенко мужественно перенес несправедливость. «За что мне заплачено, то я и ору», — признавался он в «Монолог автомата-проигрывателя», а у нас в стране, слава Богу, был впереди еще и БАМ, который тоже ведь надо было кому-то воспевать. Нашел свою тему и Андрей Вознесенский. Помимо шедевра «чайки — плавки бога», он создал еще прозаическое, но удивительно чувственное описание ночи, которую ему посчастливилось провести на кровати Пикассо.

Говорю я об этом не ради иронии. Все четверо названных поэтов начинали писать стихи, чувствуя живое движение истории. И потом, когда ток ее замедлился, ушел в песок одинаково похожих друг на друга съездов КПСС, когда подлинная история — афганская война, уничтожение неперспективных деревень — становилась все невнятной, заглушаемая грохотом БАМов и ГЭСов, им пришлось выбирать, в какой истории жить. В подлинной или в выдуманной — в истории съездов и загранкомандировок, великих строек и спецпайков, славословий и казенных дач, тонн, кубов, центнеров и собраний сочинений... И каждый из поэтов сам выбрал себе свою историю. Ни Бродский, ни Рубцов не могли прижиться в истории придуманной полутруппами из Политбюро, а Вознесен

ский и Евтушенко чувствовали себя там вполне комфортно. Ну что ж... Каждый выбирал сам, и каждому, по видимому, и предстоит навсегда остаться в той истории, которую он для себя выбрал...

Сопоставляя судьбы четырех поэтов, я не преследовал задачи возвысить или принизить их значение. Задолго до меня это сделала история. Та, подлинная история, в которой жил Рубцов, уже произнесла приговор, и бессмысленно вносить в него коррективы... Но поэт интересен не только своим творчеством, поучителен и его жизненный путь. И сейчас, когда смещаются все казавшиеся еще несколько лет назад незыблемыми точки отсчета, опыт жизни людей, которые и среди компромиссов и соглашательства сумели отыскать свой Путь, которые и в гуле оаций и анекдотов расслышали Глагол своего предназначения и, презрев житейские выгоды, повиновались ему, особенно актуален для нас...

Хотя и принято представлять Судьбу слепую, но она равно справедлива ко всем. Да, у одних жизнь складывается благополучно, у других нет. Но это житейская несправедливость. Нищета и гонения зачастую дают такие всплески гениальности, которые возносят униженные и оскорбленные души на те вершины, достичь которых, быть может, они никогда бы не смогли в самой благополучной и сверхкомфортабельной жизни. Разумеется, говоря о «компенсации», предоставленной Судьбой за житейские неурядицы, нельзя сводить вопрос к бухгалтерским подсчетам, хотя, и не вдаваясь в мистику, можно найти объяснение этому парадоксу. Ведь постепенное приобретение житейских благ, борьба за достаточно комфортные условия жизни — процесс трудоемкий, требующий затраты как раз тех духовных сил человека, которые могли бы пригодиться на иные, более высокие цели.

Было бы много проще говорить о Рубцове, если бы он вообще не испытывал тяготения к житейскому благополучию. Или, как любят говорить в кругах нашей образованщины, такие, как Рубцов, потому и не продавались, что их никто не покупал... Разумеется, это не верно. Не верно, что Рубцов вообще не тянулся к благополучию. Не верно и то, что все пути, ведущие к благополучию,

были закрыты для него. Об одном из таких путей мы уже говорили, пытаюсь понять, почему Рубцов не зацепился в Москве, когда его исключили из института. Но были и другие пути. Подходя к тридцатилетнему рубежу, Рубцов уже овладел тем багажом знаний, которые необходимы профессиональному литератору, и, право же, мог бы заниматься благополучной журналистикой или недурно оплачиваемым трудом переводчика. И не нужно идеализировать Рубцова, не нужно делать вид, будто он заранее исключал для себя эти пути. Нет, «врагом» себе Рубцов не был, и, конечно же, он пытался адаптироваться, вписаться в литературную ситуацию тех лет, пытался как-то устроиться в жизни, «ублагополучить» себя. Более того, он даже получал командировки от журналов, что-то пытался писать... Пробовал Рубцов заниматься и переводами.

Здесь, по-видимому, требуется пояснение. Переводили в русской литературе всегда. Были переводчики талантливые, были и просто халтурщики... Но все они — переводили, пытались в меру своих сил и возможностей донести до русского читателя то лучшее, что было накоплено в мировой литературе. Их зачастую подвижническая работа не имела ничего общего с тем откровенным деланием денег, в которое превратился перевод в шестидесятые годы.

Именно тогда обычным делом сделался «перевод» без знания языка, с подстрочника. Вероятно, это непотребство не получило бы такого массового распространения, если бы сусловско-московское понимание интернационализма не превратило занятие переводом с языков народов СССР в отличную кормушку. Многие поэты-профессионалы, не желающие, подобно Евтушенко, воспевать поезда, что идут по БАМу «мимо щеки» умирающего бригадира, занялись переводами. В лучших традициях нашей образованщины халтуру в переводе почему-то все сразу согласились как бы и не считать халтурой.

Хочу сразу оговориться, что добросовестные переводчики работали и в эти годы, но — увы! — они ничего не способны были изменить в захлестывающем прилавки магазинов мутном потоке непонятно на кого рассчитанной литературы. Ведь изменился сам характер переводческой работы. Теперь переводились не только шедевры иноязычной лирики, а и рядовые тексты, которые не способны были обогатить другой народ, пройдя и через самые добросовестные руки.

Будущим исследователям еще предстоит оценить тот титанический вклад, что внесен московско-ленинградской переводческой мафией в рост межнациональной напряженности, — ведь это благодаря ее стараниям в массовом русскоязычном читателе укрепилась устойчивая аллергия к большинству книг, на обложке которых стоит нерусское имя. Думается, что для создания стойкого иммунитета к любому нерусскоязычному культурному явлению (речь идет о народах СССР) переводческая мафия сделала несколько не меньше, чем вся командно-административная система Брежнева — Сулова...

Вот к этому легиону литераторов и пытался прикнуть Рубцов. Во всяком случае сохранились его довольно посредственные переводы довольно посредственных стихов Хазби. Но опять-таки, хотя и были опубликованы эти переводы, не хватило Рубцову разворотливости, хватки, необходимой для занятия переводами гораздо больше, чем знание языков. Не сумел Рубцов отнестись к переводу с тем профессиональным цинизмом и равнодушием, которое требовалось... И тут не сумел он, как и в занятиях журналистикой, переступить через себя...

23

Между тем положение Рубцова, хотя 15 января 1965 года он и восстановился все-таки на заочном отделении института, хотя и вышла у него в Архангельске первая книжка, при расчете за которую безжалостно обсчитали его, не улучшилось. Хуже того — возникла новая забота. Срочно нужно было где-то прописываться.

9 июня 1965 года, подписывая с издательством «Советский писатель» договор на свою книгу «Звезда полей», Рубцов дал адрес литинститутского общежития на улице Добролюбова. Других адресов у него тогда просто не было. В общежитии жили друзья, здесь можно было переночевать, прокантоваться и месяц, и другой, но без прописки жить в нашей стране не было разрешено никому. Тем более опасно было жить без прописки такому человеку, как Рубцов. Он самим своим видом, кажется, привлекал внимание стражей порядка.

Однажды Рубцова задержали с чемоданом на Ярославском вокзале в Москве.

- Что в чемоданчике?
- Кукла...
- Кукла?!

Рубцов открыл чемодан, показывая купленную для дочери куклу, и эта кукла и спасла его от дальнейшей проверки. Милиционер не стал требовать паспорт, не стал проверять прописку. На этот раз Рубцову повезло. Но рассчитывать на подобное везение и в дальнейшем — не стоило.

В Государственном архиве Вологодской области среди бумаг Рубцова хранится справка со штампом и круглой печатью Никольского сельсовета, назначение которой не сразу и отгадаешь. Она датирована 5 августа 1965 года: «Дана Рубцову Николаю Михайловичу в том, что он действительно проживал в селе Никольском Никольского с/совета Тотемского района Вологодской области с октября 1964 года по август 1965 года.

Что и заверяет Никольский сельсовет».

Справка аккуратно подклеена на картонке. Зачем? Не сразу иобразишь, что в шестьдесят пятом году эта бумажка была главным документом Николая Рубцова...

Здесь, видимо, необходимо сделать кое-какие разъяснения. В последний раз Рубцова прописали в Москве осенью 1963 года. Временная прописка для студентов давалась на год, и ее срок у Рубцова истек в октябре 1964 года. Поначалу он надеялся, восстановившись в институте, вернуться на дневное отделение. Тем более что ректором его стал не А. А. Мигунов, так старательно выгонявший Рубцова, а новый человек — небезызвестный многим поколениям студентов Литинститута тов. В. Ф. Пименов.

В начале апреля 1965 года Рубцов, заехав в Вологду, возвращается в Москву. Восьмым апреля зарегистрировано в канцелярии института письмо секретаря Вологодского отделения СП РСФСР А. Романова, ходатайствующего о восстановлении Рубцова на дневном отделении.

Вероятно, Рубцова все равно бы не восстановили на дневном отделении. Владимира Федоровича Пименова, начавшего свою карьеру и сумевшего возвыситься до высоких должностей еще в довоенные годы, можно обвинить во многом, но уж в «сочувствии» к талантливым студентам, в желании помочь им преодолеть свое бедственное положение, я думаю, не упрекнет никто.

И тем не менее несчастливая судьба Рубцова значительно облегчила Владимиру Федоровичу его задачу. Как раз в те дни, когда Николай затеял переход на дневное отделение, случилось то, что так печально отразилось на его жизни...

«Начальнику 19-го отд. милиции
г. Москвы от гражданки Акименко Е. И.
прожив. ул. Фонвизина дом 6 кв 63

ЗАЯВЛЕНИЕ

1945 посодила (здесь и далее сохранены стиль и орфография автора. — *Ред.*) пассажира 17 проезд Марьиной Рощи. По дороге пассажир стал вести себя не тактично, меня оскорблять и говорит что я депутат Верховного Совета и что хочу то и делаю и меня не имеет права забирать ни одна милиция окромя Ц.И.К.А.

Я обратилас к постовому инспектору у 10-го проезда Марьиной Рощи, он сказал вези в 19 о/м. Куда я был доставлен.

17.IV—65 г.

Акименко».

«АКТ № 1442

составлен 17 апреля 1965 г. в 20.00 помощником дежурного по о/м Якуниным.

Рубцов Николай Михайлович...

При личном обыске обнаружено и взято на хранение до вытрезвления следующее: студенческий билет, серый шарф, военный билет, паспорт, денег три рубля, два ключа, брючный ремень...

Доставленный одет: светлый плащ, серый пиджак, темно-зеленые брюки, без головного убора...

Личность нарушителя установлена по паспорту XV-ПА № 576384 от 3/X 1959 г.».

«Директору Литературного института им. А. М. Горького 17/IV—1965 г.

19 о/мил г. Москвы был задержан студент-заочник Литературного института Рубцов Николай Михайлович.

Будучи в нетрезвом состоянии и проезжая в такси ММТ-11-94 — водитель Акименко, Рубцов вел себя недостойно, наносил оскорбления водителю, отказался уплатить 64 копейки за проезд.

В дежурной части отд. милиции вел себя также недостойно и только после настойчивых требований дежурного уплатил по счетчику за пользование такси 64 копейки. В о/милиции Рубцов находился до полного вытрезвления с 20.00 ч. 17/IV—65 г. до 7.30 18 / IV—65 г.

Считаю, что подобное недостойное поведение Рубцова позорит высокое звание советского студента Литературного института и заслуживает строгого обсуждения, тем более что РУБЦОВ не имеет постоянного места жительства.

Начальник 19-го отделения милиции города Москвы *Куковкин».*

Поскольку, как мы увидим дальше, Рубцов сам очень подробно прокомментировал эти документы, сейчас обратим внимание только на даты. С восьмого апреля,

когда было подано Рубцовым заявление с ходатайством Вологодского отделения СП РСФСР, никакого рассмотрения заявления не происходило. Ночевать Рубцову было негде — в общежитие его не пускали. Деньги тоже кончились. Зато когда прибыли бумаги из милиции — они зарегистрированы институтской канцелярией 22 апреля 1965 года, — тотчас же, словно только этих бумаг и ждали, институтское начальство немедленно начинает сочинять ответ в Вологодскую писательскую организацию.

«СПРАВКА

Студент 3 курса т. Рубцов Н. М. обучается заочно. В текущем учебном году (напомним, что Рубцова восстановили на заочном отделении только 15 января 1965 г. — *Н. К.*) он не сдал ни одной контрольной работы. Учитывая перезачеты, мы считаем, что за ним числится академическая задолженность — четыре контрольные работы.

Как студент-заочник он только числится, но не учится.

Вологодское отделение СП РСФСР ходатайствует о восстановлении Рубцова на IV курсе очного отделения (см. письмо). Думаю, что это преждевременно.

Тов. Рубцов плохо учится и недостойно себя ведет (см. письмо из милиции).

Рубцов — творчески активен.

Но за академическую неуспеваемость и недостойное поведение он заслуживает серьезного взыскания и предупреждения.

24.IV.65 г.

П. Таран».

Справка, составленная деканом заочного обучения П. Тараном по поручению ректората, требовала, конечно, времени для подготовки ее, и очевидно, что запросили ее на следующий день после получения бумаг из милиции. Всего два дня потребовалось и тов. В. Ф. Пименову, чтобы написать ответ на ходатайство Вологодской писательской организации. И по форме, и по содержанию ответ этот более смахивает на донос.

«Уважаемый товарищ Романов!

Студент Рубцов Н. М. в июне 1964 года был отчислен из института за систематическое появление в нетрезвом виде и за недостойное поведение.

Учитывая признанис им своей вины, обещание исправиться и ходатайство его творческого руководителя поэта Н. Н. Сидоренко, он был в январе 1965 года восстановлен в число студентов-заочников.

Мы надеялись, что тов. Рубцов учтет свои ошибки и исправится.

Однако Рубцов после восстановления в институте не приступил к занятиям и в апреле снова за недостойное поведение был задержан милицией и доставлен в вытрезвитель.

Все это не дает основания перевести т. Рубцова на очное отделение.

В связи с указанным возникает вопрос о возможности дальнейшего обучения Рубцова и на заочном отделении.

Ректор Литературного института

В. Пименов».

Казалось бы, зачем нужно поднимать этот архивный хлам, какое это имеет отношение к Рубцову, к его поэзии? Мне кажется, что имеет, и самое прямое. Ибо эта безжалостная, равнодушная, канцелярская стихия, где легко обезличивались человеческие поступки, где невинное в общем-то требование принести бутылку вина настойчиво переименовывалось в «недостойное поведение», и становилась на пути Рубцова к элементарной устроенности, эту силу и не мог перебороть он.

Еще интересны эти документы и тем, что в них раскрывается характер их авторов. Вот тот же В. Ф. Пименов. Он отправил письмо А. Романову 26 апреля и, значит, написал его 25 апреля, сразу, как только получил справку от П. Тарана. Но, хотя и малый срок был отпущен для составления письма, это не помешало ему всесторонне раскрыться в любимом жанре. Владимир Федорович потому и выдвинулся в первые же годы брежневского правления, а потом спокойно и счастливо прожил на должности ректора все долгие годы застоя, что очень уж подходил для этого времени. Нет-нет, он и в сталинские годы не сидел в лагере, не бедствовал и в годы хрущевской «оттепели», но все-таки полностью раскрыл свой талант именно в годы застоя.

Вот и из письма А. Романову видно, как замечательно умел Владимир Федорович превратить свой отказ как бы даже и в благодеяние, каким заботливым и чутким мог прикинуться. Читаешь Владимира Федоровича: «Мы надеялись, что тов. Рубцов учтет свои ошибки и исправится...» — и прямо слезы на глаза наворачиваются. Вот ведь каков студент подлец, ему поверили, а он опять обманул, даже и «не приступил к занятиям», а к тому же «снова за недостойное поведение был задержан милицией»... И как мастерски построена последняя фраза письма: «В связи с указанным возникает вопрос о возможности дальнейшего обучения Рубцова и на заочном отделении». Воистину, умри, а лучше не скажешь. Вы, дескать, хлопчете о переводе Рубцова на дневное, так вот, нате

же! — его и с заочного-то нетрудно выгнать. То есть почему нетрудно? Его там нельзя держать! И если держат, то только по причине необъяснимого добродушия самого Пименова. Ну а как тонко сообщается А. Романову «компромат» на Рубцова? Причем просто так, без особой цели, просто на случай, если по своей собственной глупости и недомыслию надумают, например, принять этого Рубцова в Союз писателей. Знайте, товарищи, Владимир Федорович вам раскроет глаза, какой это человек Рубцов...

Я не случайно акцентировал внимание читателей на датах документов. 8 апреля — Рубцов просит восстановить его на дневном отделении. 22 апреля в институт приходят бумаги из девятнадцатого отделения милиции. 26 апреля В. Ф. Пименов отправляет ответ на ходатайство А. Романова. То есть двадцать шестого апреля решение уже было принято. Тем не менее сам Рубцов и 27 апреля не знает об исходе его дела. То есть он, конечно, справлялся у Пименова, но тот по свойственной ему доброте и мягкосердечию не сказал, что решение уже принято, а предложил написать заявление и объяснить, что же произошло семнадцатого апреля... Рубцов написал.

«Ректору Литературного института им. Горького тов. Пименову В. Ф. от студента-заочника 3 к. Рубцова Н. Уважаемый Владимир Федорович!

Я пишу Вам в связи с ходатайством Вологодского отделения Союза писателей, а также в связи с письмом в институт от начальника отделения милиции.

В первую очередь — о письме из милиции. Если говорить подробно, все произошло так:

Однажды вечером я приехал в общежитие института. На вахте меня не пропустили. Они имели на это право, но мне, как говорится, от этого не было легче. Я решил поехать на ночлег к товарищу и с этой целью подошел к такси. Водительница такси потребовала деньги за проезд заплатить вперед. Я отдал ей три рубля, так как более мелких денег у меня не оказалось (еще при себе у меня осталось столько же, т. е. 3 р. Это имеет значение). И мы поехали. Когда, выходя из машины, я попросил сдачу, водительница отказалась вернуть ее. Она с нескрываемым нахальством стала утверждать, что никаких денег у меня не брала. Тут стоит помянуть Есенина: такую лапу не видал я сроду! А если помянуть Гоголя, это черт знает что такое! И тогда я нарушил свое правило последнего времени: не гневаться и тем более не разжигать в себе гнев.

Я потребовал продолжить поездку до ближайшего милиционера. Я это сделал с целью «проучить» ее. Теперь я понимаю, что поступил тогда удивительно глупо. В деревне, наверно, поглупел. Ни в коем случае нельзя было рассчитывать, что она покается в милиции, а нельзя забывать, что ее отвратительный поступок с моей стороны недоказуем. В милиции меня и слушать не стали, так как в общем-то их интересует не столько истина, сколько официально-внешняя сторона дела. Мне велели заплатить этой женщине 64 коп. по счетчику. Я сделал это, чтобы избежать осложнений. Потом меня увели куда-то спать. Слава богу, хоть за это я им благодарен! В отделении милиции я вел себя достойно, вернее, покорно. Только этой женщине резко сказал: «Как вам не стыдно!» Начальник отделения, очевидно, эти слова и имеет в виду, когда привычно формулирует: вел себя недостойно...»

Здесь, видимо, нужно прервать повествование Рубцова и попытаться понять, что же он имеет в виду, когда говорит, что «поглупел... в деревне». В стихах, написанных зимой шестьдесят четвертого — шестьдесят пятого годов, никакого «поглупения» не чувствуется. Видимо, «поглупением» Рубцов называет отвычку от жизни большого многомиллионного города, где такие понятия, как стыд и совесть, оказываются необязательными в общении людей вне круга домашних и сослуживцев, где отсутствие стыда и совести несколько не мешает этим людям выглядеть внешне вполне добропорядочно. Разумеется, это не значит, что в сельской местности не встретишь лжецов и негодяев, но в деревне все люди на виду, каждый знает друг друга и это сдерживает людей...

Рубцов с иронией замечает, что его правило в последнее время «не гневаться и тем более не разжигать в себе гнев», но, очевидно, что он искренне, хотя и не слишком успешно, пытался следовать этому правилу. На своей шкуре узнав, что значит московское жлобство, он изо всех сил пытается не подставиться сейчас, когда решается вопрос об устройстве его дальнейшей жизни.

Он пытается устроиться с ночлегом в общежитие, но туда его не пускают. «Они имели на это право, но мне... от этого не было легче». И все же Рубцов не вспылал, подчинился и решил отправиться к товарищу в Марьину Рошу. От общежития Литинститута туда, хотя это и недалеко, маршрутным транспортом не добраться. К счастью, на остановке стоит такси. Правда, женщина, сидящая за рулем, просит заплатить вперед. Рубцов отдал ей трешку. Тем не менее за те несколько минут, пока она

везла пассажира, с этой трешкой она сроднилась и даже, наверное, прикинула, как ею распорядиться. И потребовала еще... Только одного не сообразила, что у Рубцова на всю дальнейшую жизнь оставалось всего две трешки и отдать все свои деньги за такси было для него невысказано. Невысказано было и примириться с таким наглым обманом.

Ну а дальше — уже настоящий фарс. Рубцов начинает пугать водителя такси, выдавая себя за депутата Верховного Совета. Кстати, судя по воспоминаниям, Рубцов пытался выдавать себя в состоянии опьянения и за майора КГБ. Ну, конечно, пузырящиеся на коленях темно-зеленые брюки, светлый, заношенный плащ, выдавший виды шарфик — сразу видно депутата Верховного Совета. Ни за что не отличишь... И может быть, потому-то и решила неведомая нам Акименко везти подвыпившего пассажира в милицию, что сразу раскусила его, поняла, что не только какого-то там депутатского удостоверения у него нет, но и самой обычной прописки, самого обыкновенного жилья. Как мы уже говорили, работники сферы обслуживания сразу вычисляли Рубцова и срывали на нем все накопившиеся обиды.

Наверное, и Рубцов сообразил, что не надо бы ввязываться в эту историю, но было уже поздно, ловушка, которую он сам построил, захлопнулась. И сразу наступила апатия. Все планы рухнули...

И может быть, в милиции иначе бы отнеслись к заверениям Рубцова, если бы была у того прописка в паспорте. Но не было такой прописки у Рубцова, а это сразу делало его в глазах дежурных милиционеров подозрительным. Не случайно ведь начальник девятнадцатого отделения подчеркнул слова: «Считаю, что подобное недостойное поведение Рубцова... заслуживает строгого осуждения, тем более что Рубцов не имеет постоянного места жительства».

Но вернемся к заявлению Рубцова... Как-то неуклюже оправдывается он, доказывая, что не мог не заплатить эти несчастные 64 копейки, имея, как подтверждено в акте, три рубля. И эта неуклюжесть объяснения и доказывает его правоту. Когда человек лжет, он всегда придумывает более или менее правдоподобную версию, и ложь звучит достаточно складно.

Далее же, закончив с объяснениями, Рубцов возвращается к главному вопросу — к просьбе восстановить его на

дневном отделении. И как тут снова не поразиться необыкновенной духовной организации Владимира Федоровича Пименова, сумевшего, читая это заявление, не дрогнуть, не поколебаться в уже принятом решении. Воистину — удивительный человек!

«С тех пор как меня перевели на заочное отделение... — писал Николай Рубцов, — меня преследует неустроенность в работе, учебе и в быту. Конечно, что есть проще того, чтобы устроиться на работу где-либо, прописаться и в этих нормальных условиях заниматься заочной учебой? Но дело в том, что мне, как всякому студенту нашего института, необходимы еще творческие условия. Эти условия я всегда нахожу в одном деревенском местечке далеко в Вологодской области. Так, например, прошлое лето я написал там больше пятидесяти лирических стихотворений, многие из которых сейчас приняты к публикации в Москве и других городах. Когда я ушел на заочное, я сразу же опять отправился туда, в классическое русское селенье, — и с творческой стороны опять все у меня было хорошо. Но зато в документах возник беспорядок: у меня нет в паспорте штампа о работе, так как я сотрудничаю в тамошней газете нештатным (штатных мест не было), у меня нет прописки в паспорте, так как в той местности временным жителям выдают только справки о том, что они с такого-то по такое время проживали именно там. У меня тоже есть такая справка, но для Москвы она, эта справка, — филькина грамота. Именно из-за этого беспорядка в документах меня оставили тогда ночевать в милиции и написали оттуда такое резкое письмо в институт, т. е. помимо сути акта о нарушении в их руках оказалась еще эта суть. Бесполезно было там все это объяснять...

В заключение хочу сказать, что я ничего не прошу, не прошу даже о восстановлении... Просто, как Ваш студент, я посчитал своим долгом объяснить то неприятное происшествие, которое в конечном счете явилось результатом моего, так сказать, заочного образа жизни...

27. 4. 65 г.

Николай Рубцов».

Сейчас можно только гадать: из осторожности ли, столь свойственной ему, или из-за какого-то административного садизма потребовал Владимир Федорович Пименов с Рубцова это заявление... Кому жаловался Рубцов на сзой «заочный образ жизни», если Владимир Федорович считал, что Рубцов так и должен жить? Но что-то

в столь свойственной для него манере он, конечно, Рубцову пообещал. Может быть, им руководили самые гуманные побуждения. Рубцову очень не давался на майской сессии 1965 года исторический материализм. Написанная им контрольная работа «Роль коммунистической идеологии в формировании нового человека» 6 мая не была зачтена преподавателем. Наверное, работа была очень плохая, но Рубцова можно было понять. Только четырнадцатого мая, да и то «с очень большой натяжкой», была зачтена работа Рубцова «Классы и классовая борьба».

Так что, быть может, самыми добрыми намерениями — добрый человек был Пименов — руководствовался Владимир Федорович, туманно обещая что-то Рубцову. И разве Пименов виноват, что Рубцов поверил в эти обещания? Нет, конечно. Это даже как-то нетактично со стороны Рубцова было напоминать Владимиру Федоровичу третьего сентября 1965 года новым заявлением: «Прошу восстановить меня на очном отделении» — о его обещании. Впрочем, Пименов не обиделся на невоспитанного студента. «Из-за отсутствия мест отказано» — начертано на рубцовском заявлении...

Осенью 1965 года в письме А. Романову, ответственному секретарю Вологодской писательской организации, Рубцов пытается объяснить ситуацию, в которой он оказался: «Мне тут, в этой глуши, страшно туго: работы для меня нет, местные власти начинают подозрительно смотреть на мое длительное пребывание здесь. Так что я не всегда могу держаться здесь гордо, как горный орел на горной вершине...»

Разумеется, Рубцов ничего не пишет про то, что в Николе его уже зачислили в тунеядцы, но и так — крик о помощи слышится в этом письме. А. Романов не услышал его. Может быть, вспомнил о сведениях, сообщенных ему Пименовым?..

Так или иначе, положение складывалось настолько безвыходное, что Рубцов пытается даже разыскать сестру Галину, чтобы прописаться хотя бы у нее в Череповце. В конце года он обращается с запросом в горотдел милиции Череповца:

«Уважасмые товарищи!

Очень прошу вас сообщить мне адрес Рубцовой Галины Михайловны, г. р. 1929, которая сейчас проживает в г. Череповце. И еще очень

прошу сообщить мне об этом не задерживаясь, так как мне это совершенно сейчас необходимо.

Она моя сестра.

С уважением — *Рубцов Николай*

Мой адрес: г. Вологда, ул. Ленина, 17, Союз писателей».

На обороте этого письма штамп Череповецкого горотдела милиции: «Рубцова Галина Михайловна, Московский пр., д. 44, кв. 62» и дата — 17 декабря 1965 года.

Но и с пропиской в Череповце ничего не получилось.

И снова мысли Рубцова возвращаются к институту.

«З А Я В Л Е Н И Е

Прошу восстановить меня на дневном отделении института.

Я перевелся по личному заявлению с дневного на заочное отделение сроком на один год летом 1964 г., так как хотел побыть ближе к обстановке современной деревни: это было необходимо для написания книги.

За это время я опубликовал книгу стихов о деревне «Лирика» (г. Архангельск 1965 г.) и подготовил книжку «Звезда полей», которая уже одобрена издательством «Советский писатель». А также опубликовал циклы стихов в журналах «Молодая гвардия», «Октябрь», «Юность» и др.

Но поскольку по месту жительства (с. Никольское Вологодской обл.) я испытываю большие затруднения в подготовке к занятиям и в повышении своего культурного уровня (ближайшая районная библиотека расположена за 100 км от деревни), я хотел бы завершить свое образование на дневном отделении.

Прошу в просьбе не отказать.

18/III—66 г.

Н. Рубцов»

Но заявление это Рубцов так и не отправил. Протертое на сгибах, оно хранится не в литинститутском деле поэта, а в Государственном архиве Вологодской области, в рубцовском фонде.

Проследить все скитания тридцатилетнего Рубцова не представляется возможным. Во многих воспоминаниях о нем можно найти сетования на замкнутость Рубцова, на

то, что он мог, например, выйти из комнаты и, никому не сказав ни слова, уехать на вокзал и отправиться в Вологду, в деревню. Проходит день, другой... Замечают, что Рубцова нет. Где же он? Никто не знает...

Но что должен был говорить Рубцов, если он и сам не знал, куда ему ехать, если во всей огромной стране не находилось для него места? Он и ехал куда придется — к товарищам, к полужнакомым людям. Отношения с семьей в Никольском к этому времени — увы — окончательно разладились.

Л. С. Тугарина вспоминает, что мать Генриэтты Михайловны — Александра Александровна, работавшая уборщицей в сельсовете (через нее Рубцов, очевидно, и добывал свои справки), окончательно разругалась с ним.

Рубцов приезжал в Николу, а она встречала его вопросом:

— Чего ты, Колька, опять приехал?

Генриэтта Михайловна, конечно, радовалась, когда приезжал Рубцов, топила ему с дороги баню, но ей и самой жилось не легко.

«Плохо, плохо они с Гетой его держали... — рассказывала Л. С. Тугарина. — Пойдем с ним, бывало, на целый день на болото за клюквой, а он только хлеб ест да водичкой запивает. Я скажу: возьми хоть молока, попей... Молока? Молока, говорит, можно. А клюкву он чисто брал — ни одной соринки. Ее по семьдесят копеек тогда принимали».

Об этом же вспоминает и Нина Геннадьевна Курочкина: «Когда летом ходили с ним на болото, Рубцов мне показывал все сенокосы, где они с детдомовскими ребятами работали. За Левакиной показал на место бывшего хутора и сказал: «Вот бы здесь построить домик в три окна. За домом — березы, а под окном — смородина, рябина, черемуха. Пиши сколько душе угодно, никто не помешает...»

Глупо было бы осуждать Генриэтту Михайловну или ее мать Александру Александровну за их отношение к Рубцову. И помощи от него для семьи не было, и характер был, мягко говоря, нелегкий. Рубцов понимал это, но понимал по-своему:

«Я проклинаяю этот божий уголок за то, что нигде здесь не подработаешь, но проклинаяю молча, чтоб не слышали здешние люди и ничего обо мне своими мозгами не думали. Откуда им знать, что после нескольких

(любых, удачных и неудачных) написанных мной стихов мне необходима разрядка — выпить и побалагурить».

Иначе, но об этом же писал он и в стихотворении «Полночное пенье»:

Когда за окном потемнело,
Он тихо потребовал спички
И лампу зажег неумело,
Ругая жену по привычке.
И вновь колдовал над стаканом,
Над водкой своей, с нетерпеньем...
И долго потом не смолкало
Его одинокое пенье.
За стенкой с ребенком возились,
И плач раздавался и ругань,
Но мысли его уносились
Из этого скорбного круга...

Трудно тут удержаться и не процитировать воспоминания о Рубцове: «Тот, кто встречался с ним, не забудет, как Рубцов пел свои песни. Пел их для себя в минуты свободы, тоски и полной раскрепощенности. Но, чтобы раскрепоститься, Рубцов должен был обязательно выпить, как он говорил, «вина». Вот тогда-то он брал в руки обшарпанную гармошку или гитару, склонял голову с прядью редких волос, зачесанных на лоб, и, рванув меха, начинал не петь, а плакать, равномерно раскачиваясь...»

И долго без всякого дела,
Как будто бы слушая пенье,
Жена терпеливо сидела
Его молчаливою тенью.
И только когда за оградой
Лишь сторож фонариком светит,
Она говорила: — Не надо!
Не надо! Ведь слышат соседи! —
Он грозно вставал,

как громила.

— Я пью,— говорил,— ну и что же? —
Жена от него отходила,
Воскликнув: — О господи боже!.. —
Меж тем как она раздевалась
И он перед сном раздевался,
Слезами она заливалась,

Разумеется, щедушный Рубцов только самому себе в алкогольном опьянении мог показаться «громиллой», и, описывая себя, он не случайно употребил это слово. В стихах Рубцов все понимал, все мог выразить... Совсем другое дело — в жизни. Здесь он часто и не хотел ничего понимать. Финальные строки «Полночного пенья» — случайно ли? — почти цитатно перекликаются с «Соловьями», описывающими разрыв с Таей Смирновой.

Можно только догадываться, как пугала близких Рубцова его способность сознавать свою неправоту, мучиться ею и тем не менее утверждать в жизни... И дело тут не в какой-то угрюмости, озлобленности Рубцова, а просто в неумении соразмерять свои слова и поступки с окружающим бытом. Основу этому, как мы уже говорили, заложил в Рубцове детдом, а вся остальная скитальческая жизнь еще сильнее развила это свойство.

В десятках вариантов слышал я историю, как в общезитии Литинститута, вырвавшись из какой-то надоевшей ему компании, Рубцов снял все портреты классиков и затасил к себе в комнату. Наутро он объяснил разгневанному коменданту, что ему просто хотелось провести какое-то время в компании приличных людей. Случай анекдотичный, но для Рубцова очень характерный. Сидеть и разговаривать с портретами для Рубцова в каком-то смысле было проще, чем говорить с живыми окружающими его людьми. Ему действительно могло показаться, что портреты понимают его лучше.

В середине шестидесятых в Рубцове происходит перелом.

После ряда безуспешных попыток хоть как-то ублаготворить себя в жизни — все его мольбы, заявления, просьбы оказались безрезультатными — Рубцов словно бы и забывает о том, что ему нужно устраиваться, и уже не предпринимает ничего, окончательно свыкнувшись с мыслью, что только в своих стихах и может он существовать. И, перебирая сейчас адреса, по которым жил Рубцов в середине шестидесятых, понимаешь, что все они неверные, и по-настоящему Рубцов жил не в общезитии на Добролюбова, не в Николе, не на квартирах вологодских и московских приятелей, а только в своей поэзии. Там и было его жилье, его горница...

Обманчива простота и ясность рубцовских стихов.

Если вдумываться в них, отыскивая будничны́й смысл, то окажется, что придумать что-либо более нелепое просто невозможно:

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.

Сразу, уже в этих первых строках, несообразность. Как может быть светло от ночной звезды? Ну ладно, лунный свет, но звездный... Разве способен он осветить углы комнаты, табуретку, стол, тарелку на столе? А дальше?

Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Ну зачем, скажите, идти матери ночью за водой, какая надобность? И при чем тут «красные цветы», которые «в садике завяли все»? При чем «лодка на речной мели», которая «скоро догниет совсем»?

Поиск будничного смысла начисто разрушает волшебство стихотворения, превращает его в грудку нелепых обломков...

Но еще более нелепо предположить, что эти прекраснейшие стихи написаны по рецепту эстрадной песни, где только звучание голоса и создает реальность, где только мелодия, ритм и могут связать бессмысленные слова... Конечно, нет, конечно, не так написано стихотворение «В горнице».

Рассчитывая на чуткого читателя, Рубцов не дает своему стихотворению подзаголовка — «сон», вычеркивает строфы, являющиеся ключом к такому его прочтению, а прямо с первых же строк разворачивает картины, увиденные им во сне:

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.

И все упорядочивается, все встает на свое место. Разумеется, светло! Звездный свет не высветит ни чугу́н с картошкой, ни табуретку — для быта его не хватает! — зато его вполне достаточно для памяти, для того, чтобы увидеть в ее сумерках самое главное, то, что, кажется, навсегда было позабыто. Звезды вообще дают у Рубцова

больше нужного света, чем луна или солнце. Того света, который необходим для прозрения: «Виднее над полем при звездном салюте, на чем поднималась великая Русь».

И сейчас, в свете ночной звезды, тоже виднее. Видно давно умершую, но никогда не умиравшую в памяти Рубцова мать. И ее поступки, ее действия:

Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...—

алогичны только для дневного, «забытовленного» сознания, не замечающего, что «в любой воде таится страх...». Здесь же, в сновидении, они полностью оправданы, ведь:

Красные цветы мои
В садике завяли все.

Те красные цветы, которые в поэтическом мире Рубцова неразрывно связаны с матерью, с ее смертью... Об этом, как мы уже говорили, Рубцов писал и в своей прозе, и в стихотворении «Аленький цветок». Красный цветок нес шестилетний Рубцов за гробом матери. Чтобы полить этот увядший в памяти цветок, и приносит матушка воды. И тогда сразу оживает забытое в дневной сутолоке: «Лодка на речной мели скоро догнет совсем». Та лодка, на которой предстоит плыть «на тот берег», когда завершится жизненный путь.

Появление матери стряхивает дремоту с души, вселяет в нее силу, необходимую для свершения тех главных дел, о которых днем недосуг было подумать:

Завтра у меня...
Будет хлопотливый день!
Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

Опять-таки и здесь ночная звезда является не просто как знак конца дневного времени суток, не только для «закольцовки» стихотворения, а как некая мера духовного, эталон, по которому дневные, будничные мысли выверяются с вечными...

Разумеется, никто не читает рубцовские стихи, детально расшифровывая их смысл. Это и не нужно. Глубинный смысл передается за счет высокого духовного напряжения прямо в душу читателя. Перед нами художественное

в высшем его проявлении, и оно не нуждается ни в дополнительном толковании, ни в расшифровке. Поэт точно и во всей глубине передал свое душевное состояние, в простых и как бы безыскусных словах сумел закрепить свет, замерцавший в его душе. И свет этот стал принадлежать всем.

Если сравнить стихотворение «В горнице» с тем, что писал Рубцов о матери, когда служил на флоте:

Еду, еду в отпуск в Подмосковьё
И в родном селении опять
Скоро, переполненный любовью,
Обниму взволнованную мать... —

ясно можно увидеть тот путь, который прошел он за это десятилетие. Разница, разумеется, не только в так называемом поэтическом мастерстве, не в том, что во флотских стихах содержание нередко диктуется условиями рифмовки (если с «любовью» лучше рифмуется «Подмосковьё», то именно туда, в еще неизвестную Рубцову местность, и отправляется герой), а прежде всего в методе преодоления границы, разделяющей живых и мертвых. В «Горнице» встреча с умершей матерью становится реальностью в том особом состоянии души, которого достигает поэт. Уместно тут будет вспомнить, что первая редакция этого стихотворения (она была опубликована В. Белковым в журнале «Волга») существенно отличалась от канонического варианта. Первоначально стихотворение было названо «В звездную почву».

В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды.

— Матушка, который час?
Что же ты уходишь прочь?
Помнишь ли, в который раз
Светит нам земная ночь?

Красные цветы мои
В садике завяли все,
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.

Сколько же в моей дали
Радостей пропало, бед?
Словно бы при мне прошли
Тысячи безвестных лет.

Словно бы я слышу звон
Вымерших пасхальных сел...
Сон, сон, сон
Тихо затуманит все.

Сравнивая эту редакцию с окончательным текстом, видишь, чего добивался Рубцов. Безжалостно исключая в общем-то замечательные строфы, он уходил от описания погружения в то состояние души, которое воссоздано в «Горнице», к самому этому состоянию...

Лирическая стихия Рубцова — это особая стихия, которая хотя и персонифицируется порою в поэте, даже и в этот момент одновременно живет по другим, недоступным для живого человека законам, ибо наделена несвойственными человеку способностями. Эта стихия живет самостоятельно, и вместе с нею, вернее, посредством нее, и получает поэт возможность «заглядывать» в запредельные миры, получая ту информацию, — вспомните: «Я умру в крещенские морозы...», — которая недоступна обыкновенному человеку.

И наверное, поэтому, читая стихи Рубцова, порою трудно отделаться от ощущения, что они звучат не из прошлого, а откуда-то из будущего, что еще ждет нас...

Замерзают мои георгины.
И последние ночи близки.
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки...

Посреди этого кладбищенского, словно бы рождающегося из сновидения пейзажа и начинает звучать голос Рубцова, голос его посвящения другу:

Нет, меня не порадует — что ты! —
Одинокая странствий звезда.
Пролетели мои самолеты,
Просвистели мои поезда,

Прогудели мои пароходы,
Проскрипели телеги мои, —
Я пришел к тебе в дни непогоды,
Так изволь хоть водой напои!

Разумеется, звучащий из нашего с вами будущего Голос не возможно ни накормить, ни напоить, если забыть при этом, что вода бывает еще и живою... Правда, и волшебная живая вода — а что в этом полусне-полусказке не волшебное? — не способна ничего изменить в судьбе и потому-то:

Не порвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя,
В пугачевские вольные степи,
Где гуляла душа бунтаря.

Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали...

И уже откуда-то издалека, из еще не наступившего времени — затихающий голос:

Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!

Как робкая надежда звучит для нас, для нашей Родины сейчас это пожелание. Для нас, захлестнутых зловещей бедой... Это сейчас... А Голос-то звучит из будущего...

31

Лето 1966 года Рубцов встретил в общежитии Литературного института. Ехать ему было некуда...

«Пошли однажды компанией, человек семь, в столовую пить пиво... — вспоминает Борис Шишаев. — Сидели долго. Николай неожиданно сказал: «Надо мне куда-нибудь поехать. Туда, где никто меня не знает...» Слова эти выражали усталость».

Нигде больше за всю свою жизнь не встречал Рубцов такой отзывчивости, как в общежитии на Добролюбова. Вот и сейчас — едва успел сказать, — как тут же начали ему предлагать адреса, куда можно было поехать. И уже вечером Рубцов «ходил по комнате и с веселым, не соответствующим теме видом твердил экспромт»:

Наше дело — верное,
Наши карты — козыри,
Наша смерть, наверное, —
На Телецком озере.

Таким — веселым, но со страшными словами о смерти и запомнился Рубцов товарищам накануне поездки на Алтай.

В этом неожиданном поступке была своя логика. До смерти надоело прятаться от коменданта, ночевать на чужих кроватях. Хотя «надоело» — неудачное слово. Правильнее заменить его — усталостью. Усталость, смертельная усталость охватывала порою перевалившего на четвертый десяток Рубцова, та усталость, когда человеку в тягость становится и сама жизнь. И вовсе не удивительно, не странно сочетание «веселой улыбки» и страшного содержания экспромта. С мыслями о смерти Рубцов, кажется, уже и не расставался, а веселье тоже объяснимо. Оно оттого, что удалось так хорошо придумать — уехать, забиться в даль, где тебя никто не знает, исчезнуть, чтобы... чтобы... Едва ли Рубцов думал в ту минуту о смерти всерьез, но, поскольку эта мысль всегда жила в нем, она получала неожиданное и какое-то романтически-красивое развитие. Вот и улыбался Рубцов, повторяя эти строки.

Удивительнее другое. Удивительнее то, что Рубцов пережил в Сибири.

Он взял в журнале «Октябрь» командировку и поехал в Сибирь, словно бы притихнув, как и всякий впервые едущий туда человек, перед самой огромностью этого слова.

Сибирь он представлял себе смутно... «Пишу тебе из Сибири. Ермак, Кучум... Помнишь? Тайга, Павлик Морозов...» — напишет он 28 июня А. Романову.

Но Сибирь встретила Рубцова совсем не угрюмо, совсем не сурово, а не по-сибирски весело. И не пустынной оказалась она, а переполненной людьми. По-ярмарочному тесно и весело в стихотворении Николая Рубцова «Весна на берегу Бии»:

Трактора, волокуша с навозом,
Жеребята с проезжим обозом,
Гуси, лошади, пар золотой,
Яркий шар восходящего солнца,
Куры, свиньи, коровы, грачи,
Горький пьяница с новым червонцем

У прилавка

и куст под оконцем —

Все купается, тонет, смеется,

Пробираясь в воде и грязи!

И такая животворящая сила исходила от этого весеннего столпотворения людей и домашней живности, солнца и воды; такая сила вливалась в поэта от этой еще не до конца разоренной земли, что забывались мрачные мысли, вытесненные ощущением сказочного, былинного могущества, когда «услышат глухие», «прозреют слепые», когда захлестывает человека рвущаяся изнутри радость жизни:

Говорю я и девушке милой:

— Не гляди на меня так уныло!

Мрак, метелица — все это было

И прошло — улыбнись же скорей.

Этот радостный оптимизм, в общем-то, совершенно не свойствен Рубцову. И объяснить его можно только удивительным состоянием самого поэта, пережитым в Сибири. Даже в письмах к друзьям прорывается столь нехарактерная для эпистолярного наследия поэта радость жизни:

«Цветы здешние мне понравились. Вино плохое. Поэтому, наверное, я его так редко здесь пью. Предпочитаю чай».

Несомненно, что именно в Сибири Рубцов сумел преодолеть назревавший в нем кризис, увидел другой, возможный для себя вариант жизни. Об этом его стихотворение «В сибирской деревне»:

То желтый куст,

То лодка кверху днищем,

То колесо тележное

В грязи...

Меж лопухов —

Его, наверно, ищут —

Сидит малыш,

Щенок скулит вблизи.

Мастерски, как бы небрежными мазками рисует поэт картины окружающей его жизни, а на самом деле, как и положено у Рубцова, каждая деталь пейзажа несет тот внутренний, почти не осознаваемый смысл, который и определяет логику стиха. Лодка, которой по законам

рубцовской поэзии положено догнывать на речной мели, перевернута кверху днищем, готова к ремонту, а может, уже и к будущему плаванию. И не так страшно валяющееся в грязи колесо от разбитой телеги. Все равно дальше уже не ехать, а плыть... плыть... И малыш сидит среди лопухов. На мгновение, словно легкий вздох, еще слышен голос неторопливого пейзажиста: «Его, наверно, ищут...» — и все, пейзаж исчезает, вернее, автор-пейзажист уже исчез в ребенке. И хотя намеченное действие еще продолжается: «Скулит щенок и все ползет к ребенку...», — оно не нужно и напрасно, игра закончена. Взрослый мир Рубцова стремительно заполняет строфу своей смертной печалью:

А тот забыл,
Наверное, о нем —
К ромашке тянет
Слабую ручонку
И говорит...
Бог ведает, о чем!..

Про ромашки у Рубцова написано не мало, и всегда ромашки у Рубцова «будто бы не те».

Понятно, что с реальным пейзажем распахивающееся перед нами мироздание сходно точно так же, как берег моря с крохотной песчинкой на нем. Само необратимое время спадает с открывающихся бездн высоты и уже не властно в распахнувшемся пространстве:

Но крепче сон,
Когда в ночи глухой
Со всех сторон
Шумят вершины сосен,
Когда привычно
Слышатся в лесу
Осин тоскливых
Стоны и молитвы...

Слово, обращенное к Богу — не забудем, что у Рубцова оно произносится младенческими устами, — и достигшее Его, уже само несет в себе искомый Ответ об инем, возможном в пространстве, где нет времени, Пути.

Отец, тот предатель отец, которого еще при жизни убивал Рубцов в своих стихах, сейчас, четыре года спустя после реальной смерти, возникает из смешанных с глухой тишиной стонов и молитв, возникает пусть и в обобщенном, но подлинном своем облике:

Задавая этот вопрос в письме к приятелям, Рубцов подразумевал, что таких лет теперь у него будет много, очень много... Между тем и всяких-то лет оставалось у Рубцова впереди, не считая лета шестьдесят шестого года, всего четыре...

«Лысеющая голова, высокий лоб, маленькие, с прищуром, глубокие темные глаза — очень умные, проницательные до пронзительности».

«Он был в берете, в демисезонном пальто с поднятым воротником, который защищал от знобящего ветра почти всю шею, небрежно замотанную шарфом».

«Цену себе как поэту он знал, и во всем его облике и поведении нет-нет да проскальзывало то смирение, что «паче гордыни».

Таким был Рубцов осенью 1967 года, когда вышла его книга «Звезда полей», когда он почувствовал, что становится знаменитым. И хотя в родной Вологде выход «Звезды полей» был ознаменован тем, что Рубцова на всякий случай — смотрите воспоминания Вл. Степанова — наголо постригли в милиции, налаживались и вологодские дела Рубцова. Летом шестьдесят седьмого года он участвовал в устроенной обкомом партии агитпоездке по Волго-Балту. От этого путешествия у Рубцова остались стихи:

В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, разбрызгивая воду,—
Скажите мне, кто был тогда не рад?
Смеясь, ходили мы по пароходу...

Да еще знакомства с местными партийными боссами — писателей, участвовавших в поездке, он знал и так. Напомним, что Рубцов все еще не имел ни своего угла, ни постоянной прописки, и новые знакомства были чрезвычайно важны для него.

И еще... Очень важен для дальнейшего повествования характер известности Николая Рубцова. Почти весь тираж «Звезды полей» был заслан в Вологодский книготорг, где ее, естественно, раскупали медленно. В районных газетах тогда появились рекламные заметки: «Книга поступила в нашу область и направлена в магазины книготорга и потребкооперации. Читатели, живущие

в глубине района, вдали от книжных магазинов, могут выписать это издание по адресу: г. Вологда, ул. Мира, 14, «Книга — почтой».

Разумеется, в конечном счете промашки книготорга никак не отразились на судьбе «Звезды полей», но момент для самого Рубцова был неприятный — книга долго лежала на прилавках вологодских магазинов, так же как книги Яшина, Романова, Коротаева и других вологодских поэтов, словно она ничем и не отличалась от них. Да и сам Рубцов постоянно чувствовал, что так и воспринимают его вологодские друзья. Они относились к нему благожелательно, дружески, как к равному — такому же, как и они... Я не хочу сказать, что Рубцова терзали муки честолюбия, но и «возвышение» до положения рядового областного поэта тоже вызывало определенный душевный дискомфорт.

Сохранились воспоминания о литературном вечере, что в сентябре 1967 года проходил в городском Доме культуры. После вечера все участники отправились в малый зал ресторана «Вологда». Когда все уже порядочно выпили, Александр Яшин вдруг повернулся к Рубцову и сказал:

— Коля, твой гост. Давай экспромтом что-нибудь, а?

Рубцов вспыхнул, но сдержался и — он очень любил Яшина — тихо ответил:

— Хорошо, Александр Яковлевич. Попробую.

Как пишет А. Рачков, «волнение с лица постепенно спадало, и оно становилось уверенно-спокойным и даже властным: плотно сжатые губы, жестко очерченные скулы, прищуренные глаза — все выражало упорную мысль. Взгляды были устремлены на Рубцова. И он это не столько видел, сколько чувствовал. И вот словно прояснение озарило его лицо. Оно стало спокойное и сдержанно-ликующее. Пальцы, до этого нервно перебиравшие ножку бокала, замерли, цепко облегли нагретое стекло, а рука вынесла бокал на середину стола и зависла над ним, как указующий перст, вздрагивая в такт чтению:

За Вологду, землю родную,
Я снова стакан подниму!
И снова тебя поцелую,
И снова отправлюсь во тьму,
И вновь будет дождичек литься...
Пусть все это длится и длится!»

Стихи хорошие, и описание, сделанное А. Рачковым,

хотя он, по-видимому, и не очень-то разобрался в состоянии Рубцова, точное. Видно, как перебарывает Рубцов вспыхнувшее от, в общем-то, развязной просьбы раздражение, как пытается успокоиться.

Тост-то, надо сказать, получился никудышный. И если бы внимательнее вслушивались за столом в смысл его, может, и не полез бы Яшин целоваться с Рубцовым. Хорошенький тост, в котором автор заявляет, что, дескать, он отправится во тьму, но все равно — «пусть все это длится и длится...». Неприлично много для застольной шутки трагизма в этом стихотворении. Хотя, быть может, Яшин как раз и понял это, как понял и неловкость своей просьбы, поэтому и обнял Рубцова, уже раскаиваясь за то, что нечаянно обидел его.

Но это был Яшин — человек тонкий да к тому же и искренне любивший Рубцова... Чаще все заканчивалось менее мирно.

«На глазах подтачивались нервы Николая... — пишет в своих воспоминаниях Борис Шишаев. — Говорить с ним об этом было бесполезно — он раздражался. Все чаще пропадал где-то. Иногда с ним в общежитие приезжали какие-то незнакомые люди. Однажды зашел я на шум в одну из комнат. Двое здоровенных парней — не наши, как я сразу определил, — тащили куда-то Рубцова. «Никуда я не пойду, надоели вы мне, сволочи!» — кричал он. «Да что тут торчать, пошли!» — тянул Николая за руку светловолосый, в очках. Они схватили его с двух сторон, но он — я удивился такой силе — с остервенением стал мотать их обоих по комнате».

Или еще, тоже из воспоминаний Бориса Шишаева:

«Приехал как-то Эрнст Сафонов, разыскали мы Николая и пошли в столовую пообедать. Сидели, вспоминали о былом, и вдруг Николай вспылил без всякой причины, заговорил обиженно, грубо.

— Что с тобой, Коля? — сказал Эрнст. — Я не узнаю тебя.

— Все вы меня не узнаете! — крикнул Николай. И добавил тихо: — Я и сам себя не узнаю...»

Конечно, удивляться надо не срываю Рубцова... Сам он мечтал вырваться из этой жизни, даже писал об этом:

И однажды, прижатый к стене
Безобразьем, идущим по следу,
Одиноко я вскрикну во сне
И проснусь, и уйду, и уеду... —

но некуда было уйти, некуда было уехать! Надо удивляться другому — даже если бы и одарила природа Рубцова богатырским здоровьем, разве хватило бы его на такую жизнь? Надо удивляться тому, что и в этих условиях он продолжал работать. Поразительно, но именно в эти годы идет напряженная работа над сборниками «Душа хранит» и «Сосен шум» — последними прижизненными изданиями Рубцова.

Так получилось, что окончание работы над одной книгой и начало работы над другой сошлись для Рубцова в небольшом вологодском городке Липин Бор...

Сергей Чухин, к которому приехал в Липин Бор Рубцов, сидел на заседании в Доме культуры, когда ему передали по рядам записку: «Сережа! Я прилетел. Можешь выйти? Н. Рубцов».

Рубцов сидел на деревянных ступеньках в демисезонном, не по погоде, пальто.

— Извини... — сказал он. — Я без предупреждения. Приехал в аэропорт, билеты есть...

Жить Рубцов устроился в редакции районной газеты. Через несколько дней он объявил редактору Василию Елесину, что потерял рукопись книги, и спросил, не помогут ли в редакции перепечатать рукопись заново.

— Как же машинистка перепечатает, если рукопись потеряна? — удивился Елесин.

— Я ей продиктую.

— А сколько стихотворений было в рукописи?

— Около ста двадцати...

— И ты все помнишь наизусть?!

— Конечно! Ведь это — мои стихи.

Сто двадцать стихотворений — это примерно половина всего творческого наследия Рубцова... Рубцов уже настолько свыкся со скитальческой жизнью, что — и эта привычка сохранится до конца жизни — не нуждался ни в черновиках, ни в текстах, «носил» их в голове.

Здесь, в Липином Бору, днем он диктовал машинистке свои тексты, а по вечерам, затопив редакционную печку, слушал шум ветра в деревьях.

В который раз меня приветил
Уютный древний Липин Бор,

Где только ветер, снежный ветер
Заводит с хвоей вечный спор...

.

Да как же спать, когда из мрака
Мне будто слышен глас веков,
И свет соседнего барака
Еще горит во мгле снегов...

Стихотворение «Сосен шум», давшее название последней прижизненной книге Рубцова, похоже на клятву перед последней дорогой. Не страшит, что и оставшийся путь будет таким же нерадостным, как тот, что уже пройден:

Пусть завтра будет путь морозен,
Пусть буду, может быть, угрюм,
Я не просплю сказанье сосен,
Старинных сосен долгий шум...

Когда книга «Душа хранит» была перепечатана, «Рубцов, — как пишет С. Чухин, — стал собираться в Вологду. Мы проводили его на аэродром».

«Всегда потрясает незащищенность сильного... — вспоминает о встрече с Рубцовым весной 1968 года Валерий Кузнецов. — Сидим на скамейке бесконечной аллеи — сквера по улице Добролюбова. Пьем не торопясь пиво — прямо из бутылок. Рубцов, насупившись, «прячется» в себя. Потом быстро посматривает в мою сторону, продолжает разговор с непривычной ласковостью: «Лена... дочь у меня... Показывал ей ночью звезды... говорил о них. А утром выводит меня за руку на улицу. Смотрит на солнце, на меня — не понимает: «А где же звезды?»

Молчит, улыбается дочери в Николе. И — с печалью:

— По радио стихи как-то передавали... Старая запись — дома-то не был давно. Она слушает и кричит: «Папа, папа! Ты когда приедешь?..»

1968 год для Рубцова оказался богатым на печальные события (умер Александр Яшин) и радостные (Рубцова приняли в Союз писателей. В этом же году — наконец-то — он получил свое первое жилье — комнатенку в рабочем общежитии).

Все-таки не напрасным оказалось знакомство с партийными боссами, завязавшееся еще там, на «последнем пароходе». Не напрасно Рубцов посвящал заведующему сектором печати областного комитета партии В. Т. Невзорову стихи:

Просто рад я случаю такому
Между строк товарищей своих
Человеку, всем нам дорогому,
Как привет оставить

ЭТОТ СТИХ...

«Дорогой» ли человек порадел Рубцову или какой-то другой чиновник — не известно. Однако хлопотать насчет квартиры, судя по воспоминаниям Владимира Степанова, Рубцов принялся еще в начале года:

«Как-то вьюжным днем, уткнувшись подбородком в шарф и ежась в легком, явно не по погоде пальто, Рубцов остановил меня в центре города и спросил:

— Как писать заявление на жилье? Мне говорят: напиши заявление и сходи к одному начальнику, расскажи о себе. Как это делается? Никогда мне не приходилось. Не умею я, не могу...»

Владимир Степанов вспоминает, что в тот раз Рубцов неодобрительно поворчал по поводу начальника, к которому отправляли его, и ушел своей дорогой, но через два месяца, когда снова встретился со Степановым, первым делом заговорил о своих квартирных хлопотах. На этот раз он отзывался о неведомом радетеле с восторгом:

— Оказывается, умный и добрый человек! — говорил он. — И в литературе не профан. Не ожидал. Нельзя судить о людях, не познакомившись с ними.

Ситуация не смешная, скорее грустная... На тридцать втором году жизни человек получает наконец-то собственный угол! Где еще, кроме как у нас, возможно такое? Причем Рубцову еще повезло, и он сам понимал, что ему повезло...

Сохранилось и описание рубцовского новоселья на улице XI Армии, в доме 295.

«Квартирой оказалась комнатка, — пишет А. Рачков. — И была она совершенно пуста, если не считать небольшого чемодана и трех порожних бутылок, стоящих в переднем углу на обрывке газеты... Рубцов сидел на газете, как на пышном ковре, скрестив ноги по-турецки. И настроение его было поистине султанское: радость

за четыре «собственные» стены и постоянный потолок над головой возвышали в собственном мнении».

Забегая вперед, скажем, что с жилплощадью на улице XI Армии Рубцова надули. Жилплощадь эта оказалась общежитием, и вскоре Рубцова начали уплотнять. Об этом в воспоминаниях почему-то ничего не говорится, но зато сохранилось письмо самого Рубцова на имя секретаря Вологодского обкома партии В. И. Другова. Изложив вкратце свою горестную биографию, Рубцов переходил прямо к делу:

«При Вашем благожелательном участии (Вы, конечно, помните встречу с Вами вологодских и других писателей) я получил место в общежитии. Искренне и глубоко благодарен Вам, Василий Иванович, за эту помощь, так как с тех пор я живу в более-менее нормальных бытовых условиях.

Хочу только сообщить следующее:

1. Нас в комнате проживает трое.
2. Мои товарищи по месту жительства — люди другого дела.
3. В комнате, безусловно, бывают родственники и гости.

Есть еще много такого рода пунктов, вследствие которых я до сего времени не имею нормальных условий для работы. Возраст уже не тот, когда можно бродить по морозным улицам и на ходу слагать поэмы и романы. Вследствие тех же «пунктов» я живу отдельно от жены — впрочем, не только вследствие этого: она сама не имеет собственного жилья...»

Письмо это не закончено, и непонятно: то ли Рубцов вообще решил не обращаться к Другову, то ли использовал этот текст как вариант, а отправил какое-то другое письмо... Тем не менее даже и в черновике едва ли стал бы Рубцов придумывать, что в комнате кроме него живут еще двое, если бы жил, как утверждают некоторые биографы Рубцова, один. Отнести это письмо к более раннему периоду жизни Рубцова тоже невозможно. Излагая свою биографию, Рубцов пишет, что он «в настоящее время — студент-заочник последнего курса». А это значит, что письмо писалось не раньше лета 1968 года, когда он уже отпраздновал новоселье на улице XI Армии.

Возможно, Рубцов забраковал этот вариант письма и потому, что слишком сбился в нем на свои личные дела. Слишком — для официального документа, который где-то будут записывать в регистрационные книги, на кото-

ром будут писать резолюции. Во всяком случае обрывается письмо неожиданно и как-то неловко:

«Среди малознакомых людей я привык называть себя «одиноким». Главное, не знаю, когда это кончится, Василий Иванович! Вряд ли я ошибусь, если скажу, что жизнь зовет к действию».

Таким же неожиданным и неловким был и окончательный разрыв Рубцова с Генриэттой Михайловной. Кстати, обман с жилплощадью на улице XI Армии сыграл в этом разрыве далеко не последнюю роль. Летом 1968 года еще ничего не предвещало разрыва.

После похорон Яшина Рубцов приезжал в Николу, где Генриэтта Михайловна, Лена и Александра Александровна уже перебрались жить в сельсовет, поскольку «плоскокрышая избушка» окончательно пришла в негодность.

Скорее всего тогда и состоялся разговор о дальнейших планах Рубцова. По-видимому, Рубцов пообещал забрать семью в Вологду. Сделать это (смотри письмо Другову) не удалось, но объяснить это Генриэтте Михайловне, а главное, ее матери было невозможно. Впрочем, наверняка Рубцов и не объяснял ничего. И вот 6 ноября 1968 года ему пришло извещение:

«В Тотемский райнарсуд обратилась гр. Меньшикова Генриэтта Михайловна о взыскании алиментов на содержание ребенка, поэтому просим Вас выслать справку о Вашем семейном положении и о заработке».

На что рассчитывала Александра Александровна, подговаривая свою дочь подать на Рубцова в суд, — не понятно. Едва ли она питала какие-то иллюзии насчет рубцовских заработков... Решение было скорее импульсивным, чем расчетливым, и возникнуть могло только в атмосфере полной нищеты и безвыходности. Но, хотя Генриэтта Михайловна и не ждала ничего хорошего от суда, слова судьи, объявившего, что будет начислено алиментов — пять рублей в месяц, ошеломили ее. Генриэтта Михайловна прекратила судебное дело и снова попыталась восстановить хотя бы прежние отношения с мужем. Через месяц она отправила Рубцову открытку: «Колья, здравствуй! Поздравляю тебя с Новым годом и днем рождения. Желаю тебе всего наилучшего. Суд прекратила, по какой причине, потом узнаешь. Как у тебя дела? Привет от Лены».

Известно, что на Пасху 1969 года Генриэтта Михайловна приезжала в Вологду.

«Не помню, на второй или на третий день после майских праздников... — пишет в своих воспоминаниях Мария Корякина, — перед обедом приходит к нам Николай Михайлович, постриженный, в голубой шелковой рубашке, смущенно-улыбчивый, руки спрятаны за спину, а сам все улыбается, и загадочно, и радостно. За ним вошла женщина, светловолосая, скромно одетая, чуть смущенная, но полная достоинства. Мы как раз пили чай и пригласили их. Войдя в кухню, Николай торжественно поставил на стол деревянную маленькую кадучечку, разрисованную яркими цветами, — такие часто продают на базаре. В ней — крашеные разноцветные яички. Заметив наше удивление, тут же выпалил радостно: «Сегодня же Пасха! А вы и не знали? Я же говорил, что они не знают, — сказал он, обратившись к своей спутнице. — Христос воскрес! — весело крикнул он. — А можно похристосоваться-то?»

Всем стало весело. Сели за стол. Разделили на части одно расписное яйцо, остальные оставили в кадучечке — очень уж красиво. Николай сообщил, что яички эти привезла Гета, и указал на женщину. Я поблагодарила, поинтересовалась, откуда и когда она приехала. Мне тоже захотелось сделать ей приятное, и я спросила, есть ли у нее дети, чтоб послать им гостинцы. Она потупилась, как-то странно улыбнулась, на Колю взглянула и, тряхнув головой, ответила, что есть — девочка.

Коля перестал есть и, подумав, сказал серьезно:
— У этой женщины живет моя дочь... Лена...»

Примирение не состоялось.

В свою однокомнатную квартиру на улице Александра Яшина, которую ему все-таки дали после стольких мытарств, Рубцов въезжал свободным от каких-либо семейных обязательств человеком.

Кстати, в 1969 году он закончил Литературный институт и получил диплом. Диплом этот пригодился ему. В сентябре Рубцова зачислили в штат «Вологодского комсомольца».

Незаметно дела налаживались, и можно было бы жить более или менее нормально, но уже кончалась сама жизнь...

Писать о последнем годе жизни Николая Рубцова занятие нелегкое и неблагоприятное. Все перепуталось в эти месяцы в его жизни, и он, всегда старавшийся не смешивать литературные, дружеские и семейные дела, сейчас словно бы позабыл о своем правиле. Он мог, ничего не объясняя, привести в гости к Астафьевым свою бывшую жену, а потом, также ничего не объясняя, бросить ее на улице и уйти с Астафьевыми к другим знакомым. Обиды своей новой знакомой, Людмилы Д., он переносил на отношения к друзьям — мнение о ее стихах путал с отношением к самому себе.

Но в хаосе и запутанности последних месяцев тоже прослеживается своя логика.

Так бывает, когда в конце трудного пути, почувствовав близкую передышку, расслабится человек. Тогда и торжествуют над ним темные силы, которые не могли его одолеть, пока этот человек шел.

Последний год жизни Рубцова заполнен романом с Людмилой Д. *

Они познакомились в общежитии Литинститута еще в 1963 году, но тогда с ее стороны особой симпатии к Рубцову не возникло:

«Он неприятно поразил меня своим внешним видом... На голове — пыльный берет, старенькое вытертое пальтишко болталось на нем» **.

Правда, были еще удивительные стихи Рубцова, но это открылось Д. только через четыре года, когда в 1967 году вышла рубцовская «Звезда полей».

Что думала она, на что рассчитывала, на что надеялась, отправившись в Вологду, чтобы «поклониться»

* Воспоминания Людмилы Дербиной опубликованы в газете «Криминальный вестник», в альманахе «Дядя Ваня». Но я привожу их по первоначальному варианту, машинописной копии, переданной Дербиной поэту Глебу Горбовскому.

Я считал и продолжаю считать воспоминания убийцы поэта прежде всего документом. Этот подход и не позволяет мне откорректировать оставленные ею свидетельства в соответствии с тем, как теперь она сама представляет себе смысл совершенного ею преступления. Наша задача — воссоздание объективной картины трагедии.

** Воспоминания Людмилы Д. цитируются отчасти по машинописному тексту, хранящемуся у Глеба Горбовского, отчасти по повести В. Коротаева «Козырная дама».

гениальному поэту? Что вообще в таких случаях может думать женщина, уже перешагнувшая тридцатилетний рубеж, так и не устроившаяся в жизни, но все еще привлекательная, все еще не потерявшая надежду на какое-то лучшее устройство жизни? Наверняка, поднимаясь по лестнице к рубцовской квартире, Д. и сама не знала, чего она хочет, чего ждет... Экзальтация и тщеславие, самопожертвование и какая-то расчетливость переполняли ее, и, конечно же, примиряя женское тщеславие и высокое благородство, было еще и ожидание Чуда...

Она позвонила. Дверь открыл Рубцов. «В старых подшитых валенках, еще более польсевший...» Увидев гостью, он уронил рукопись, и листочки разлетелись по коридору. Как и должно быть в жизни, встреча оказалась не такой, как представляла ее себе Д., — все произошло обыденней и прекрасней.

В своих воспоминаниях Д. очень точно передает мысли и ощущения женщины, задавшейся целью влюбиться в Рубцова, не только в его стихи, но и в него самого...

«Утром я проснулась от гудения множества голосов, в окно каюты било солнце, теплоход вздрагивал, что-то где-то шипело. За окном была какая-то пристань. Уж не Тотьма ли? Было семь часов утра. Я быстро поднялась. Рубцов спал на верхней полке младенческим сном. Я потрясла его за плечо, он проснулся, выглянул в окно и вскочил...

Мы вышли заспанные, неумытые и влились в толпу, которая уже выливалась по трапу на пристань. Утренний холодок охватил нас, я сразу вся продрогла. Мы стали подниматься по тропинке вверх, по берегу Сухоны и остановились на очень возвышенном месте.

— А теперь я умоюсь! — сказал Рубцов и сбежал вниз к воде. Там он долго и с наслаждением плескался, фыркал. Я стояла, смотрела вокруг на солнечные зеленые дали и была благодарна судьбе, что она дала мне этот день и этого человека».

Так и начался этот роман. Осенью 1969 года Д. переехала в Вологду и поселилась с дочерью в деревне Троица, в двух километрах от города, устроилась работать в библиотеку.

«Рубцова встретила в Союзе писателей... Снова темная волна предчувствий захлестнула меня. То, что он так обрадовался встрече со мной, что засыпал меня вопросами, не радовало... Теперь я думаю, что если бы

судьба не схлестнула меня с этим человеком, моя жизнь, как и у большинства людей, прошла бы без катастрофы. Но я, как в воронку, была втянута в водоворот его жизни. Он искал во мне сочувствия и нашел его. Рубцов стал для меня самым дорогим, самым родным и близким человеком. Но... Как странно! Мне казалось, будто я приблизилась к темной бездне, заглянула в нее и, ужаснувшись, оцепенела...»

Конечно, читая воспоминания Д., нельзя забывать, что писались они, когда нужно было объяснить всем — и прежде всего самой себе — необъяснимое. Не поэтому ли и проступают порою в нарисованном портрете Рубцова такие демонические черты? И хотя, вероятно, были нехорошие предчувствия, трагические срывы, но чаще всего многие возвышаемые до жанра трагедии сцены начинались в духе забавной, незамысловатой комедии. Примером тому может служить летняя история, после которой Рубцов оказался в больнице...

9 июня подвыпивший Рубцов пришел к Д., когда та поливала в огороде грядки. Рубцов вызвался помочь и начал отбирать чайник, которым пользовалась Д. вместо лейки.

— Ну до чего же ты вреден!

— Вреден? — переспросил Рубцов и тут же вылил всю воду на Д.

— Иднот! Что тебе надо от меня, в конце концов?! — Д. взбежала на крыльцо и захлопнула дверь перед носом Рубцова.

Тот подергал дверь, но дверь не поддавалась...

Можно осудить грубоватость — как тут не вспомнить про детдомовское детство — шутки Рубцова, можно понять обиду женщины, ее гнев, но также очевидно и то, что эта сцена — милые ссорятся, только тешатся — ни с кем другим не могла закончиться так, как закончилась с Рубцовым. Пытаясь залезть в дом, он разбил окно... Звонком стекла и обрывается летний водевиль, сразу — без всякого перехода — начинается драма. Подбежав к окну, Д. увидела, что Рубцов лежит на клумбе, а из руки фонтаном хлещет кровь — Рубцов перерезал артерию... Д. не растерялась. Сбегала за фельдшером, та наложила на руку Рубцова жгут.

Рубцова удалось спасти. Назначенный срок еще не наступил — Рубцова увезли в больницу. Давясь слезами, Д. собрала с пола осколки.

И сразу после гибели Рубцова, и многие годы спустя, Д. снова и снова задавала себе вопрос, что же можно было сделать, и сама себе отвечала: «До сих пор не знаю. Не знали, наверное, и его товарищи. А может, не хотели знать. Так ведь удобней, спокойней. Встретятся, выпьют, повеселятся, а я отдувайся за всех. Коль он живет со мной, значит, я и ответчица».

В этих рассуждениях Д., как и в документах: протоколах допросов, показаниях на суде, кассационной жалобе, — приобщенных к уголовному делу, много боли и правоты.

Да... Боясь поспорить с Рубцовым, его друзья всегда поспешно исчезали, едва только Рубцов начинал «заводиться», но осуждать их, что дружбу с Рубцовым они берегли сильнее, чем самого поэта, и уходили от него, когда были ему нужнее всего, — бессмысленно. Никто не имеет права требовать от человека, чтобы он жертвовал собою ради другого. Каждый человек это решает сам для себя, и Д. тоже решила на это сама...

«Я хотела сделать его жизнь более-менее человеческой... Хотела упорядочить его быт, внести хоть какой-то уют. Он был поэт, а спал как последний босяк. У него не было ни одной подушки, была одна прожженная простыня, прожженное рваное одеяло. У него не было белья, ел он прямо из кастрюли. Почти всю посуду, которую я привезла, он разбил. Все восхищались его стихами, а как человек он был никому не нужен. Его собратья по перу относились к нему снисходительно, даже с насмешкой, уж не говоря о том, что равнодушно. От этого мне еще более было его жаль. Он мне говорил иногда: «Люда, ты знай, что если между нами будет плохо, они все будут рады».

Все правильно и верно, как верно и то, что крест, самоотверженно взятый Д. на себя, оказался ей не по силам. Может, ей и хотелось облегчить страдания Рубцова — наверняка хотелось! — только вот силенок для этого подвига у нее явно недоставало. Талантом самопожертвования Бог явно обделил ее...

Д., наверное, и сама не понимала, что, «спасая» Рубцова, ей придется преодолевать глухое сопротивление, явное недоброжелательство его друзей и знакомых. Это ведь только в книжках объединяются все, забывая свои самолюбия и амбиции, чтобы помочь товарищу. А в жизни — увы! — так бывает редко...

В жизни Николая Михайловича Рубцова если и объ-

единялись его друзья и близкие, то только, кажется, для того, чтобы сделать жизнь Рубцова еще больше, еще ужаснее.

«После случая девятого июня, — пишет в своих воспоминаниях Людмила Д., — после того как Рубцов выздоровел и выписался из больницы, в Вологодском обкоме КПСС собрались писатели, поэты, чтобы обсудить положение дел и, может быть, как-то помочь Рубцову, попытаться его спасти. Был один выход — лечебно-трудовой профилакторий. В ЛТП нужно было трудиться, соблюдать строгий режим, вольготную домашнюю жизнь сменить на казенное житье... Рубцов взбунтовался, в ЛТП идти не хотел...»

34

Даже если сделать поправку на погрешности человеческой памяти, все равно картина последних месяцев жизни Рубцова рисуется достаточно определенно и ясно. Так, как жил он, жить было невозможно. Никаких сил не хватило бы выдержать эту жизнь. Нет, хотя Рубцов и был болен — начало сдавать сердце, — это была не смертельная болезнь. И пьянство, если не считать того, что ничего хорошего нет в пьянстве, тоже не грозило смертельной опасностью. Все было не так безнадежно и вместе с тем — увы! — гораздо страшнее...

С Рубцовым в конце жизни приключилась, в общем-то, самая обычная беда. Пока он страдал, пока маялся, не имея даже своего угла, пока писал гениальные стихи, сверстники неторопливо делали большие и небольшие карьеры, обзаводились семьями, растили детей... И когда у Рубцова появилась наконец-то своя квартира, когда можно стало хоть что-то строить — ведь совсем не поздно и в тридцать четыре года завести семью! — он словно бы оказался в вакууме. Все его матримониальные заботы друзьями-сверстниками были давным-давно пережиты и никакого ни интереса, ни сочувствия не вызывали у них. Тем более что Рубцов и не разрешал сочувствовать себе. Несмотря на все свои буйства, он был и застенчивым, и каким-то очень гордым при этом. Это в стихах мог написать он:

Поздно ночью откроется дверь.
Невеселая будет минута.

У порога я встану, как зверь,
Захотевший любви и уюта.

Побледнеет и скажет: — Уйди!
Наша дружба теперь позади!
Ничего для тебя я не значу!
Уходи! Не гляди, что я плачу!..

И опять по дороге лесной,
Там, где свадьбы, бывало, летели,
Неприкаянный, мрачный, ночной
Я тревожно уйду по метели...

Это только в стихах мог он закричать, словно от боли:

Я люблю судьбу свою.
Я бегу от помрачений!
Суну морду в полынью
И напыюсь,
Как зверь вечерний!

А в жизни — нет. В жизни Рубцов никогда не позволял себе жаловаться. Даже если приходилось просить займы деньги, он делал это мучительно трудно. Не надо забывать и того, что Рубцов был не только очень умным человеком, но и необыкновенно тонким, остро чувствующим малейшую фальшь в человеческих отношениях. Правда, будучи трезвым, Рубцов редко давал понять, что его коробят те или иные разговоры, он всегда по мере возможности щадил самолюбие своих друзей. Его друзья оказались в этом смысле гораздо менее великодушными. Конечно же, здесь нельзя забывать и о провинциальной тоске, о злой и мелочной, почти бабьей наблюдательности небольшого города — все подмечающего, ничего не пропускающего и долго-долго потом обсасывающего на разные лады скандальную новостишку... Конечно, странный роман немолодого поэта с не очень-то молодой поэтессой, к тому же переполненный пьяными сценами, не мог не вызывать нездорового интереса, а главное — и, наверное, для Рубцова это было самым страшным — не мог не быть смешным. И, конечно же, друзья-писатели, их жены и близкие достаточно тонко подмечали все комедийные моменты, все нелепости... И все пристальнее они следили за развитием отношений между Рубцовым и его новой женой, ибо в их

к р у г таким вот образом входила некая дама, от которой неизвестно чего можно было ждать.

Как мы знаем по накопленному человеческим обществом за десятки веков опыту, изощренность травли, которую проявляют члены к р у г а при появлении среди них незнакомца или незнакомки, способна творить чудеса...

М. Корякина пишет в своих воспоминаниях:

«Возвратить долг Коля пришел не один, а вместе со своей будущей женой. Оба пьяненькие, оба наспех одетые.

— Я пришел вернуть долг! — сказал он, уставившись на меня пронзительным, не очень добрым взглядом.

— Хорошо! — сказала я. — Теперь у тебя все в порядке? На житье-то осталось? А то не к спеху, вернешь потом.

— Нет, сейчас! Вот! — Вытащил из одного кармана скомканные рубли и трешки, порылся в другом, пальто расстегнул: — А можно или нельзя мне войти в этот дом? Чтоб долг отдать... — резко, с расстановкой заговорил он.

— Конечно, Коля! Проходи! — посторонила я.

— А она — талантливая поэтесса! — кивнул он в сторону своей спутницы, оставшейся на лестничной площадке этажом ниже.

— Возможно.

— И она же — моя жена! — Он опустил голову, что-то тяжело посоображал и опять уставился на меня в упор: — Ничего вы не знаете! Я тоже ничего знать не желаю! — Выпятился из прихожей на площадку и с силой закрыл за собой дверь».

Эта сцена не нуждается в комментариях. Очень точно обрисована ситуация, когда человека этак благодушно загоняют в безвыходное положение.

Ну, посудите сами... Рубцов пришел со своей женщиной, но это только ему адресуется: «Конечно, Коля! Проходи!», а его спутницу, оставшуюся на лестничной площадке этажом ниже, не замечают. И даже когда Рубцов настойчиво обращает внимание хозяйки дома на нее — ничего не меняется, вежливо, но очень определенно Рубцову дают понять, что ее в этом доме не желают знать. Конечно, можно возразить, дескать, Рубцов сам виноват. Чтобы не ставить Д. в униженное положение, не нужно было и приходить с нею к Астафьевым. Это безусловно верно, как верно и то, что и во всей своей

горестной жизни Рубцов тоже виноват прежде всего сам. Мог бы благополучно закончить Тотемский лесотехникум, стал бы мастером трелевочных дорог, имел бы приличный заработок, квартиру, семью... Не известно только, стал ли бы тогда великим поэтом, но это ведь обычно в расчет не принимается...

Разумеется, менее всего мне хотелось бы, чтобы возможные упреки в душевной черствости адресовались М. Корякиной. Отношения семьи Астафьевых с Рубцовым были сложными, и я акцентирую внимание на сцене из воспоминаний Корякиной потому, что она оказалась честнее и мужественнее многих рубцовских друзей и не побоялась написать то, о чем все позабыли сразу же после его смерти. Очевидно, что ситуации, подобные описанной М. Корякиной, в разных вариантах повторялись изо дня в день. Положение осложнялось и тем, что Д. — не забывайте, она сама была поэтессой! — обладала достаточно взрывным характером, и особенно-то подделываться, угождать, проглатывать оскорбления не умела, да, наверное, и не хотела...

Неблагодарное занятие — разбираться в семейных дрязгах. Правота и неправота каждого участника семейных передраг взаимозависимы, и, как правило, осознание своей правоты рождается лишь из стремления подчеркнуть неправоту другого, и именно тогда и кончается правота одного, когда начинается неправота другого. Конечно, можно было бы, а в своих воспоминаниях Д. этим и занимается, говорить о тяжелом характере Рубцова, о его ревности, его срывах, но ведь и Д. тоже не была ангелом и особенной кротостью не отличалась. Главное же в другом... Д., как это свойственно многим женщинам, и сама не понимала, что происходит с ней. Ей казалось, что ее неустроенность и его неустроенность, соединившись, сами по себе счастливо исчезнут. И совершенно забывала (или не думала вообще), что неустроенность — не только недостаток тепла, близких людей, а еще и все то лишнее, чем успел обрести в своей неустроенной жизни человек... Наверное, не всегда понимал это и Рубцов.

Он любил Д.

И они ссорились друг с другом и расставались. И снова сходились. В последний раз они поссорились перед Новым 1971 годом...

Д. решила уехать.

«Нужно было зайти к Рубцову за вещами... Он открыл дверь, я увидела его трясущегося, услышала мерзкий запах водки. Кругом была грязь. Свалка на столе. На постели среди смятых грязных простыней, сбитых к самой стене, ком моего белья: сорочки, блузки и даже сарафан». Рубцов был не один. На кухне сидел его приятель радиожурналист. Оказалось, он пришел еще вчера, переночевал у Рубцова и вот уже сутки они пьянствовали. Улучив мгновение, он сказал Д.: «Люсенька, не бросай Колю, люби его, он бредил тобой всю ночь...»

Д. уехала. Рубцов остался один.

35

— Ты береги себя... — сказал Рубцов Борису Шишаеву во время последней встречи осенью 1970 года. — Видишь, какая злая стала жизнь, какие все равнодушные...

В этих словах Рубцова — безмерная усталость, нездешний, как в комьях январской могильной земли, холод...

Уже в который раз — десятки раз проверенный способ! — пытался Рубцов укрыться от вползающего в него смертного холода в своих стихах, но и стихи уже не согревали его:

Окно, светящееся чуть.
И редкий звук с ночного омута.
Вот есть возможность отдохнуть.
Но как пустынна эта комната!

Мне странно, кажется, что я
Среди отжившего, минувшего
Как бы в каюте корабля,
Бог весть когда и затонувшего,

Что не под этим ли окном,
Под запыленной картиною
Меня навек затянет сном,
Как будто илом или тиною...

Как всегда, в стихах Рубцов ничего не преувеличивает. И описание собственного жилища, сделанное им, предельно точно.

«Зашел... в его квартиру, подивился пустоте, неуюту, которые, видимо, за долгие годы бездомности стали привычными для него... У стены напротив окна стоял диван, к нему был придвинут стол, в пустом углу, справа у окна, лежала куча журналов, почему-то малость обгоревших...

— Засиделся вчера долго и заснул незаметно, абажур зашаял, от него и журналы, — равнодушно пояснил Николай, заметив мой взгляд» (В. Оботуров).

Предельно точно воссоздал Рубцов и свое душевное состояние:

За мыслью мысль — какой-то бред,
За тенью тень — воспоминания,
Реальный звук, реальный свет
С трудом доходит до сознания.

И так задумаешься вдруг,
И так всему придашь значение,
Что вместо радости — испуг,
И вместо отдыха мучение.

О чем это стихотворение? С прежней виртуозной легкостью замыкает Рубцов образы далекой юности и нынешние ощущения, но волшебного прорыва, как в прежних стихах, здесь не происходит. Да и какой может быть прорыв, если тонет сейчас не однокомнатная квартирка на пятом этаже, а сама наполненная звездным светом «горница» Рубцова?

Рубцов всегда много писал о смерти, но так, как в последние месяцы жизни, — никогда. Смерть словно бы обретала в его стихах все более конкретные очертания: «Смерть приближалась, приближалась, совсем приблизилась уже...», и отношение к смерти самого Рубцова становилось не то чтобы неестественным, а каким-то заестественным:

С гробом телегу ужасно трясет
В поле меж голых раки.
— Бабушка дедушку в ямку везет, —
Девочке мать говорит...

Уже одна эта строфа достойно могла бы конкурировать с произведениями нарождающегося тогда частушечного черного юмора. Но Рубцов не успокаивается. Наперебой с мамой утешает он девочку, дескать, не надо печалиться:

...послушай дожди
С яростным ветром и тьмой.
Это цветочки еще — подожди! —
То, что сейчас за стеной.
Будет еще не такой у ворот
Ветер, скрипенье и стук...

Чего уж говорить, конечно, будет, когда с треском начнут разламываться гробы, когда поплывут из могилы «ужасные обломки»...

В ожидании Рубцовым смерти страха становилось все меньше и все больше — нетерпеливости, прорывающейся порою и в стихах:

Резким, свистящим своим помелом
Вьюга гнала меня прочь.
Дай под твоим я погреюсь крылом,
Ночь, черная ночь!

36

Последние месяцы жизни Рубцов болел. Это замечали все, но вспоминают его друзья об этом как бы между прочим — ведь не от болезни он умер! — как бы между делом...

«Он носками о дверной косяк околотил валенки, не спеша снял пальто, потом шапку... Пока он раздевался, я отметил худобу тела, хоть свитер и делал его плечистее» (А. Рачков).

«...Смутные за Колю тревоги и переживания делались уже постоянными, может, еще и оттого, что выглядел он часто усталым безмерно, будто очень пожилой и очень больной человек» (М. Корякина).

«Прихожу на улицу Яшина, где жил тогда Рубцов, поднимаюсь на пятый этаж, звоню условленным звонком.

Рубцов болел. На столе были рассыпаны разнокалиберные таблетки.

— Знаешь, сердце прихватывает...

С моим приходом он смахнул в стол какие-то рукописи, принес с кухни вареную картошку в мундире, селедку, початую бутылку вина.

— Хлеб есть, но черствый: я уже два дня из дому не выходил.

Так и просидели мы до вечера.

— Слушай, ночуй у меня, как-то не хочется оставаться одному.

Мы поставили раскладушку и улеглись, не выключая света. Рубцов не спал до полуночи. Не спал и я...»

Как и С. Чухин, многие из друзей отмечают, что в последние месяцы появился в Рубцове и страх — он боялся оставаться один в своей квартире.

«6 декабря 1970 года я получил путевку в санаторий, — вспоминает Н. Шишов. — Зашел к Рубцову попрощаться уже с чемоданом и билетом. Рубцов был чем-то очень расстроен, просил меня остаться, да так и задержал. То же самое повторилось на другой день».

Лучиком в холодной, тоскливой жизни Рубцова мелькнула открытка, пришедшая из Николы. Открытку написала Генриэтта Михайловна, но были там и каракули, нацарапанные рукою дочери. Лена собиралась в гости к отцу на Новый год.

Рубцов убрал квартиру, купил елку, подарки и начал ждать, забыв, как трудно зимой выбираться из Николы.

«Накануне Нового 1971 года, — пишет В. Коротаев, — я приехал в Вологду на зимние каникулы. Рубцов поджидал свою дочку Лену с мамой в гости. Приготовил елку, хотя заранее не стал ее наряжать. Видимо, хотел этот праздник подарить самой девочке.

Но праздника не получилось: дочь не привезли. Новый год я с Николаем Михайловичем встречал врозь. Наутро со своей невестой пришел его проведать. Рубцов был не один. Они всю ночь просидели... со знакомым художником и были угрюмы. Но хозяин встретил нас радушно, достал свежего пива, пытался развеселить. А мы пытались сделать вид, что нам действительно хорошо, и беззаботно болтали; но мешала веселиться ненаряженная елка, сиротливо стоявшая в переднем углу...»

Было это первого января 1971 года, и жить Рубцову оставалось всего восемнадцать дней.

Людмила Д. вернулась в Вологду 5 января 1971 года и сразу с вокзала поехала к Рубцову.

Он был один. Открыл дверь и сразу лег на диван.

Оказалось, что накануне у него был сердечный приступ.

«Я села на диван и, не стесняясь Рубцова, беззвучно заплакала. Он ткнулся лицом мне в колени, обнимая мои ноги, и все его худенькое тело мелко задрожало от сдерживаемых рыданий. Никогда еще не было у нас так, чтобы мы плакали сразу оба. Тут мы плакали, не стесняясь друг друга. Плакали от горя, от невозможности счастья, и наша встреча была похожа на прощанье...»

Потом были долгие, почти бессвязные объяснения, потом примирение. 8 января, в Рождество, Рубцов и Людмила Д. пошли в ЗАГС.

«Мы шли берегом реки по Соборной горке. Был тусклый заснеженный день. На склоне у реки трепетали на ветру мелкие кустики, и кое-где на них неопавшие листья звенели под ветром, как жестяные кладбищенские венки».

Заявление в ЗАГСе не взяли — нужно было свидетельство о расторжении первого брака Людмилы.

Почти всю ночь на девятое Рубцов не спал. Искал вместе с Людмилой Д. свидетельство, потом начал вспоминать своего брата Альберта. Сказал: «Очень хочется увидеть Алика, ну прямо как перед смертью». Д. посоветовала написать в адресный стол, узнать адрес. Рубцов согласился, успокоился. Свидетельство нашли уже под утро и девятого января снова пошли в ЗАГС. Правда, с утра Рубцов ходил в больницу, и в ЗАГС собрались только к вечеру. «Над Софийским собором плыли оранжевые облака с багряным отливом, быстро темнело, начиналась метель...» Регистрацию брака назначили в ЗАГСе на 19 февраля.

«На обратном пути я бежала по тропинке через реку, подхваченная метелью, впереди Рубцова...»

Все это время Рубцов не пил. Лекарства, прописанные врачом, помогли, и сердечные боли прекратились...

Д. выписалась из Подлесского сельсовета, вместе с Рубцовым сходила в ЖКО и подала заявление на прописку, сдала свой паспорт. Забрала трудовую книжку и начала подыскивать место в городской библиотеке.

Рубцов собирался до свадьбы съездить в Москву по делам, связанным с книгой в «Молодой гвардии», а после, уже вдвоем с женой, отправиться в Дубулты — в Дом творчества...

Замирает сердце и перехватывает дыхание, когда читаешь описание этой — предсмертной недели Николая Рубцова. Так часто бывает, когда обреченный на смерть человек, перед самой кончиной своей вдруг освобождается от боли, терзавшей его долгие месяцы, и близким кажется, что произошло чудо и смерть отступила...

Чуда не произошло...

Рубцов всегда жил больно и трудно. Даже и не жил, а, скорее, продирался сквозь глухое равнодушие жизни и порою пытался докричаться до собеседников, но его не слышали, не хотели слышать, и тогда Рубцов снимался с тормозов — вся спрессованная в нем энергия, с такой дивной, пронзительной силой выплескивающаяся в стихах, рвалась наружу, громоздя химеры пьяного бреда. Угадать, во что выльются они, какие очертания примут, за кого — депутата Верховного Совета или майора КГБ — будет выдавать себя Рубцов, оказывалось невозможным. И невозможно было принять меры, чтобы как-то обезопаситься. Окружающим начинало казаться, что они присутствуют при маленьком катаклизме, а наблюдать такое вблизи и неприятно, и не очень-то безопасно...

В понедельник, восемнадцатого января, Николай отправился вместе с Людмилой в жилконтору. Здесь их поджидала неприятность — ее не прописывали к Рубцову, не хватало площади на ребенка. Рубцов, как всегда, вспылил. Он пригрозил, что завтра же отправится к начальнику паспортного стола, будет жаловаться в обком партии.

— Идите... Жалуйтесь... — равнодушно ответили ему, и Рубцов — тоскливо сжалось, заныло сердце! — понял, что опять на его пути к счастью встает незримая стена инструкций и правил, одолеть которую еще никогда в жизни не удавалось ему...

Из жилконторы сразу отправились к машинистке, работавшей в «Вологодском комсомольце», которая перепечатывала рукопись стихов Д. (Рубцов собирался отвезти ее в московское издательство). Всю дорогу Николай Михайлович не мог успокоиться, придумывал все новые и новые кары для бюрократов из жилконторы...

В центре города, на Советской улице, столкнулись со знакомыми. В редакцию «Вологодского комсомольца» Людмиле пришлось идти одной. Когда она вернулась домой, все уже были пьяные, Рубцов начал буйствовать, и компания стала расходиться, избегая скандала.

Д. попыталась уложить Рубцова в постель, но Рубцов вскочил, натянул на себя одежду и сел к столу, где стояло недопитое вино. Он закурил, а горящую спичку шутя кинул в сторону Д. Спичка, разумеется, погасла, не долетев, но Д. — она всегда неадекватно воспринимала поступки Рубцова — представила себе, что горящая спичка упала на нее, и ей стало так обидно, что она чуть не заплакала. Пытаясь убедить ее, что он пошутил, что спичка все равно бы погасла, Рубцов кинул еще одну.

«Я стояла как раз у кровати... Пока он бросал спички, я стояла не шевелясь, молча в упор смотрела на него, хотя внутри у меня все кипело... Потом не выдержала, оттолкнула его и вышла в прихожую».

Когда вернулась, Рубцов, уже допивший вино, швырнул стакан в стену над кроватью. Осколки стекла разлетелись по постели, по полу. Рубцов схватил гармошку, но скоро отшвырнул и ее.словно неразумный ребенок, старающийся обратить на себя внимание и совершающий для этого все новые и новые безобразия, Рубцов ударил об пол свою любимую пластинку Вертинского. Разбил ее...

«Я по-прежнему презрительно молчала. Он накалялся. Я с ненавистью смотрела на него... Напрасно все — жизнь, честь, достоинство, возможность счастья. Я взяла совок и веник, подмела мусор, осколки стекла. Где-то в четвертом часу попыталась уложить его спать. Ничего не получилось... Нервное напряжение достигло своего апогея, и это вместе с чувством обреченности, безысходности. Я подумала — вот сегодня он уедет в Москву, и я покончу с собой. Пусть он раскается, пусть поплачет, почувствует себя виноватым.

И вдруг он, всю ночь глумившийся надо мной, сказал как ни в чем не бывало:

— Люда, давай ложиться спать. Иди ко мне».

Об этом нельзя писать...

Ясно, что Людмила Д. — не Дантес и даже не Мартынов. Она убила Рубцова. Потом прибрала в квартире,

потом надела рубцовские валенки и отправилась в милицию. Во время допроса она то плакала, то смеялась. Ее судили. Она получила срок — восемь лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима. Но еще когда шел процесс, когда выяснялись малейшие детали того вечера, той страшной ночи, она, словно бы стряхнув с себя оцепенение, вдруг ясно поняла, что навсегда теперь будет только убийцей Рубцова, и все последующее наказание показалось ей несущественным по сравнению с этим, главным...

Убийца...

И какая разница, что такой цели — убить Николая Рубцова — у нее не было и не могло быть... Я имею в виду не саму ночь убийства, а всю историю их знакомства.

Когда-то в ждановско-хрущевских учебниках литературы можно было прочитать, к т о двигал рукой Дантеса, к т о стоял за спиной Мартынова. Сейчас мы знаем, что кроме различных особ, заинтересованных в устранении беспокойных и непокорных поэтов, и сами Пушкин и Лермонтов кое-что сделали, чтобы умереть так, как они умерли...

Конечно, можно проследить, как стягивается роковая петля событий, как незаметно, но неотвратимо разгорается роковой скандал — та грязная, пьяная и страшная ночь. Но все равно все могло закончиться иначе. И кто знает, быть может, эта женщина, писавшая, по мнению многих, неплохие стихи, в ту ночь на 19 января 1971 года, сама того не зная и не желая, спасала кого-то из рубцовских друзей от страшной участи...

...Об этом нельзя думать и говорить тоже нельзя. В нашей жизни все случается так, как случается... И это и есть высшая справедливость. Другой справедливости, по крайней мере здесь, «на этом берегу», как говорил Рубцов, нет и не будет. Вот и остается только, помяная Рубцова, повторить вслед за ним:

Все умрем.

Но есть резон

В том, что ты рожден поэтом,

А другой — жнецом рожден...

Все уйдем.

Но суть не в этом...

— Люда, давай ложиться спать. Иди ко мне... — словно бы очнувшись, спокойно сказал Рубцов.

Это спокойствие — как же это ничего не было?! — и возмутило сильнее всего Д.

— Ложись, я тебе не мешаю! — ответила она.

— Иди ко мне!

— Не зови, я с тобой не лягу!

«Тогда он подбежал ко мне, схватил за руки и потянул к себе в постель. Я вырвалась. Он снова, заламывая мне руки, толкал меня в постель. Я снова вырвалась и стала поспешно одевать чулки, собираясь убежать.

— Я уйду!

Он стремительно ринулся в ванную. Я слышала, как он шарит под ванной рукой... Меня всю затрясло, как в лихорадке. Надо бежать!.. Но я не одета! Однако животный страх кинул меня к двери. Он увидел меня, мгновенно выпрямился. В одной руке он держал комок белья... Простыня вдруг развилась и покрыла его от подбородка до ступней ног.

«Господи, мертвец», — мелькнуло у меня в сознании. Одно мгновение, и Рубцов кинулся на меня, с силой толкнул меня обратно в комнату, роняя на пол белье. Теряя равновесие, я схватилась за него, и мы упали. Та страшная сила, которая долго копилась во мне, вдруг вырвалась, словно лава, ринулась, как обвал. Набатом бухнуло мое сердце.

«Нужно усмирить, усмирить!» — билось у меня в мозгу. Рубцов тянулся ко мне рукой, я перехватила ее своей и сильно укусила...

Вдруг неизвестно отчего рухнул стол, на котором стояли иконы. Все они рассыпались по полу вокруг нас. Лица Рубцова я не видела. Ни о каком смертельном исходе не помышлялось. Хотелось одного, чтоб он пока не вставал...

Сильным толчком он откинул меня и перевернулся на живот. В этот миг я увидела его посиневшее лицо и остолбенела: он упал ничком, уткнувшись лицом в то самое белье, которое рассыпалось по полу при нашем падении. Я стояла над ним, приросшая к полу, пораженная шоком. Все это произошло в считанные секунды...»

Вот так и случилось непоправимое...

В ту ночь соседка Рубцова проснулась от крика.

— Я люблю тебя! — услышала она крик — последние слова, которые произнес Рубцов...

Когда опрокинулся стол с иконами, одна — это был образ Николая Чудотворца — раскололась пополам...

Еще осенью, на стене библиотеки в Троице, разгораясь сиянием, замерцал крест. Сначала Д. не испугалась, внимательно осмотрела окно, проверила, куда падает тень от переплета рамы, но так ничего и не сумела понять, и привела в библиотеку Рубцова. Рубцов посмотрел на крест, пожал плечами и спросил: «Ну и что?»

Через три дня Рубцова похоронили на пустыре, отведенном под городское кладбище. Там было пусто и голо, только на вставленных в мерзлую землю шестах над новыми могилами сидели вороны.

Прощаясь с покойным, В. П. Астафьев сказал:

«Человеческая жизнь у всех начинается одинаково, а кончается по-разному. И есть странная, горькая традиция в кончине многих больших русских поэтов. Все великие певцы уходили из жизни рано и, как правило, не по своей воле...»

В 1973 году на могиле Рубцова поставили надгробие — мраморную плиту с барельефом поэта. Внизу по мрамору бежит строчка из его стихов:

«Россия, Русь! Храни себя, храни!» —

которая звучит словно последнее завещание Рубцова этой несчастной и бесконечно любимой стране, что не бережет ни своих гениев, ни саму себя...

А сейчас поднялись, подтянулись на кладбище кусты и деревья, и уже не так страшно, не так бесприютно здесь. Впрочем, как я говорил, ходят слухи, что скоро перенесут могилу Рубцова поближе к туристским тропам, перезахоронят поэта в Прилуцком монастыре, рядом с могилой поэта Батюшкова...

Рукописи Рубцова после его смерти забрал Виктор Коротаев. Еще остались от Рубцова старенький засаленный диван, круглый раздвижной стол, табуретки да груда пепла на кухне от сожженных бумаг.

Письменный стол Рубцова по настоянию вологодских писателей увезла в Николу Генриэтта Михайловна. На столе было много непристойных надписей, и Генриэтта Михайловна покрасила стол суриком, как красят в деревнях дешевую фанерную мебель.

Вещей у Рубцова было немного. Когда открывался музей в Николе, я ехал туда в музейном фургончике, вместе с этими вещами. На коленях у меня стояла гармошка «Шуя», на которой почему-то было нацарапано «Фикрету Годже на память, на дружбу. Белов. 24.X.63», но которая принадлежала Рубцову, а рядом, на спинке сиденья, лежало — такие вообще-то можно найти на любой свалке — рубцовское пальто. Больше вещей, принадлежавших Николаю Михайловичу Рубцову, не осталось.

Зато остались его стихи...

Отложу свою скудную пищу
И отправлюсь на вечный покой.
Пусть меня еще любят и ищут
Над моей одинокой рекой...

Есть особое состояние жизни стихов после смерти их автора. Прекрасные, а главное — вечно живые стихи Рубцова не связывались с тем, что осталось после той жуткой ночи, с тем, что фигурировало в звучащих на судебном заседании строках заключения медицинской экспертизы: «На горле трупа имеются множественные царапины. Трупные пятна имеются на животе, лице...»

И конечно, прекрасное и вечно живое победило, стихи заслонили не только ужас последних дней жизни Рубцова, но и неуют, неустроенность всей его жизни. Высвободившись из своей брэнной оболочки, образ живого Рубцова начал стремительно сливаться с образом героя его стихов.

Когда я собирал материалы для книги о Рубцове, я сам видел, как буквально на моих глазах замыкается

этот круг, постоянно замечал, как, напрягая память, знакомые и друзья поэта вспоминают уже не того Колю Рубцова, которого они знали и помнили, а его стихи... Происходило это неосознанно и чаще всего вызывалось не желанием как-то приукрасить свою роль в жизни Рубцова, а естественной потребностью человека в очищении собственной души.

Процесс этот начался сразу после смерти Рубцова, когда, как вспоминает бывший редактор тотемской районки Александр Михайлович Королев, в ответ на предложение установить мемориальную доску на интернате, где учился и жил Рубцов, можно было услышать: «А вы видели Рубцова трезвым?», как будто мемориальная доска устанавливалась именно в честь трезвой рубцовой жизни.

Сейчас такой вопрос, такие сомнения уже невозможны. Привычным в тотемском пейзаже стал бронзовый Рубцов, сидящий на бронзовой скамейке у реки, напротив бывшего багровского дома, в который он любил заглядывать...

— Я Колю всегда жалела, — рассказывала мне в Николе Лия Сергеевна Тугарина, воспитывавшаяся вместе с Рубцовым в детдоме. — Сейчас-то я у Лены спрашиваю, когда она в Николу приезжает, ты, Лена, у отца-то была в Тотьме? Не, говорит, некогда... А я, когда в Тотьму приеду, первым делом к Коле иду. Травку на клумбе порву, поговорю с ним. А этой зимой приехала — даже тропинки в снегу нету. Коля, говорю, и не приедет-то к тебе никто... И заплакала.

Я слушал Лию Сергеевну, для которой и бронзовый Рубцов остается Колей, и в памяти звучали его последние стихи:

Пусть еще всевозможное благо
Обещают на той стороне.
Не купить мне избу над оврагом
И цветы не выращивать мне... —

и тоже вспоминал Рубцова, этого путника, прошедшего по заснеженному полю наших десятилетий...

А соседи Рубцова по лестничной клетке снизу и сейчас еще, двадцать лет спустя, любят вспоминать, как он мыл у себя полы. Вначале выплескивал ведро воды, а потом

начинал драить пол шваброй. Вода, естественно, протекала вниз... Однако, сколько ни скандалили соседи, разницу между палубой и полом в квартире Рубцов, похоже, так и не уловил — продолжал наводить чистоту по освоенному еще в моряцкой юности способу...

Еще вспоминают соседи о том крике Рубцова, который разбудил их утром, 19 января 1971 года...

Николай РУБЦОВ

Стихотворения

1

ВОЛНЫ И СКАЛЫ*

КОРОТКО О СЕБЕ

Родился в 1936 г. в Архангельской области. Но трех лет меня увезли оттуда. Детство прошло в сельском детском доме над рекой Толшмой — глубоко в Вологодской области. Давно уже в сельской жизни происходят крупные изменения, но до меня все же докатились последние волны старинной русской самобытности, в которой было много прекрасного, поэтического. Все, что было в детстве, я лучше помню, чем то, что было день назад.

Родителей лишился в начале войны. После детского дома, так сказать, дом всегда был там, где я работал или учился. До сих пор так.

Учился в нескольких техникумах, ни одного не закончил. Работал на нескольких заводах и в Архангельском траловом флоте. Служил четыре года на Северном флоте. Все это в равной мере отозвалось в стихах.

Стихи пытался писать еще в детстве.

Особенно люблю темы родины и скитаний, жизни и смерти, любви и удали. Думаю, что стихи сильны и долговечны тогда, когда они идут через личное, через частное, но при этом нужна масштабность и жизненная характерность настроений, переживаний, размышлений...

* Стихи Николая Рубцова печатаются в соответствии со сборниками, составленными самим поэтом.

В первом разделе публикация воспроизводится в основном по машинописному сборнику «Волны и скалы», «изданному» Б. Тайгиным.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ЭЛЕГИЯ

Брату Алику

Стукнул по карману — не звенит.
Стукнул по другому — не слышать.
В тихий свой, таинственный зенит *
Полетели мысли отдыхать.

Но очнись и выйду за порог
И пойду на ветер, на откос
О печали пройденных дорог
Шелестеть остатками волос.

Память отбивается от рук,
Молодость уходит из-под ног,
Солнышко описывает круг —
Жизненный отсчитывает срок.

Стукну по карману — не звенит.
Стукну по другому — не слышать.
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать... **

Март 1962

* В машинописном сборнике:
«В коммунизм — безоблачный зенит — ».

** Последняя строфа появилась позднее.

САЛЮТ МОРЮ

В ОКЕАНЕ*

Забрызгана крупно
и рубка, и рында,
Но румб отправления дан,—
И тральщик тралфлота
треста «Севрыба»
Пошел промышлять в океан.
Подумаешь, рыба!
Подумаешь, рубка!
Как всякий заправский матрос,
Я хрипло ругался.
И хлюпал, как шлюпка,
Сердитый простуженный нос.
От имени треста
треске мелюзговой
Язвил я:
«Что, сдохла уже?»
На встречные
злые
суда без улова
Кричал я:
«Эй вы, на барже!»
А волны,
как мускулы,
взмыленно,
пьяно,
Буграми в багровых тонах
Ходили по нервной груди океана,
И нерпы ныряли в волнах.
И долго,
и хищно,
стремясь поживиться,
С кричащей, голодной тоской
Летели большие
клювастые
птицы
за судном, пропахшим треской!

Июль 1961

* Помеченные звездочкой стихи приведены по тексту машинописного сборника.

ФИАЛКИ

Я в фуфаечке грязной
Шел по насыпи мола,
Вдруг тоскливо и страстно
Стала звать радиола:
— Купите фиалки!
Вот фиалки лесные!
Купите фиалки!
Они словно живые!
...Как я рвался на море!
Бросил дом безрассудно
И в моряцкой конторе
Все просился на судно.
Умолял, караулил... *
Но нетрезвые, с кренцем,
Моряки хохотнули
И назвали младенцем...

Так зачем мою душу
Так волна волновала,
Посылая на сушу
Брызги сильного шквала?
Кроме моря и неба,
Кроме мокрого мола,
Надо хлеба мне, хлеба!
Замолчи, радиола...
Сел я в белый автобус,
В белый, теплый, хороший,—
Там вертелась, как глобус,
Голова контролерши.

Назвала хулиганом,
Назвала меня фруктом...
Как все это погано!
Эх! Кондуктор, кондуктор...
Ты не требуй билета,
Увези на толкучку,
Я, как маме, за это
Поцелую вам ручку!

Вот хожу я, где ругань,
Где торговля по кругу,

* В машинописном сборнике: «На буксир, на баржу ли...»

НА БЕРЕГУ *

Однажды к пирсу
Траулер причалил,
Вечерний порт
Приветствуя гудком!
У всех в карманах
Деньги забренчали,
И всех на берег
Выпустил старпом...

Иду и вижу —
Мать моя родная!
Для моряков,
Вернувшихся с морей,
Избушка
Под названием «пивная»
Стоит без стекол в окнах,
Без дверей!

Где трезвый гост
За промысел успешный?
Где трезвый дух
Общественной пивной?
Я первый раз
Вошел сюда, безгрешный,
И покачал кудрявой
Головой.

И вдруг матросы
В сумраке кутежном,
Как тигры в клетке,
Чувствуя момент,
Зашевелились
Глухо и тревожно...
— Тебе чего не нравится?
Студент!

— Послушайте! — вскипел я,
— Где студенты?!
Я знаю сам
Моряцкую тоску!
И если вы —
Неглупые клиенты,
Оставьте шутки,
Трескайте треску!

Я сел за стол
С получкою в кармане.
И что там делал,
Делал или нет,
Пусть никто
Расспрашивать не станет...
Ведь было мне
Всего шестнадцать лет!

...Очнулся я,
Как после преступления,
С такой тревогой,
Будто бы вчера
Кидал в кого-то
Кружки и поленья,
И мне в тюрьму
Готовиться пора!

А день вставал!
И музыка зарядки
Уже неслась из каждого окна!
И, утверждая
Трезвые порядки,
Упрямо волны
Двигала Двина.

Родная рында
Звала на работу!
И, освежая
Головы опять,
Летел приказ
По траловому флоту:
— Необходимо
Пьянство пресекать!

Январь 1962

* * *

Бывало, вырядимся с шиком
В костюмы, в шляпы — и айда!
Любой красотке с гордым ликом
Смотреть на нас приятно, да!

Вина веселенький бочонок,
Как чудо, сразу окружен,
Мы пьем за ласковых девчонок,
А кто постарше, те — за жен!

Ах, сколько их в кустах и в дюнах,
У белых мраморных колонн
Мужчин, взволнованных и юных,
А сколько женщин! Миллион!

У всех дворцов, у всех избушек
Кишит портовый праздный люд!
Гремит оркестр! Палят из пушек —
Дают над городом салют!

Март 1962

ПОРТОВАЯ НОЧЬ

Старпомы ждут
 своих матросов.
Морской жаргон с борта на борт
Летит, пугая альбатросов,
И оглашен гудками порт.

Иду! А как же? Дисциплина!
Оставив женщин и ночлег,
Иду походкой гражданина
И ртом ловлю роскошный снег.

И выколачиваю звуки
Из веток, тронутых ледком,
Дышу на зябнущие руки,
Дышу свободно и легко.

Никем по свету не гонимый *,
Я в этот порт явился сам
В своей любви необъяснимой
К полночным северным судам.

* В машинописном сборнике эта строфа дана в другой редакции:

Пивные — наглухо закрыты.
Темны дворы и этажи.
Как бы заброшенный,
 забытый,
безлюден город...
 Ни души!

На лбу болела шишка,
и я подумал — Крышка!
Не буду больше пить!..

Но время пролетело.
Поет душа и тело,
я полон новых сил!
Хочу толкнуть за гроши
вторые брюки-клеши,
в которых я хожу...

Пос. Прютино, 1957

ДОЛИНА ДЕТСТВА

ДОЛИНА ДЕТСТВА *

Мрачный мастер
страшного тарана,
до чего ж он все же нерадив!
...После дива сельского барана
я открыл немало разных див.

Нахлобучив мичманку на брови,
шел в театр, в контору, на причал...
Стал теперь мудрее и суровой
и себя отравой накачал...

Но моя родимая земля
надо мной удерживает власть.
Память возвращается, как птица, —
в то гнездо, в котором родилась.

И вокруг долины той любимой,
полной света вечных звезд Руси,
жизнь моя вращается незримо,
как Земля вокруг своей оси!

9 июля 1962

* * *

Я забыл,
Как лошадь запрягают.
И хочу ее
Позапрягать,
Хоть они неопытных
Лягают
И до смерти могут
Залгать.
Не однажды *
Мне уже досталось
От коней,
И рыжих, и гнедых, —

* В машинописном сборнике: «Мне не страшно».

Знать не знали,
Что такое жалость,
Били в зубы прямо
И под дых *.
Эх, запряг бы
Я сейчас кобылку
И возил бы сено,
Сколько мог,
А потом
Втыкал бы важно вилку
Поросенку
Жареному
В бок...

〈1960〉

ВИДЕНИЯ НА ХОЛМЕ **

Взбегу на холм

и упаду

в траву.

И древностью повеет вдруг из дола!

И вдруг картины грозного раздора

Я в этот миг увижу наяву.

Пустынный свет на звездных берегах

И вереницы птиц твоих, Россия,

Затмит на миг

В крови и в жемчугах

Тупой башмак скуластого Батыя...

Россия, Русь — куда я ни взгляну...

За все твои страдания и битвы

Люблю твою, Россия, старину,

Твои леса, погосты и молитвы,

Люблю твои избушки и цветы,

И небеса, горящие от зноя,

И шепот ив у омутной воды,

Люблю навек, до вечного покоя...

Россия, Русь! Храни себя, храни!

Смотри, опять в леса твои и доли

* В машинописном сборнике: «И в поддых».

** В машинописном сборнике «Волны и скалы» стихотворение приведено под названием «Видения в долине» и в более слабой редакции.

Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.
Они несут на флагах черный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов

в окрестностях
России.

Кресты, кресты...
Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смиренно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они — и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной —
бессмертных звезд Руси,
Спокойных звезд безбрежное мерцанье...

〈1960〉

БЕРЕЗЫ

Я люблю, когда шумят березы,
Когда листья падают с берез.
Слушаю — и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез.

Все очнется в памяти невольно,
Отзовется в сердце и в крови.
Станет как-то радостно и больно,
Будто кто-то шепчет о любви.

Только чаще побеждает проза,
Словно дунет ветер хмурых дней.
Ведь шумит такая же береза
Над могилой матери моей.

На войне отца убила пуля,
А у нас в деревне, у оград
С ветром и с дождем гудел, как улей,
Вот такой же поздний листопад...

Русь моя, люблю твои березы!
С первых лет я с ними жил и рос.
Потому и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез...

Пос. Приютино, 1957

Вот и всё... А ограда стояла.
Тяжки копыа чугунной ограды.
Было утро дождя и металла,
Было смутное утро утраты...

〈1960〉

СТО «НЕТ»

В окнах зеленый свет,
Странный, болотный свет...
Я не повешусь, нет,
Не помешаюсь, нет,
Буду я жить сто лет,
И без тебя — сто лет,
Сердце не стонет, нет,
Нет! Сто «нет!».

Сентябрь 1961

НЕНАСТЬЕ

Погода какая!

С ума сойдешь:
снег, ветер и дождь-зараза!
Как буйные слезы, струится дождь
по скулам железного Газа.

Как резко звенел

в телефонном мирке
твой голос, опасный подвохом!
Вот трубка вздохнула в моей руке
осмысленно-тяжким вздохом
и вдруг онемела с раскрытым ртом...
Конечно, не провод лопнул!
Я дверь автомата открыл пинком
и снова

пинком

захлопнул!..

И вот я сажу

и зубрю дарвинизм,
и вот в результате зубрежки —
внимательно ем
молодой организм

какой-то копченой рыбецки...
Что делать? —
ведь ножик в себя не вонжу,
и жизнь продолжается, значит.

На памятник Газа в окно гляжу:
железный!
А все-таки... плачет.

1960

ВОЛНЫ И СКАЛЫ

Эх, коня да удаль азиата
Мне взамен чернильниц и бумаг, —
Как под гибким телом Азамата,
Подо мною взвился б
аргамак!
Как разбойник,
только без кинжала,
Покрестившись лихо на собор,
Мимо волн Обводного канала
Поскакал бы я во весь опор!
Мимо окон Эдика и Глеба.
Мимо криков: «Это же — Рубцов!»
Не простой,
возвышенный,
в седле бы
Прискакал к тебе в конце концов!
Но, должно быть, просто и без смеха
Ты мне скажешь: — Боже упаси!
Почему на лошади приехал?
Разве мало в городе такси? —
И, стыдясь за дикий свой поступок,
Словно Богом свергнутый с небес,
Я отвечу буднично и глупо:
— Да, конечно, это не прогресс...

Лето 1961

ЗВУКОПИСНЫЕ МИНИАТЮРЫ

ЛЕВИТАН *

(По мотивам картины «Вечерний звон»)

В глаза бревенчатым лачугам
Глядит алеющая мгла,
Над колокольчиковым лугом
Собор звонит в колокола!

Звон закольный и окольный,
У окон, около колонн, —
Я слышу звон и колокольный,
И колокольчиковый звон.

И колокольцем каждым в душу
До новых радостей и сил
Твои луга звонят не глуше
Колоколов твоей Руси...

1960

СТАРЫЙ КОНЬ **

Я долго ехал волоком.
И долго лес ночной

* В машинописном сборнике «Волны и скалы» последние две строфы приводились в другой редакции:

Звон колокольный и окольный,
у окон,
около колонн.
Звон колоколен
колокольный,
и колокольчиковый звон.
И колокольцем
каждым
в душу —
любого русского спроси! —
Звонит, как в колокол, —
не глуше, —
звон
левитановской
Руси!

** В машинописном сборнике стихотворение приведено в другой редакции.

Все слушал медный колокол,
Звеневший под дугой.

Звени, звени легонечко,
Мой колокол, трезвонь!
Шагай, шагай тихонечко,
Мой бедный старый конь!

Хоть волки есть на волоке
И волок тот полог,
Едва он сани к Вологде
По волоку волок...

Звени, звени легонечко,
Мой колокол, трезвонь,
Шагай, шагай тихонечко,
Мой добрый старый конь!

И вдруг заржал он молодо,
Гордясь без похвалы,
Когда увидел Вологду
Сквозь заволоку мглы...

1960

НА ПЕРЕВОЗЕ

Паром.

Паромщик.

Перевоз.

И я с тетрадкой и с пером.
Не то что паром паровоз —
Нас парой вёсел

вез паром.

Я рос на этих берегах!
И пусть паром — не паровоз,
Как паровоз на всех парах,
Меня он

в детство

перевез.

1960

МАЛЕНЬКИЕ ЛИЛИ

(Для детей)

Две маленькие
Лили —
лилипуты
увидели на иве желтый прутик.
Его спросили Лили:
— Почему ты
не зеленеешь,
прутик-лилипутик? —
Пошли
за лейкой
маленькие Лили,
на шалости не тратя ни минуты.
И так усердно,
как дожди не лили,
на прутик лили
Лили —
лилипуты.

1960

РЕПОРТАЖ

НА РОДИНЕ *

Загородил мою дорогу
Грузовика широкий зад.
И я подумал: слава Богу,—
Село не то, что год назад!
Теперь в полях везде машины.
И не видать худых кобыл.
Один лишь древний дух крушины
Все так же горек, как и был.
Да, я подумал: «Слава Богу!»

Но Бог-то тут при чем опять?
Уж нам пора бы понемногу
От мистицизма отвыкать.
Давно в гробу цари и боги!
И дело в том — наверняка —
Что с треском нынче демагоги
Летят из Главков и ЦэКа!

*Пос. Невская Дубровка,
1959*

РЕПОРТАЖ *

К мужику микрофон подносят.
Тянут слово из мужика.
Рассказать о работе просят —
В свете новых решений ЦэКа.

Мужику
 непривычно трёкать,
Вздых срывается с языка.
Нежно взяли его за локоть:
Тянут
 слово
 из мужика!..

Апрель 1962

О СОБАКАХ

Не могу я
Видеть без грусти
Ежедневных
Собачьих драк, —
В этом маленьком
Захолустье
Поразительно много
Собак!
Есть мордастые —
Всякой масти!
Есть поджарые —
Всех тонов!
Только тронь — *
Разорвут на части
Иль оставят вмиг
Без штанов.
Говорю о том
Не для смеху,
Я однажды
Подумал так:
«Да! Собака —
Друг человеку
Одному...
А другому — враг...»

Пос. Приютино, 1957

* В машинописном сборнике: «Подойди — ».

АХ, ЧТО Я ДЕЛАЮ?

НА ПЛАЦУ

(Шутка)

Я марширую на плацу.
А снег стегает по лицу!

Я так хочу иметь успех!
Я марширую лучше всех! *

Довольны мною все кругом!
Доволен мичман и старпом!

И даже — видно по глазам —
Главнокомандующий сам!

9 июля 1962

ЖАЛОБЫ АЛКОГОЛИКА **

Ах, что я делаю, зачем я мучаю
Больной и маленький свой организм?
Ах, по какому же такому случаю?
Ведь люди борются за коммунизм!

Скот размножается, пшеница мелется,
И все на правильном таком пути...
Так замети меня, метель-метелица.
Так замети меня, ох, замети!

* В машинописном сборнике «Волны и скалы» в середине стихотворения приводились еще и такие строки:

Моя веселая родня
письмо получит про меня.

Его
любимая моя —
прочтет, дыханье затая.

* В машинописном сборнике «Волны и скалы» последняя строфа ствовала. Вместо нее печаталась одна лишь строка: «И заметет!..»

Я пил на полюсе, пил на экваторе —
На протяжении всего пути.
Так замети меня, к едрене матери.
Метель-метелица, ох, замети...

Декабрь 1961

ПРАЗДНИК В ПОСЕЛКЕ

Сколько водки выпито!
Сколько стекол выбито!
Сколько средств закоплено!
Сколько женщин брошено!
Где-то дети плакали...
Где-то финки звякали...

Эх, сивуха сивая!..
Жизнь была... красивая!

*Ленинградская обл.,
пос. Невская Дубровка, 1959*

* * *

Снуют. Считают рублики.
Спешат в свои дома.
И нету дела публике,
что я схожу с ума!
Не знаю, чем он кончится —
запутавшийся путь,
но так порою хочется
ножом...
куда-нибудь!

Пос. Приютино, 1957

ДА, УМРУ Я!

Да! Умру я!
И что ж такого?
Хоть сейчас из нагана в лоб!

Может быть,
Гробовщик толковый
Смастерит мне хороший гроб...

А на что мне
Хороший гроб-то?
Зарывайте меня хоть как!
Жалкий след мой
будет затоптан
башмаками других бродяг.
И останется все,
как было —
на Земле,
не для всех родной...
Будет так же
светить Светило
на заплеванной шар земной!..

Ташкент, 1954

ХОЧУ — ХОХОЧУ!

РАЗЛАД

Мы встретились
У мельничной запруды,
И я ей сразу
Прямо все сказал!
— Кому, — сказал, —
Нужны твои причуды?
Зачем, — сказал, —
Ходила на вокзал?

Она сказала:
— Я не виновата.
— Ответь, — сказал я, —
Кто же виноват? —
Она сказала:
— Я встречала брата.
— Ха-ха, — сказал я, —
Разве это брат?

В моих мозгах
Чего-то не хватало:
Махнув на все,
Я начал хохотать.
Я хохотал,
И эхо хохотало,
И грохотала
Мельничная гать.

Она сказала:
— Ты чего хохочешь?
— Хочу, — сказал я, —
Вот и хохочу! —
Она сказала:
— Мало ли что хочешь!
Я это слушать
Больше не хочу!

Конечно, я ничуть
Не напугался,
Как всякий,

Кто ни в чем не виноват *,
И зря в ту ночь
Пылал и трепыхался
В конце безлюдной улицы
Закат...

1960

УТРО ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ

Тяжело молчал
Валун-догматик
В стороне от волн...
А между тем
Я смотрел на мир,
Как математик,
Доказав с десяток
Теорем.

Скалы встали
Перпендикулярно
К плоскости залива.
Круг луны.
Стороны зари
Равны попарно,
Волны меж собою
Не равны!

Вдоль залива,
Словно знак вопроса,
Дергаясь спиной
И головой,
Пьяное подобие
Матроса
Двигалось
По ломаной кривой.

Спотыкаясь
Даже на цветочках,—
Боже! Тоже пьяная...
В дугу! —

* В машинописном сборнике: «Я гордо шел на ссору и разлад».

Чья-то равнобедренная
Дочка
Двигалась,
Как радиус в кругу...

Я подумал:
Это так ничтожно,
Что о них
Нужна, конечно, речь,
Но всегда
Ничтожествами
Можно,
Если надо,
Просто пренебречь!

И в пространстве,
Ветреном и смелом *,
Облако —
Из дивной дали гость —
Белым,
Будто выведенным мелом,
Знаком бесконечности
Неслось...

1961

МУМ

(Марш Уходящей Молодости)

Стукнул по карману — не звенит:
как воздух.
Стукнул по другому — не слышать.
Как в первом...
В коммунизм — таинственный зенит —
как в космос —
полетели мысли отдыхать,
как птички.
Но очнись и выйду за порог,
как олух.

* В машинописном сборнике:

И в пространстве —
светлом,
чистом,
смелом —

И пойду на ветер, на откос,
как бабка,
о печали пройденных дорог,
как урка,
шелестеть остатками волос,
как ффраер...
Память отбивается от рук,
как дура.
Молодость уходит из-под ног,
как бочка.
Солнышко описывает круг,
как сука,—
жизненный отсчитывает срок...
Как падла!

Апрель 1962

* * *

Валентину Горшкову

Ты называешь солнце блюдом.
Оригинально. Только зря.
С любою круглою посудой
Светило сравнивать нельзя!
А если можно,—

значит, можно

И мне, для свежести стишка,
Твой череп образно-безбожно
Сравнить...
с подобием горшка!

1960

ВЕТРЫ ПОЭЗИИ

СКАЗКА-СКАЗОЧКА

Влетел ко мне какой-то бес.
Он был не в духе или пьян.
И в драку сразу же полез:
Повел себя как хулиган.

И я сказал: — А кто ты есть?
Я не люблю таких гостей.
Ты лучше с лапами не лезь:
Не соберешь потом костей!

Но бес от злости стал глупей
И стал бутылки бить в углу.
Я говорю ему: — Не бей!
Не бей бутылки на полу!

Он вдруг схватил мою гармонь.
Я вижу все. Я весь горю!
Я говорю ему: — Не тронь,
Не тронь гармошку! — говорю.

Хотел я, было, напрямик
На шпагах драку предложить,
Но он взлетел на полку книг.
Ему еще хотелось жить!

Уткнулся бес в какой-то бред
И вдруг завыл: — О, Божья мать!
Я вижу лишь лицо газет,
А лиц поэтов не видать...

И начал книги из дверей
Швырять в сугробы декабря.
...Он обнаглел, он озверел!
Я... ничего не говорю.

1960

В ГОСТЯХ

Глебу Горбовскому

Трущобный двор. Фигура на углу.
Мерещится, что это Достоевский.
И желтый свет в окне без занавески
Горит, но не рассеивает мглу *.
Гранитным громом грянуло с небес!
В трущобный двор ворвался ветер резкий,
И видел я, как вздрогнул Достоевский,
Как тяжело ссутулился, исчез...

Не может быть, чтоб это был не он!
Как без него представить эти тени,
И желтый свет, и грязные ступени,
И гром, и стены с четырех сторон!

Я продолжаю верить в этот бред.
Когда в свое притонное жилище
По коридору в страшной темнотище,
Отдав поклон, ведет меня поэт...

Куда меня, беднягу, занесло!
Таких картин вы сроду не видали.
Такие сны над вами не витали,
И да минует вас такое зло! **

* В машинописном сборнике «Волны и скалы»: «И ходит холод ветренный и резкий. И стены погружаются во мглу».

** Вместо этой строфы в «Волнах и скалах»:

Он, как матрос, которого томит
глухая жизнь в задворках и в угаре.
— Какие времена на свете, Гарри!..
— О! Времена неласковые, Смит...
В моей судьбе творились чудеса!
Но я клянусь
любою клятвой мира,
Что и твоя освищенная лира
еще свои поднимет паруса!
Еще мужчины будущих времен
(да будет воля их неустрашима!) —
разгонят мрак бездарного режима
для всех живых и подлинных имен!
...Ура, опять ребята ворвались!
Они еще не сеют и не пахнут.
Они кричат,
они руками машут!
Они как будто только родились!

...Поэт, как волк, напьется натошак.
И неподвижно, словно на портрете,
Все тяжелей сидит на табурете,
И все молчит, не двигаясь никак.

А перед ним, кому-то подражая
И суетясь, как все, по городам,
Сидит и курит женщина чужая...
— Ах, почему вы курите, мадам! —
Он говорит, что все уходит прочь,
И всякий путь оплакивает ветер,
Что странный бред, похожий на медведя,
Его опять преследовал всю ночь,
Он говорит, что мы одних кровей,
И на меня указывает пальцем,
А мне неловко выглядеть страдальцем,
И я смеюсь, чтоб выглядеть живой.
И думал я: «Какой же ты поэт,
Когда среди бессмысленного пира
Слышна все реже гаснущая лира,
И странный шум ей слышится в ответ?..»
Но все они опутаны всерьез *
Какой-то общей нервной системой:
Случайный крик, раздавшись над богемой,
Доводит всех до крика и до слез!
И все торчит.
В дверях торчит сосед.
Торчат за ним разбуженные тетки,
Торчат слова,
Торчит бутылка водки,
Торчит в окне бессмысленный рассвет!

Они сыны запутанных дорог...

И вот,

стихи, написанные матом,
ласкают слух отчаянным ребятам,
хотя, конечно, все это — порок!..

* В машинописном сборнике «Волны и скалы» весь отрывок со слов: «А перед ним, кому-то подражая...» был другим:

Он говорит, что мы —

одних кровей,
и на меня указывает пальцем!

А мне неловко выглядеть страдальцем,
и я смеюсь, чтоб выглядеть живой!

Но все равно, опутан я всерьез...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ДОБРЫЙ ФИЛЯ *

Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог...

Там в избе деревянной,
Без претензий и льгот,
Так, без газа, без ванной,
Добрый Филя живет.

Филя любит скотину,
Ест любую еду,
Филя ходит в долину,
Филя дует в дуду!

Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
— Филя! Что молчаливый?
— А о чем говорить?

1960

* В машинописном сборнике «Волны и скалы» стихотворение приведено под названием «Лесной хуторок», подзаголовок — «Идиллия». Первая строфа выглядела иначе:

Я запомнил, как чудо,
тот лесной хуторок.
Хутор — это не худо:
это мир, не мирок!

2

ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ

* * *

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времен...

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблесть в труде и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках пронесил!

И быстро, как ласточки, мчался я в майском костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке,
А мимо неслись в торопливом немолкнущем шуме
Весенние воды, и бревна неслись по реке...

Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей,—
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..

О сельские виды! О дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти пойду до могилы..
Отчизна и воля — останься, мое божество!

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.

И только, страдая, израненный бывший десантник
Расскажет в бреду удивленной старухе своей,
Что ночью промчался какой-то таинственный всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...

⟨1963⟩

ВЕСНА НА БЕРЕГУ БИИ

Сколько сору прибило к березам
Разыгравшейся полой водой!
Трактора, волокуши с навозом,
Жеребята с проезжим обозом,
Гуси, лошади, шар золотой,
Яркий шар восходящего солнца,
Куры, свиньи, коровы, грачи,
Горький пьяница с новым червонцем
У прилавка

и куст под оконцем —
Все купается, тонет, смеется,
Пробираясь в воде и в грязи!

Вдоль по берегу бешеной Бии
Гонят стадо быков верховые —
И, нагнувши могучие выи,
Грозный рев поднимают быки.
Говорю вам: — Услышат глухие! —
А какие в окрестностях Бии —
Поглядеть — небеса голубые!

Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвою,
Перекликаясь с теми, кто прошел,
Перекликаясь с теми, кто проходит...
Здесь русский дух в веках произошел,
И ничего на ней не происходит.
Но этот дух пойдет через века!
И пусть травой покроется дорога,
И пусть над ней, печальные немного,
Плывут, плывут, как мысли, облака...

⟨1966⟩

ВЕЧЕРНЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Мне лошадь встретила в кустах.
И вздрогнул я. А было поздно.
В любой воде таился страх.
В любом сарае сенокосном...
Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.
Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
Мы жутко так, не до конца,
Переглянулись по два раза.
И я спешил — признаюсь вам —
С одною мыслью к домочадцам:
Что лучше разным существам
В местах тревожных —
не встречаться!

⟨1965⟩

ПРИРОДА

Звенит, смеется, как младенец.
И смотрит солнышку вослед.
И меж домов, берез, поленниц
Горит, струясь, небесный свет.
Как над заплаканным младенцем,
Играя с нею, после гроз
Узорным чистым полотенцем

Свисает радуга с берез.
И сладко, сладко ночью звездной
Ей снится дальний скрип телег...
И вдруг разгневается грозно,
Совсем как взрослый человек!
Как человек богоподобный,
Внушает в гибельной борьбе
Пушкой не ужас допотопный,
Но поклонение себе!..

⟨1967⟩

В МИНУТЫ МУЗЫКИ

В минуты музыки печальной
Я представляю желтый плес,
И голос женщины прощальный,
И шум порывистых берез,

И первый снег под небом серым
Среди погаснувших полей,
И путь без солнца, путь без веры
Гонимых снегом журавлей...

Давно душа блуждать устала
В былой любви, в былом хмелю,
Давно понять пора настала,
Что слишком призраки люблю.

Но все равно в жилищах зыбких —
Попробуй их останови! —
Перекликаясь, плачут скрипки
О желтом плесе, о любви.

И все равно под небом низким
Я вижу явственно, до слез,
И желтый плес, и голос близкий,
И шум порывистых берез.

Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чем...
В минуты музыки печальной
Не говорите ни о чем.

⟨1966⟩

УТРО

Когда заря, светясь по сосняку,
Горит, горит, и лес уже не дремлет,
И тени сосен падают в реку,
И свет бежит на улицы деревни,
Когда, смеясь, на дворике глухом
Встречают солнце взрослые и дети, —
Воспрянув духом, выбегу на холм
И все увижу в самом лучшем свете.
Деревья, избы, лошадь на мосту,
Цветущий луг — везде о них тоскую.
И, разлюбив вот эту красоту,
Я не создам, наверное, другую...

〈1965〉

НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ

Рукой раздвинув

 темные кусты,
Я не нашел и запаха малины,
Но я нашел могильные кресты,
Когда ушел в малинник за овины...

Там фантастично тихо в темноте,
Там одиноко, боязно и сыро,
Там и ромашки будто бы не те —
Как существа уже иного мира.

И так в тумане омутной воды
Стояло тихо кладбище глухое,
Таким все было смертным и святым,
Что до конца не будет мне покоя.

И эту грусть, и святость прежних лет
Я так любил во мгле родного края,
Что я хотел упасть и умереть
И обнимать ромашки, умирая...

Пускай меня за тысячу земель
Уносит жизнь! Пускай меня пронесит
По всей земле надежда и метель,
Какую кто-то больше не выносит!

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

〈1964〉

НАГРЯНУЛИ

Не было собак — и вдруг залаяли.
Поздно ночью — что за чудеса! —
Кто-то едет в поле за сараями,
Раздаются чьи-то голоса...

Не было гостей — и вот нагрянули.
Не было вестей — так получай!
И опять под ивами багряными
Расходился праздник невзначай.

Ты прости нас, полюшко усталое,
Ты прости, как братьев и сестер:
Может, мы за все свое бывалое
Разожгли последний наш костер.

Может быть, последний раз нагрянули,
Может быть, не скоро навестят...
Как по саду, садику багряному
Грустно-грустно листья шелестят.

Под луной, под гаснущими ивами
Посмотрели мой любимый край
И опять умчались, торопливые,
И пропал вдали собачий лай...

〈1966〉

* * *

В святой обители природы,
В тени разросшихся берез
Струятся омутные воды
И раздается скрип колес.

Прощальной дымкою повиты
Старушки избы над рекой.
Незабываемые виды!
Незабываемый покой!..

Усни, могучее сознание!
Но слишком явственно во мне
Вдруг отзовется увядание
Цветов, белеющих во мгле.

И неизвестная могила
Под небеса уносит ум,
А там — полночные светила
Наводят много-много дум...

〈1967〉

ЦВЕТЫ

По утрам умываясь росой,
Как цвели они! Как красовались!
Но упали они под косой,
И спросил я: — А как назывались? —
И мерещилось многие дни
Что-то тайное в этой развязке:
Слишком грустно и нежно они
Назывались — «анютины глазки».

〈1965〉

В ЛЕСУ

1

В лесу,
 под соснами,
На светлых вырубках
Все мысли слезные
Сто раз я выругал.
А ну поближе-ка
 иди к сосне!
Ах, сколько рыжиков!
Ну как во сне...
Я счастлив, родина, —
Грибов не счесть.

Но есть смородина,

малина есть.

И сыплет листья лес,
Как деньги медные, —
Спасибо, край чудес!
Но мы не бедные...
А чем утешены,

что лес покинули

Все черти, лешие
И все кикиморы?..

2

Ах, вот —

колодина!

Я плакал здесь.
От счастья, родина.
Ведь счастье есть.
И счастье дикое,
И счастье скромное,
И есть великое,
Ну, пусть — огромное.
Спасибо, родина,

что счастье есть...

3

А вот болотина.
Звериный лес.
И снова узкие

дороги скрещены, —

О эти русские
Распутья вещице!
Взгляну на ворона —
И в тот же миг
Пойду не в сторону,

а напрямик...

Я счастлив, родина.
Спасибо, родина.
Всех ягод лучше —

красная смородина...

ДУША ХРАНИТ

Вода недвижимее стекла.
И в глубине ее светло.
И только щука, как стрела,
Пронзает водное стекло.

О вид смиренный и родной!
Березы, избы по буграм
И, отраженный глубиной,
Как сон столетий, божий храм.

О, Русь — великий звездочет!
Как звезд не свергнуть с высоты,
Так век неслышно протечет,
Не тронув этой красоты,

Как будто древний этот вид
Раз навсегда запечатлен
В душе, которая хранит
Всю красоту былых времен...

<1966>

ЖАР-ПТИЦА

Когда приютит
 задремавшее стадо
Семейство берез на холме за рекой,
Пастух, наблюдая игру листопада,
Лениво сидит и болтает ногой...

Есть маленький домик в багряном лесу,
И отдыха нынче там нет и в помине:
Отец мой готовит ружье на лису
И вновь говорит о вернувшемся сыне.

А дальше за лесом —
 большая деревня.
Вороны на елках, старухи в домах.
Деревни, деревни вдали на холмах,
Меж ними село
 с колокольнею древней...

В деревне виднее природа и люди.
Конечно, за всех говорить не берусь!
Виднее над полем при звездном салюте,
На чем поднималась великая Русь.

Галопом колхозник погнал лошадей,
А мне уж мерещится русская удаль,
И манят меня огоньками уюта
Жилища, мерещится, лучших людей.

Мотало меня и на сейнере в трюме,
И так, на пирушках, во дни торжества,
И долго на ветках дорожных раздумий,
Как плод, созревала моя голова.

Не раз ко дворцу, где сиял карнавал,
Я ветреным франтом в машине катился,
Ну, словом, как бог, я везде побывал
И все же, и все же домой воротился...

— Старик! А давно ли
ты ходишь за стадом?

— Давно,— говорит.— Колокольня вдали
Деревни еще оглашала набатом,
И ночью светились в домах фитили.

— А ты не заметил, как годы прошли?

— Заметил, заметил! Попало как надо.

— Так что же нам делать, узнать интересно...

— А ты,— говорит,— полюби и жалеяй,
И помни

хотя бы родную окрестность,
Вот этот десяток холмов и полей...

— Ну ладно! Я рыжиков вам принесу...

Как просто в прекрасную глушь листопада
Уводит меня полевая ограда,
И детское пенье в багряном лесу,
И тайна древнейших строений и плит,
И только от бывшей печали, быть может,
Нет-нет да и вспомнится вдруг, затревожит,
Что осень, жар-птица,

ВОТ-ВОТ

улетит...

<1965>

Сапоги мои — скрип да скрип
Под березою,
Сапоги мои — скрип да скрип
Под осиною,
И под каждой березой — гриб,
Подберезовик,
И под каждой осиною — гриб,
Подосиновик!

Знаешь, ведьмы в такой глуши
Плачут жалобно.

И чаруют они, кружа,
Детским пением,
Чтоб такой красотой в тиши
Все дышало бы,
Будто видит твоя душа

сновидение.

И закружат твои глаза
Тучи плавные
Да брусничных глухих трясин
Лапы, лапушки...

Таковы на Руси леса
Достославные,
Таковы на лесной Руси
Сказки бабушки.
Эх, не ведьмы меня свели
С ума-разума

песней сладкою —

Закружило меня от села вдали
Плодоносное время
Краткое...

Сапоги мои — скрип да скрип
Под березою.
Сапоги мои — скрип да скрип
Под осиною.
И под каждой березой — гриб,
Подберезовик,
И под каждой осиною — гриб,
Подосиновик...

⟨1964⟩

ПРОЩАЛЬНЫЙ КОСТЕР

В краю лесов, полей, озер
Мы про свои забыли годы.
Горел прощальный наш костер,
Как мимолетный сон природы...

И ночь, растроченная вся
На драгоценные забавы,
Редет, выше вознося
Небесный купол, полный славы.

Прощай, костер! Прощайте все,
Кто нынче был со мною рядом,
Кто воздавал земной красе
Почти молитвенным обрядом...

Хотя доносятся уже
Сигналы старости грядущей,
Надежды, скрытые в душе,
Светло восходят в день цветущий.

Душа свои не помнит годы,
Так по-младенчески чиста,
Как говорящие уста
Нас окружающей природы...
<1965>

ПОЛНОЧНОЕ ПЕНЬЕ

Когда за окном
 потемнело,
Он тихо потребовал спички
И лампу зажег неумело,
Ругая жену по привычке.
И вновь колдовал
 над стаканом,
Над водкой своей, с нетерпеньем...
И долго потом не смолкало
Его одинокое пенье.
За стенкой с ребенком возились,
И плач раздавался и ругань,
Но мысли его уносились
Из этого скорбного круга...

И долго без всякого дела,
Как будто бы слушая пенью,
Жена терпеливо сидела
Его молчаливою тенью.
И только когда за оградой
Лишь сторож фонариком светит,
Она говорила: — Не надо!
Не надо! Ведь слышат соседи! —
Он грозно

вставал,

как громила.

— Я пью,— говорил,— ну и что же? —
Жена от него отходила,
Воскликнув: — О господи боже!.. —
Меж тем как она раздевалась
И он перед сном раздевался,
Слезами она заливалась,
А он соловьем

заливался...

〈1966〉

ПО ДОРОГЕ ИЗ ДОМА

Люблю ветер. Больше всего на свете.
Как воет ветер! Как стонет ветер!
Как может ветер выть и стонать!
Как может ветер за себя постоять!

О ветер, ветер! Как стонет в уши!
Как выражает живую душу!
Что сам не можешь, то может ветер
Сказать о жизни на целом свете.

Спасибо, ветер! Твой слышу стон.
Как облегчает, как мучит он!
Спасибо, ветер! Я слышу, слышу!
Я сам покинул родную крышу...

Душа ведь может, как ты, стонать.
Но так ли может за себя постоять?
Безжизнен, скучен и ровен путь.
Но стонет ветер! Не отдохнуть...

Прекрасно небо голубое!
Прекрасен поезд голубой!
— Какое место вам? — Любое.
Любое место, край любой.

Еще волнует все, что было.
В душе былое не прошло.
Но слишком дождь шумел уныло,
Как будто все произошло.

И без мечты, без потрясений
Среди одних и тех же стен
Я жил в предчувствии осеннем
Уже не лучших перемен.

— Прости, — сказал родному краю, —
За мой отъезд, за паровоз.
Я несерьезно. Я играю.
Поговорим еще всерьез.

Мы разлучаемся с тобою,
Чтоб снова встретиться с тобой.
Прекрасно небо голубое!
Прекрасен поезд голубой!

<1967>

МЕДВЕДЬ

В медведя выстрелил лесник.
Могучий зверь к сосне приник.
Застряла дробь в лохматом теле.
Глаза медведя слез полны:
За что его убить хотели?
Медведь не чувствовал вины!
Домой отправился медведь,
Чтоб горько дома пореветь...

В ГОРНИЦЕ

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.

Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень,
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!

Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

<1965>

ПАМЯТИ МАТЕРИ

Вот он и кончился,
покой!
Взметая снег, завыла вьюга.
Завыли волки за рекой
Во мраке луга.

Сижу среди своих стихов,
Бумаг и хлама.
А где-то есть во мгле снегов
Могила мамы.

Там поле, небо и стога,
Хочу туда, — о километры!
Меня ведь свалят с ног снега,
Сведут с ума ночные ветры!

Но я смогу,
но я смогу
По доброй воле

Пробить дорогу сквозь пургу
В зверином поле!..

Кто там стучит?

Уйдите прочь!

Я завтра жду гостей заветных...

А может, мама?

Может, ночь —

Ночные ветры?

〈1965〉

* * *

Наслаждаясь ветром резким,
Допоздна по вечерам
Я брожу, брожу по сельским
Белым в сумраке холмам.
Взгляд блуждает по дремотным,
По холодным небесам,
Слух внимает мимолетным,
Приглушенным голосам.
По родному захоластью
В тощих северных лесах
Не бродил я прежде с грустью,
Со слезами на глазах.
Было все — любовь и радость.
Счастье грезилось окрест.
Было все — покой и святость
Невеселых наших мест...
Я брожу... Я слышу пенье...
И в прокуренной груди
Снова слышу я волненье:
Что же, что же впереди?

〈1966〉

* * *

Окошко. Стол. Половики.

В окошке — вид реки...

Черны мои черновики.

Чисты чистовики.

За часом час уходит прочь,
Мелькает свет и тень.
Звезда над речкой — значит, ночь,
А солнце — значит, день.

Но я забуду ночь реки,
Забуду день реки:
Мне спать велят чистовики,
Вставать — черновики.

1966

РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ

Хотя проклиная проезжий
Дороги моих побережий,
Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу!

Бывает, что пылкий мальчишка
За гостем приедем по следу
В дорогу торопится слишком:
— Я тоже отсюда уеду!

Среди удивленных девчонок
Храбрится, едва из пеленок:
— Ну что по провинции шляться?
В столицу пора отправляться!

Когда ж повзрослеет в столице,
Посмотрит на жизнь за границей,
Тогда он оценит Николу,
Где кончил начальную школу...

1964

НА ВОКЗАЛЕ

Закатилось солнце за вагоны.
Вот еще один безвестный день,
Торопливый, радостный, зеленый,
Отошел в таинственную тень...

Кто-то странный (видимо, не веря,
Что поэт из бронзы, неживой)
Постоял у памятника в сквере,
Позвенел о бронзу головой,

Посмотрел на надпись с недоверьем
И ушел, посвистывая, прочь...
И опять родимую деревню
Вижу я: избушки и деревья,
Словно в омут, канувшие в ночь.

За старинный плеск ее паромный,
За ее пустынные стога
Я готов безропотно и скромно
Умереть от выстрела врага...

О вине подумаю, о хлебе,
О птенцах, собравшихся в полет,
О земле подумаю, о небе
И о том, что все это пройдет.

И о том подумаю, что все же
Нас кому-то очень будет жаль,
И опять, веселый и хороший,
Я умчусь в неведомую даль!..

<1965>

ПРОМЧАЛАСЬ ТВОЯ ПОРА!

Пасха

 под синим небом,
С колоколами и сладким хлебом,
С гульбой посреди двора,
Промчалась твоя пора!
Садилась ласточки на карниз,
Взвивались ласточки в высоту...
Но твой отвергнутый фанатизм
Увлек с собою

 и красоту.

О чем рыдают, о чем поют
Твои последние колокола?
Тому, что было, не воздают
И не горюют, что ты была.

Пасха

под синим небом,
С колоколами и сладким хлебом,
С гульбой посреди двора,
Промчалась твоя пора!..

1966

ЖУРАВЛИ

Меж болотных стволов красовался восток
огнеликий...

Вот наступит октябрь — и покажутся вдруг журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные крики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...
Широко по Руси предназначенный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полет этих гордых прославленных птиц.
Широко на Руси машут птицам согласные руки.
И забытость болот, и утраты знобящих полей —
Это выразят все, как сказанье, небесные звуки,
Далеко разгласит улетающий плач журавлей...
Вот летят, вот летят... Отворите скорее ворота!
Выходите скорей, чтоб взглянуть на высоких своих!
Вот замолкли — и вновь сиротеет душа и природа
Оттого, что — молчи! — так никто уж не выразит их...

<1965>

* * *

Седьмые сутки дождь не умолкает.
И некому его остановить.
Все чаще мысль угрюмая мелькает,
Что всю деревню может затопить.
Плывут стога. Крутятся, несутся доски.
И погрузились медленно на дно
На берегу забытые повозки,
И потонуло черное гумно.
И реками становятся дороги,
Озера превращаются в моря,
И ломится вода через пороги,
Семейные срывая якоря...

Неделю льет. Вторую льет... Картина
Такая — мы не видели грустней!
Безжизненная водная равнина,
И небо беспросветное над ней.
На кладбище затоплены могилы,
Видны еще оградные столбы,
Ворочаются, словно крокодилы,
Меж зарослей затопленных гробы,
Ломаются, всплывая, и в потемки
Под резким неслабеющим дождем
Уносятся ужасные обломки
И долго вспоминаются потом...

Холмы и рощи стали островами.
И счастье, что деревни на холмах.
И мужики, качая головами,
Перекликались редкими словами,
Когда на лодках двигались впотьмах,
И на детей покрикивали строго,
Спасали скот, спасали каждый дом
И глухо говорили: — Слава богу!
Слабеет дождь... вот-вот... еще немного...
И все пойдет обычным чередом.

⟨1966⟩

ОСЕННИЕ ЭТЮДЫ

1

Огонь в печи не спит,
перекликаясь
С глухим дождем, струящимся по крыше...
А возле ветхой сказочной часовни
Стоит береза старая, как Русь, —
И вся она как огненная буря,
Когда по ветру вытянутся ветви
И зашумят, охваченные дрожью,
И листья долго валяются с ветвей,
Вокруг ствола лужайку устилая...

Когда стихает яростная буря,
Сюда приходит девочка-малютка
И робко так садится на качели,
Закутываясь в бабушкину шаль.

Скрипят, скрипят под ветками качели,
И так шумит над девочкой береза
И так вздыхает горестно и страстно,
Как будто человеческою речью
Она желает что-то рассказать.
Они друг другу так необходимы!

Но я нарушил их уединенье,
Когда однажды шлялся по деревне
И вдруг спросил играючи: «Шалунья!
О чем поешь?» Малютка отвернулась
И говорит: «Я не пою, я плачу...»
Вокруг меня все стало так уныло!
Но в наши годы плакать невозможно,
И каждый раз, себя преодолевая,
Мы говорим: «Все будет хорошо».

2

И вот среди осеннего безлюдья
Раздался бодрый голос человека:
— Как много нынче клюквы на болоте!
— Как много нынче клюквы на болоте! —
Во всех домах тотчас отозвалось...
От всех чудес всемирного потопа
Досталось нам безбрежное болото,
На сотни верст усыпанное клюквой,
Овеянное сказками и былью
Прошедших здесь крестьянских поколений...
Зовешь, зовешь... Никто не отзовется...
И вдруг уснет могучее сознание,
И вдруг уснут мучительные страсти,
Исчезнет даже память о тебе.
И в этом сне картины нашей жизни,
Одна другой туманнее, толпятся,
Покрытые миражной поволокой
Безбрежной тишины и забвения.
Лишь глухо стонет дерево сухое:‡
«Как хорошо! — я думал. — Как прекрасно!»
И вздрогнул вдруг, как будто пробудился,
Услышав странный посторонний звук.

Змея! Да, да! Болотная гадюка
За мной все это время наблюдала

И все ждала, шипя и извиваясь...
Мираж пропал. Я весь похолодел.
И прочь пошел, дрожа от омерзенья,
Но в этот миг, как туча, над болотом
Взлетели с криком яростные птицы,
Они так низко начали кружиться
Над головой моею одинокой,
Что стало мне опять не по себе...

«С чего бы это птицы взбеленились? —
Подумал я, все больше беспокоясь. —
С чего бы змеи начали шипеть?»

И понял я, что это не случайно,
Что весь на свете ужас и отравы
Тебя тотчас открыто окружают,
Когда увидят вдруг, что ты один.
Я понял это как предупрежденье, —
Мол, хватит, хватит шляться по болоту!
Да, да, я понял их предупрежденье, —
Один за клюквой больше не пойду...

3

Прошел октябрь. Пустынно за овином.
Звенит снежок в траве обледенелой,
И глохнет жизнь под небом оловянным,
И лишь почтовый трактор хлопотливо
Туда-сюда мотается чуть свет,
И только я с поникшей головою,
Как выражение осени живое,
Проникнутый тоской ее и дружбой,
По косогорам родины брожу
И одного сильнее всего желаю —
Чтоб в этот день осеннего распада
И в близкий день ревущей снежной бури
Всегда светила нам, не унывая,
Звезда труда, поэзии, покоя,
Чтоб и тогда она торжествовала,
Когда не будет памяти о нас...

Октябрь 1965

А между прочим, осень на дворе.
 Ну что ж, я вижу это не впервые.
 Скулит собака в мокрой конуре,
 Залечивая раны боевые.
 Бегут машины, мчатся напрямик
 И вдруг с ухаба шлепаются в лужу,
 Когда, буксуя, воеет грузовик,
 Мне этот вой выматывает душу.
 Кругом шумит холодная вода,
 И все кругом расплывчато и мглисто.
 Незримый ветер, словно в невода,
 Со всех сторон затягивает листья...
 Раздался стук. Я выдернул засов.
 Я рад обняться с верными друзьями.
 Повеселились несколько часов,
 Повеселились с грустными глазами...
 Когда в сенах опять простились мы,
 Я первый раз так явственно услышал,
 Как о суровой близости зимы
 Тяжелый ливень жаловался крышам.
 Прошла пора, когда в зеленый луг
 Я отворял узорное оконце —
 И все лучи, как сотни добрых рук,
 Мне по утрам протягивало солнце...

⟨1966⟩

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Я уеду из этой деревни...
 Будет льдом покрываться река,
 Будут ночью поскрипывать двери,
 Будет грязь на дворе глубока.

Мать придет и уснет без улыбки...
 И в затерянном сером краю
 В эту ночь у берестяной зыбки
 Ты оплачешь измену мою.

Так зачем же, прищурив ресницы,
 У глухого болотного пня
 Спелой клюквой, как добрую птицу,
 Ты с ладони кормила меня.

Слышишь, ветер шумит по сараю?
Слышишь, дочка смеется во сне?
Может, ангелы с нею играют
И под небо уносятся с ней...

Не грусти! На знобющем причале
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.

Мы с тобою как разные птицы!
Что ж нам ждать на одном берегу?
Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу.

Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой, настигающий топот
Все мне слышится, словно в бреду.

Но однажды я вспомню про куклу,
Про любовь твою в сером краю
И пошлю вам чудесную куклу,
Как последнюю сказку свою.

Чтобы девочка, куклу качая,
Никогда не сидела одна.
— Мама, мамочка! Кукла какая!
И мигает, и плачет она...

<1966>

ОСТРОВА СВОИ ОБОГРЕВАЕМ

Захлебнулось поле и болото
Дождевой водою — дождались!
Прозябаньем, бедностью, дремотой
Все объято — впадины и высь!

Ночь придет — родимая окрестность.
Словно в омут, канет в темноту!
Темнота, забытость, неизвестность
У ворот, как стража на посту.

По воде, качаясь, по болотам
Бор скрипучий движется, как флот!
Как же мы, отставшие от флота,
Коротаем осень меж болот?

Острова свои обогреваем
И живем без лишнего добра,
Да всегда с огнем и урожаем,
С колыбельным пеньем до утра...

Не кричи так жалобно, кукушка,
Над водой, над стужею дорог!
Мать России целой — деревушка,
Может быть, вот этот уголок...

1966

ОСЕННЯЯ ЛУНА

Грустно, грустно последние листья,
 Не играя уже, не горя,
Под гнетущей погаснувшей высью,
Над заслеженной грязью и слизью
 Осыпались в конце октября!

И напрасно так шумно, так слепо,
 Приподнявшись, неслись над землей,
Словно где-то не кончилось лето,
Может, там, за расхлябанным следом, —
 За тележной цыганской семьей!

Люди жили тревожней и тише,
 И смотрели в окно иногда, —
Был на улице говор не слышен,
Было слышно, как воют над крышей
 Ветер, ливень, труба, провода...

Так зачем, проявляя участие,
 Между туч пронесилась луна
И светилась во мраке ненастья,
Словно отблеск весеннего счастья,
 В красоте неизменной одна?

Под луной этой светлой и быстрой
Мне еще становилось грустней
Видеть табор под бурею мгlistой,
Видеть ливень и грязь, и со свистом
Ворох листьев, летящий над ней...

⟨1966⟩

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ *

Потонула во тьме отдаленная пристань.
По канаве помчался, эх, осенний поток!
По дороге неслись сумасшедшие листья,
И всю ночь раздавался милицейский свисток.

Я в ту ночь позабыл все хорошие вести,
Все призывы и звоны из Кремлевских ворот.
Я в ту ночь полюбил все тюремные песни,
Все запретные мысли, весь гонимый народ.

Ну так что же? Пускай рассыпаются листья!
Пусть на город нагрянет затаившийся снег!
На тревожной земле, в этом городе мгlistом
Я по-прежнему добрый, неплохой человек.

А последние листья вдоль по улице гулкой
Все неслись и неслись, выбиваясь из сил.
На меня надвигалась темнота закоулков,
И архангельский дождик на меня моросил...

1962

* * *

Ветер всхлипывал, словно дитя,
За углом потемневшего дома.
На широком дворе, шелестя,
По земле разлеталась солома...

Мы с тобой не играли в любовь,
Мы не знали такого искусства,
Просто мы у поленницы дров
Целовались от странного чувства.

Разве можно расстаться шутя,
Если так одиноко у дома,
Где лишь плачущий ветер-дитя
Да поленница дров и солома.

Если так потемнели холмы,
И скрипят, не смолкая, ворота,
И дыхание близкой зимы
Все слышней с ледяного болота...

〈1967〉

ВОРОНА

Вот ворона сидит на заборе.
Все амбары давно на запоре.
Все обозы прошли, все подводы,
Наступила пора непогоды.

Суетится она на заборе.
Горе ей. Настоящее горе!
Ведь ни зернышка нет у вороны
И от холода нет обороны...

〈1963〉

НОЧЬ НА ПЕРЕВОЗЕ

Осень
 кончилась —
 сильный ветер
Заметает ее следы!
И болотная пленка воды
Замерзает при звездном свете.
И грустит,
 как живой,
 и долго
Помнит свой сенокосный рай
Высоко над рекой, под елкой,
Полусгнивший пустой сарай...
От безлюдья и мрака
 хвойных
Побережий, полей, болот

РУССКИЙ ОГОНЕК

Погружены

 в томительный мороз,
Вокруг меня снега оцепенели.
Оцепенели маленькие ели,
И было небо темное, без звезд.
Какая глушь! Я был один живой.
Один живой в бескрайнем мертвом поле!

Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?)
Мелькнул в пустыне,
 как сторожевой...

Я был совсем как снежный человек,
Входя в избу (последняя надежда!),
И услышал, отряхивая снег:
— Вот печь для вас и теплая одежда...—
Потом хозяйка слушала меня,
Но в тусклом взгляде
Жизни было мало,
И, неподвижно сидя у огня,
Она совсем, казалось, задремала...

Как много желтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне
И поразил
Сиротский смысл семейных фотографий:

Огнем, враждой
Земля полным-полна,
И близких всех душа не позабудет...
— Скажи, родимый,
Будет ли война? —
И я сказал: — Наверное, не будет.

— Дай бог, дай бог...
Ведь всем не угодишь,
А от раздора пользы не прибудет...—
И вдруг опять:
— Не будет, говоришь?
— Нет,— говорю,— наверное, не будет.
— Дай бог, дай бог...
И долго на меня
Она смотрела, как глухонемая,

И, головы седой не поднимая,
Опять сидела тихо у огня.
Что снилось ей?
Весь этот белый свет,
Быть может, встал пред нею в то мгновенье?
Но я глухим брэнчанием монет
Прервал ее старинные виденья...
— Господь с тобой! Мы денег не берем!
— Что ж, — говорю, — желаю вам здоровья!
За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...

Спасибо, скромный русский огонек,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далек,
За то, что, с доброй верою друга,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле — и нет тебе покоя...

⟨1965⟩

ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...

⟨1964⟩

3

СОСЕН ШУМ

ТОТ ГОРОД ЗЕЛЕНый...

Тот город зеленый и тихий
Отрадно заброшен и глух.
Достойно, без лишней шумихи,
Поет, как в деревне, петух
На площади главной... Повозка
Порой громыхнет через мост,
А там, где овраг и березка,
Столпился народ у киоска
И тянет из ковшика морс,
И мухи летают в крапиве,
Блаженствуя в летнем тепле...
Ну что там отрадней, счастливей
Бывает еще на земле?
Взгляну я во дворик зеленый —
И сразу порадуют взор
Земные друг другу поклоны
Людей, выходящих во двор.
Сорву я цветок маттиолы
И вдруг заволнуюсь всерьез:
И юность, и плач радиолы
Я вспомню, и полные слез
Глаза моей девочки нежной
Во мгле, когда гаснут огни...
Как я целовал их поспешно!
Как после страдал безутешно!
Как верил я в лучшие дни!
Ну что ж? Моя грустная лира,
Я тоже простой человек, —
Сей образ прекрасного мира

Мы тоже оставим навек.
Но вечно пусть будет все это,
Что свято я в жизни любил:
Тот город, и юность, и лето,
И небо с блуждающим светом
Неясных небесных светил...

⟨1969⟩

ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД

Памяти А. Яшина

...Мы сразу стали тише и взрослей.
Одно поют своим согласным хором
И темный лес, и стаи журавлей
Над тем Бобришным дремлющим угором...

В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, разбрызгивая воду, —
Скажите мне, кто был тогда не рад?
Смеясь, ходили мы по пароходу.
А он, большой, на борт облокотясь, —
Он, написавший столько мудрых книжек, —
Смотрел туда, где свет зари и грязь
Меж потонувших в зелени домишек.
И нас, пестрея, радовала вязь
Густых ветвей, заборов и домишек,
Но он, глазами грустными смеясь,
Порой смотрел на нас, как на мальчишек...

В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, разбрызгивая воду, —
Скажите, кто вернулся бы назад?
Смеясь, ходили мы по пароходу.
А он, больной, скрывая свой недуг, —
Он, написавший столько мудрых книжек, —
На целый день расстраивался вдруг
Из-за каких-то мелких окунишек.

И мы, сосредоточась, чуть заря,
Из водных трав таскали окунишек,
Но он, всерьез о чем-то говоря,
Порой смотрел на нас, как на мальчишек...

В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, встречаемый народом...
Скажите мне, кто в этом виноват,
Что пароход, где смех царил и лад,
Стал для него последним пароходом?
Что вдруг мы стали тише и взрослей,
Что грустно так поют суровым хором
И темный лес, и стаи журавлей
Над беспробудно дремлющим угором...

⟨1969⟩

ВЕЧЕРНИЕ СТИХИ

Когда в окно осенний ветер свищет
И вносит в жизнь смятенье и тоску, —
Не усидеть мне в собственном жилище,
Где в час такой меня никто не ищет, —
Я уплыву за Вологду-реку!

Перевезет меня дощатый катер
С таким родным на мачте огоньком!
Перевезет меня к блондинке Кате,
С которой я, пожалуй что некстати,
Там много лет — не больше чем знаком.

Она спокойно служит в ресторане,
В котором дело так заведено,
Что на окне стоят цветы герани,
И редко здесь бывает голос брани,
И подают кадуйское вино.

В том ресторане мглисто и уютно,
Он на волнах качается чуть-чуть,
Пускай сосед поглядывает мутно
И задает вопросы поминутно, —
Что ж из того? Здесь можно отдохнуть!

Сижу себе, разглядываю спину
Кого-то уходящего в плаще,
Хочу запеть про тонкую рябину,
Или про чью-то горькую чужбину,
Или о чем-то русском вообще.

Вникаю в мудрость древних изречений
О сложном смысле жизни на земле.
Я не боюсь осенних помрачений!
Я полюбил ненастный шум вечерний,
Огни в реке и Вологду во мгле.

Смотрю в окно и вслушиваюсь в звуки,
Но вот, явившись в светлой полосе,
Идут к столу, протягивают руки
Бог весть откуда взявшиеся други,
— Скучаешь?
— Нет! Присаживайтесь все.

Вдоль по мосткам несется листьев ворох, —
Видать в окно — и слышен ветра стон,
И слышен волн печальный шум и шорох,
И, как живые, в наших разговорах
Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон.

Когда опять на мокрый дикий ветер
Выходим мы, подняв воротники,
Каким-то грустным таинством на свете
У темных волн, в фонарном тусклом свете
Пройдет прощанье наше у реки.

И снова я подумаю о Кате,
О том, что ближе буду с ней знаком,
О том, что это будет очень кстати,
И вновь домой меня увозит катер
С таким родным на мачте огоньком...

⟨1969⟩

ЛАСТОЧКА

Ласточка носится с криком.
Выпал птенец из гнезда.
Дети окрестные мигом
Все прибежали сюда.

Взял я осколок металла,
Вырыл могилку птенцу,
Ласточка рядом летала,
Словно не веря концу.

Долго носилась, рыдая,
Под мезонином своим...
Ласточка! Что ж ты, родная,
Плохо смотрела за ним?

〈1968〉

ПОЭЗИЯ

Теперь она, как в дымке, островками
Глядит на нас, покорная судьбе, —
Мелькнет порой лугами, ветряками —
И вновь закрыта дымными веками...
Но тем сильнее влечет она к себе!

Мелькнет покоя сельского страница,
И вместе с чувством древности земли
Такая радость на душе струится,
Как будто вновь поет на поле жница,
И дни рекой зеркальной потекли...

Снега, снега... За линией железной
Укрomный, чистый вижу уголок.
Пусть век простит мне ропот бесполезный,
Но я молю, чтоб этот вид безвестный
Хотя б вокзальный дым не заволок!

Пусть шепчет бор, серебряно-янтарный,
Что это здесь при звоне бубенцов
Расцвел душою Пушкин легендарный,
И снова мир дивился благодарный:
Пришел отсюда сказочный Кольцов!

Железный путь зовет меня гудками,
И я бегу... Но мне не по себе,
Когда она за дымными веками
Избой в снегах, лугами, ветряками
Мелькнет порой, покорная судьбе...

1969

ПО ДРОВА

Мимо изгороди шаткой,
Мимо разных мест
По дрова спешит лошадка
В Сиперово, в лес.

Дед Мороз идет навстречу.
— Здравствуй!
— Будь здоров!..
Я в стихах увековечу
Заготовку дров.

Пахнет елками и снегом,
Бодро дышит грудь,
И лошадка легким бегом
Продолжает путь.

Привезу я дочке Лене
Из лесных даров
Медвежонка на колене,
Кроме воза дров.

Мимо изгороди шаткой,
Мимо разных мест
Вот и въехала лошадка
В Сиперово, в лес.

Нагружу большие сани
Да махну кнутом
И как раз поспею к бане,
С веником притом!

Ноябрь 1965

* * *

По холодной осенней реке
Пароход последний плывет, —
Скоро, скоро в глухом городке
Зазимует районный флот.

Я уйду по знакомой тропе
Над родной ледоносной рекой

И в заснеженной русской избе
Зазимую с веселой вдовой.

Зазимую без всяких забот,
Как зимует у пристани флот...

〈1969〉

ПО ДОРОГЕ К МОРЮ

Въезжаем в рощу золотую,
В грибную бабушкину глушь.
Лошадка встряхивает сбрую
И пьет порой из теплых луж.

Вот показались вдоль дороги
Поля, деревни, монастырь,
А там — с кустарником убогим
Унылый тянется пустырь.

Я рад тому, что мы кочуем,
Я рад садам монастыря
И мимолетным поцелуям
Прохладных листьев сентября.

А где-то в солнечном Тифлисе
Ты ждешь меня на той горе,
Где в теплый день, при легком бризе,
Прощались мы лицом к заре.

Я опечален: та вершина
Крута. А ты на ней одна.
И азиатская чужбина
Бог знает что за сторона?

Еще он долгов по селеньям,
Мой путь к морскому кораблю,
И, как тебе, цветам осенним
Я все шепчу: «Люблю, люблю...»

ПРО ЗАЙЦА

Заяц в лес бежал по лугу,
Я из лесу шел домой, —
Бедный заяц с перепугу
Так и сел передо мной!

Так и обмер, бестолковый,
Но, конечно, в тот же миг
Поскакал в лесок сосновый,
Слыша мой веселый крик.

И еще, наверно, долго
С вечной дрожью в тишине
Думал где-нибудь под елкой
О себе и обо мне.

Думал, горестно вздыхая,
Что друзей-то у него
После дедушки Мазая
Не осталось никого.

⟨1969⟩

ПОДОРОЖНИКИ

Топ да топ от кустика до кустика —
Неплохая в жизни полоса.
Пролегла дороженька до Устюга
Через город Тотьму и леса.

Приуныли нынче подорожники
Потому что, плача и смеясь,
Все прошли бродяги и острожники —
Грузовик разбрызгивает грязь.

Приуныли в поле колокольчики.
Для людей мечтают позвенеть,
Но цветов певучие бутончики
Разве что послушает медведь.

Разве что от кустика до кустика
По следам давно усопших душ
Я пойду, чтоб думами до Устюга
Погружаться в сказочную глушь.

Где мое приветили рождение
И трава молочная, и мед,
Мне приятно даже мух гудение,
Муха — это тоже самолет.

Всю пройду дороженьку до Устюга
Через город Тотьму и леса,
Топ да топ от кустика до кустика —
Неплохая в жизни полоса!

1969

НА НОЧЛЕГЕ

Лошадь белая в поле темном.
Воет ветер, бурлит овраг,
Светит лампа в избе укромной,
Освещая осенний мрак.

Подмерзая, мерцают лужи...
«Что ж, — подумал, — зайду давай?»
Посмотрел, покурил, послушал
И ответил мне: — Ночевай!

И отправился в темный угол,
Долго с лавки смотрел в окно
На поблекшие травы луга...
Хоть бы слово еще одно!

Есть у нас старики по селам,
Что утратили будто речь:
Ты с рассказом к нему веселым —
Он без звука к себе на печь.

Знаю, завтра разбудит только
Словом будничным, кратким столь.
Я спрошу его: — Надо сколько? —
Он ответит: — Не знаю, сколь!

И отправится в тот же угол,
Долго будет смотреть в окно
На поблекшие травы луга...
Хоть бы слово еще одно!..

Ночеваю! Глухим покоем
Сумрак душу врачует мне,
Только маятник с тихим боем
Все качается на стене,

Только изредка над паромной
Над рекою, где бакен желт,
Лошадь белая в поле темном
Вскинет голову и заржет...

1968

ВОЛОГОДСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Живу вблизи пустого храма,
На крутизне береговой,
И городская панорама
Открыта вся передо мной.
Пейзаж, меняющий обличье,
Мне виден весь со стороны
Во всем таинственном величье
Своей глубокой старины.

Там, за рекою, свалка бревен,
Подъемный кран, гора песка,
И торопливо — час не ровен! —
Полощут женщины с мостка
Свое белье — полны до края
Корзины этого добра,
А мимо, волны нагоняя,
Летят и воют катера.

Сады. Желтеющие зданья
Меж зеленеющих садов
И темный, будто из преданья,
Квартал дряхлеющих дворов,
Архитектурный чей-то опус,
Среди квартала... Дым густой...
И третий, кажется, автобус
Бежит по линии шестой.

Где строят мост, где роют яму,
Везде при этом крик ворон,
И обрывает панораму
Невозмутимый небосклон.

Кончаясь лишь на этом склоне,
Видны повсюду тополя,
И там, светясь, в тумане тонет
Глава безмолвного кремля...

⟨1969⟩

ПОЕЗД

Поезд мчался с грохотом и воем,
Поезд мчался с лязганьем и свистом,
И ему навстречу желтым роем
Понеслись огни в просторе мгlistом.
Поезд мчался с полным напряженьем
Мощных сил, уму непостижимых,
Перед самым, может быть, крушеньем
Посреди миров несокрушимых.
Поезд мчался с прежним напряженьем
Где-то в самых дебрях мирозданья,
Перед самым, может быть, крушеньем,
Посреди явлений без названья...
Вот он, глазом огненным сверкая,
Вылетает... Дай дорогу, пеший!
На разъезде где-то, у сарая,
Подхватил меня, понес меня, как леший!
Вместе с ним и я в просторе мгlistом
Уж не смею мыслить о покое,—
Мчусь куда-то с лязганьем и свистом,
Мчусь куда-то с грохотом и воем,
Мчусь куда-то с полным напряженьем
Я, как есть, загадка мирозданья.
Перед самым, может быть, крушеньем
Я кричу кому-то: «До свиданья!..»
Но довольно! Быстрое движенье
Все смелее в мире год от году,
И какое может быть крушенье,
Если столько в поезде народу?

1969

ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ

Внезапно небо прорвалось
С холодным пламенем и громом!
И ветер начал вкривь и вкось
Качать сады за нашим домом.

Завеса мутного дождя
Заволокла лесные дали.
Кромсая мрак и бороздя,
На землю молнии слетали!

И туча шла гора горой!
Кричал пастух, металось стадо,
И только церковь под грозой
Молчала набожно и свято.

Молчал, задумавшись, и я,
Привычным взглядом созерцая
Зловещий праздник бытия,
Смятенный вид родного края.

И все раскалывалась высь,
Плач раздавался колыбельный,
И стрелы молний все неслись
В простор тревожный, беспредельный...

ДЕТСТВО

Мать умерла.
Отец ушел на фронт.
Соседка злая
Не дает проходу.
Я смутно помню
Утро похорон
И за окошком
Скудную природу.

Откуда только —
Как из-под земли! —
Взялись в жильё
И сумерки, и сырость...
Но вот однажды
Все переменялось,

За мной пришли,
Куда-то повезли.

Я смутно помню
Позднюю реку,
Огни на ней,
И скрип, и плеск парома,
И крик «Скорей!»,
Потом раскаты грома
И дождь... Потом
Детдом на берегу.

Вот говорят,
Что скуден был паек,
Что были ночи
С холодом, с тоскою, —
Я лучше помню
Ивы над рекою
И запоздалый
В поле огонек.

До слез теперь
Любимые места!
И там, в глуши,
Под крышею детдома
Для нас звучало,
Как-то незнакомо,
Нас оскорбляло
Слово «сирота».

Хотя старушки
Местных деревень
И впрямь на нас
Так жалобно глядели,
Как на сирот несчастных,
В самом деле,
Но время шло,
И приближался день,

Когда раздался
Праведный салют,
Когда прошла
Военная морока,
И нам подъем
Объявлен был до срока,

И все кричали:
— Гитлеру капут!

Еще прошло
Немного быстрых лет,
И стало грустно вновь:
Мы уезжали!
Тогда нас всей
Деревней провожали,
Туман покрыл
Разлуки нашей след...

1967

НОЧЬ НА РОДИНЕ

Высокий дуб. Глубокая вода.
Спокойные кругом ложатся тени.
И тихо так, как будто никогда
Природа здесь не знала потрясений!

И тихо так, как будто никогда
Здесь крыши сел не слыхивали грома!
Не встрепенется ветер у пруда,
И на дворе не зашуршит солома,

И редок сонный коростеля крик...
Вернулся я — былое не вернется!
Ну что же? Пусть хоть это остается,
Продлится пусть хотя бы этот миг,

Когда души не трогает беда,
И так спокойно двигаются тени,
И тихо так, как будто никогда
Уже не будет в жизни потрясений,

И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром...

⟨1967⟩

ШУМИТ КАТУНЬ

...Как я подолгу слушал этот шум,
Когда во мгле горел закатный пламень!
Лицом к реке садился я на камень
И все глядел, задумчив и угрюм,

Как мимо башен, идиолов, гробниц
Катунь неслась широкою лавиной,
И кто-то древней клинописью птиц
Записывал напев ее былинный...

Катунь, Катунь — свирепая река!
Поет она таинственные мифы
О том, как шли воинственные скифы, —
Они топтали эти берега!

И Чингисхана сумрачная тень
Над целым миром солнце затмевала,
И черный дым летел за перевалы
К стоянкам светлых русских деревень...

Все поглотил столетий темный зев!
И все в просторе сказочно-огнистом
Бежит Катунь с рыданием и свистом —
Она не может успокоить гнев!

В горах погаснет солнечный июнь,
Заснут во мгле печальные айлы,
Молчат цветы, безмолвствуют могилы,
И только слышно, как шумит Катунь...

1967

ПЛЫТЬ, ПЛЫТЬ...

В жарком тумане дня
Сонный встряхнем фиорд!
— Эй, капитан! Меня
Первым прими на борт!

Плыть, плыть, плыть
Мимо могильных плит,
Мимо церковных рам,
Мимо семейных драм...

Скучные мысли — прочь!
Думать и думать — лень!
Звезды на небе — ночь!
Солнце на небе — день!

Плыть, плыть, плыть
Мимо родной ветлы,
Мимо зовущих нас
Милых сиротских глаз...

Если умру — по мне
Не зажигай огня!
Весть передай родне
И посети меня.

Где я зарыт, спроси
Жителей дальних мест,
Каждому на Руси
Памятник — добрый крест!

Плыть, плыть, плыть...

⟨1970⟩

ИДЕТ ПРОЦЕССИЯ

Идет процессия за гробом.
Долга дорога в полверсты.
На ветхом кладбище — сугробы
И в них увязшие кресты.

И длится, длится поневоле
Тяжелых мыслей череда,
И снова слышно, как над полем
Негромко стонут провода.

Трещат крещенские морозы.
Идет народ... Все глубже снег...
Все величавее березы...
Все ближе к месту человек.

Он в ласках мира, в бурях века
Достойно дожил до седин.
И вот... Хоронят человека...
— Снимите шапку, гражданин!

НА АВТОТРАССЕ

Какая зловещая трасса!
Какая суровая быль!
Шоферы высокого класса
Газуют сквозь ветер и пыль.

Газуют во мраке таежном
По рытвинам в грозной ночи...
— Эй! Где тут начальник дорожный?
— Лежит у себя на печи...

Шоферы уносятся с матом,
Начальству от них не уйти!
Но словно с беспомощным братом
Со мной обошлись по пути.

Я шел, свои ноги калеча,
Глаза свои мучая тьмой...
— Куда ты?
— В деревню Предтеча.
— Откуда?
— Из Тотьмы самой...

За мною захлопнулась дверца,
И было всю ночь напролет
Так жутко и радостно сердцу,
Что все мы несемся вперед,

Что все мы почти над кюветом
Несемся куда-то стрелой,
И есть соответствие в этом
С характером жизни самой!

1968

ИВА

Зачем ты, ива, вырастаешь
Над судоходною рекой
И волны мутные ласкаешь,
Как будто нужен им покой?

Преград не зная и обходов,
Бездумно жизнь твою губя,
От проходящих пароходов
Несутся волны на тебя!

А есть укромный край природы,
Где под церковною горой
В тени мерцающие воды
С твоей ласкаются сестрой...

⟨1969⟩

ОТПЛЫТИЕ

Размытый путь. Кривые тополя.
Я слушал шум — была пора отлета.
И вот я встал и вышел за ворота,
Где простирались желтые поля,

И вдаль пошел... Вдали тоскливо пел
Гудок чужой земли, гудок разлуки!
Но, глядя вдаль и вслушиваясь в звуки,
Я ни о чем еще не сожалел...

Была суровой пристань в поздний час.
Искрясь, во тьме горели папиросы,
И трап стонал, и хмурые матросы
Устало поторапливали нас.

И вдруг такой повеяло с полей
Тоской любви, тоской свиданий кратких!
Я уплывал... все дальше... без оглядки
На мгlistый берег юности своей.

⟨1967⟩

ЭКСПРОМТ

Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводе,
Потом еще на чем-то вроде,
Потом верхом, потом пешком
Пройду по волоку с мешком —
И буду жить в своем народе!

ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУГУ

Замерзают мои георгины.
И последние ночи близки.
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки...

Нет, меня не порадует — что ты! —
Одинокая странствий звезда.
Пролетели мои самолеты,
Просвистели мои поезда.

Прогудели мои пароходы,
Проскрипели телеги мои, —
Я пришел к тебе в дни непогоды,
Так изволь, хоть водой напои!

Не порвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя,
В пугачевские вольные степи,
Где гуляла душа бунтаря.

Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали...

Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!

⟨1967⟩

СОСЕН ШУМ

В который раз меня приветил
Уютный древний Липин Бор,
Где только ветер, снежный ветер
Заводит с хвоей вечный спор.

Какое русское селенье!
Я долго слушал сосен шум,
И вот явилось просветленье
Моих простых вечерних дум.

Сижу в гостинице районной,
Курю, читаю, печь топлю,
Наверно, будет ночь бессонной,
Я так порой не спать люблю!

Да как же спать, когда из мрака
Мне будто слышен глас веков,
И свет соседнего барака
Еще горит во мгле снегов.

Пусть завтра будет путь морозен,
Пусть буду, может быть, угрюм,
Я не просплю сказанье сосен,
Старинных сосен долгий шум...

1967

В СТАРОМ ПАРКЕ

Песчаный путь
В еловый темный лес.
В зеленый пруд
Упавшие деревья.
И бирюза,
И огненные перья
Ночной грозой
Вымытых небес!

Желтея грустно,
Старый особняк
Стоит в глуши
Запущенного парка —
Как дико здесь!
Нужна покрепче палка,
Чтоб уложить
Крапиву кое-как...

Покрывшись пеплом,
Гаснет бирюза.
И там, во тьме
Унылого строения,
Забытого навек
Без сожаленья,
Горят кошачьи
Желтые глаза.

Не отыскать
Заросшие следы,
Ничей приход
Не оживит картины,
Лишь манят, вспыхнув,
Ягоды малины
Да редких вишен
Крупные плоды.

Здесь барин жил.
И может быть, сейчас,
Как старый лев,
Дряхлея на чужбине,
Об этой сладкой
Вспомнил он малине,
И долго слезы
Катятся из глаз...

Подует ветер!
Сосен темный ряд
Вдруг зашумит,
Застонет, занеможет,
И этот шум
Волнует и тревожит,
И не понять,
О чем они шумят.

⟨1967⟩

ЗЕЛЕННЫЕ ЦВЕТЫ

Светлеет грусть, когда цветут цветы,
Когда брожу я многоцветным лугом
Один или с хорошим давним другом,
Который сам не терпит суеты.

За нами шум и пыльные хвосты —
Все улеглось! Одно осталось ясно —
Что мир устроен грозно и прекрасно,
Что легче там, где поле и цветы.

Остановившись в медленном пути,
Смотрю, как день, играя, расцветает.
Но даже здесь... чего-то не хватает...
Недостает того, что не найти.

Как не найти погаснувшей звезды,
Как никогда, бродя цветущей степью,
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зеленые цветы...

<1967>

В ПУСТЫНЕ

Сотни лет,
Пролетевших без вести.
Сотни лет,
Сверхъестественно злой,
Как задуманный
Кем-то для мести,
Сотни лет
Над пустынями зной!

Шли с проклятьями
Все караваны...
Кто ж любил вас?
И кто вас ласкал?
Кто жалел
Погребенные страны
Меж песков
И обрушенных скал?

Хриплым криком
Тревожа гробницы,
Поднимаются,
Словно кресты,
Фантастически мрачные
Птицы,
Одинокие птицы пустынь...
Но и в мертвых
Песках без движенья,
Как под гнетом
Неведомых дум,
Зреет жгучая
Жажда сраженья,
В каждом шорохе
Зреет самум!..

1968

ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Я тоже служил на флоте!
Я тоже памятью полн
О той бесподобной работе —
На гребнях чудовищных волн.

Тобою — ах, море, море! —
Я взвинчен до самых жил,
Но, видно, себе на горе
Так долго тебе служил...

Любимая чуть не убилась, —
Ой, мама родная земля! —
Рыдая, о грудь мою билась,
Как море о грудь корабля.

В печали своей бесконечной,
Как будто вослед кораблю,
Шептала: «Я жду вас... вечно»,
Шептала: «Я вас... люблю».

Люблю вас! Какие звуки!
Но звуки ни то ни се, —
И где-то в конце разлуки
Забыла она про все.

Однажды с какой-то дороги
Отправила пару слов:
«Мой милый! Ведь так у многих
Проходит теперь любовь...»

И все же в холодные ночи
Печальней видений других —
Глаза ее, близкие очень,
И море, отнявшее их.

⟨1970⟩

РАСПЛАТА

Я забыл, что такое любовь,
И под лунным над городом светом
Столько выпалил клятвенных слов,
Что мрачнее, как вспомню об этом.

И однажды, прижатый к стене
Безобразьем, идущим по следу,
Одиноко я вскрикну во сне
И проснусь, и уйду, и уеду...

Поздно ночью откроется дверь.
Невеселая будет минута.
У порога я встану, как зверь,
Захотевший любви и уюта.

Побледнеет и скажет: — Уйди!
Наша дружба теперь позади!
Ничего для тебя я не значу!
Уходи! Не гляди, что я плачу!..

И опять по дороге лесной
Там, где свадьбы, бывало, летели,
Неприкаянный, мрачный, ночной,
Я тревожно уйду по метели...

1970

НА СЕНОКОСЕ

С утра носились,
Сенокосили,
Отсенокосили, пора!
В костер устало
Дров подбросили
И помолчали у костра.

И вот опять
Вздыхают женщины —
О чем-то думается им?
А мужики лежат,
Блаженствуя,
И в небеса пускают дым!

Они толкуют
О политике,
О новостях, о том, о сем,
Не критикуют
Ради критики,
А мудро судят обо всем,

Мертвый снег,
ты зачем
не даешь мне покоя?

1962

КУПАВЫ

Как далеко дороги пролегли!
Как широко раскинулись уголья!
Как высоко над зыбким половодьем
Без остановки мчатся журавли!

В лучах весны — зови иль не зови! —
Они кричат все радостней, все ближе...
Вот снова игры юности, любви
Я вижу здесь... но прежних не увижу.

И обступают бурную реку
Все те ж цветы... но девушки другие,
И говорить не надо им, какие
Мы знали дни на этом берегу.

Бегут себе, играя и дразня,
Я им кричу: — Куда же вы? Куда вы?
Взгляните ж вы, какие здесь купавы! —
Но разве кто послушает меня...

<1967>

БЕССОННИЦА

Окно, светящееся чуть.
И редкий звук с ночного омута.
Вот есть возможность отдохнуть...
Но как пустынна эта комната!

Мне странно кажется, что я
Среди отжившего, минувшего,
Как бы в каюте корабля,
Бог весть когда и затонувшего,

Что не под этим ли окном,
Под запыленною картиною
Меня навек затаяет сном,
Как будто илом или тиною.

За мыслью мысль — какой-то бред,
За тенью тень — воспоминания,
Реальный звук, реальный свет
С трудом доходят до сознания.

И так раздумаешься вдруг,
И так всему придашь значение,
Что вместо радости — испуг,
А вместо отдыха — мучение...

〈1969〉

СЛЕЗ НЕ ЛЕЙ...

Есть пора — души моей отрада:
Зыбко все, но зелено уже!
Есть пора осеннего распада,
Это тоже родственно душе.

Грязь кругом, а тянет на болото,
Дождь кругом, а тянет на реку, —
И грустит избушка между лодок
На своем ненастном берегу.

Облетают листья, уплывают
Мимо голых веток и оград...
В эти дни дороже мне бывают
И дела, и образы утрат.

Слез не лей над кочкою болотной
Оттого, что слишком я горяч,
Вот умру — и стану я холодный,
Вот тогда, любимая, поплачь!

ПАЛЬМЫ ЮГА

Еще один
Пропал безвестный день,
Покрыты снегом
Крыши деревень
И вся округа,
А где-то есть
Прекрасная страна,
Там чудно все —
И горы, и луна,
И пальмы юга...

И я глядел,
Глядел на перевал,
Где до сих пор
Ни разу не бывал...
Как воеет вьюга!
За перевалом первым
Побывал,
А там открылся
Новый перевал...
О пальмы юга!

Забуду все.
Займусь своим трудом.
И все пойдет
Обычным чередом,
Но голос друга
Твердит, что есть
Прекрасная страна,
Там чудно все —
И горы, и луна,
И пальмы юга...

Не стану верить
Другу своему,
Уйду в свою
Заснеженную тьму, —
Пусть будет вьюга!
Но, видно, так
Устроен человек,
Что не случайно
Сказано навек:
— О пальмы юга!

ДАЛЕКОЕ

Лети, мой отчаянный парус!
Не знаю, насколько смогу,
Чтоб даже тяжелая старость
Меня не согнула в дугу!

Но выплывут, словно из дыма,
И станут родней и больней
Стрелой пролетевшие мимо
Картины отроческих дней...

Запомнил я снег и салазки,
Метельные взрывы снегов,
Запомнил скандальные пляски
Нарядных больших мужиков,

Запомнил суслоны пшеницы,
Запомнил, как чахла заря
И грустные, грустные птицы
Кричали в конце сентября.

А сколько друзей настоящих,
А сколько там было чудес,
Лишь помнят сосновые чащи
Да темный еловый лес!..

⟨1970⟩

ВОСПОМИНАНИЕ

Помню, луна смотрела в окно.
Роса блестела на ветке.
Помню, мы брали в ларьке вино
И после пили в беседке.

Ты говорил, что покинешь дом,
Что жизнь у тебя в тумане,
Словно о прошлом, играл потом
«Вальс цветов» на баяне.

Помню я дождь и грязь на дворе,
Вечер темный, беззвездный,
Собака лаяла в конуре
И глухо шумели сосны...

Пос. Приютино, 1957

ГУЛЯЕВСКАЯ ГОРКА

Остановись, дороженька моя!
Все по душе мне — сельская каморка,
Осенний бор, Гуляевская горка,
Где веселились русские князья.

Простых преданий добрые уста
Еще о том гласят, что каждодневно
Гуляла здесь прекрасная царевна, —
Она любила здешние места.

Да! Но и я вполне счастливый тип,
Когда о ней тоскую втихомолку
Или смотрю бессмысленно на елку
И вдруг в тени увижу белый гриб!

И ничего не надо мне, пока
Я просыпаюсь весело на зорьке
И все брожу по старой русской горке,
О прежних днях задумавшись слегка...

1967

ВЗГЛЯНУЛ НА КУСТИК

Взглянул на кустик — истину постиг,
Он и цветет, и плодоносит пышно,
Его питает солнышко, и слышно,
Как в тишине поит его родник.

А рядом — глянь! — худые деревца.
Грустна под ними скудная лужайка,
И не звенит под ними балалайка,
И не стучат влюбленные сердца.

Тянулись к солнцу — вот и обожглись!
Вот и взялась нечаянная мука.
Ну что ж, бывает... Всякому наука,
Кто дерзко рвется в солнечную высь.

Зато с куста нарву для милых уст
Малины крупной, молодой и сладкой,
И, обнимая девушку украдкой,
Ей расскажу про добрый этот куст...

⟨1967⟩

ДО КОНЦА

До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!

Перед этой
Желтой, захолустной
Стороной березовой
Моей,
Перед жнивой
Пасмурной и грустной
В дни осенних
Горестных дождей,
Перед этим
Строгим сельсоветом,
Перед этим
Стадом у моста,
Перед всем
Старинным белым светом
Я клянусь:
Душа моя чиста.

Пусть она
Останется чиста
До конца,
До смертного креста!

⟨1969⟩

ПРОЩАЛЬНОЕ

Печальная Вологда

 дремлет
На темной печальной земле,
И люди окраины древней
Тревожно проходят во мгле.

Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.

Замолкли веселые трубы
И танцы на всем этаже,
И дверь опустевшего клуба
Печально закрылась уже.

Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.

И сдержанный говор печален
На темном печальном крыльце.
Все было веселым вначале,
Все стало печальным в конце.

На темном разъезде разлуки
И в темном прощальном авто
Я слышу печальные звуки,
Которых не слышит никто...

<1968>

ПЕСНЯ

Отцветет да поспеет
На болоте морошка,—
Вот и кончилось лето, мой друг!
И опять он мелькает,
Листопад за окошком,
Тучи темные вьются вокруг...

Заскрипели ворота,
Потемнели избушки,
Закачалась над омутом ель,
Слышен жалобный голос
Одинокой кукушки,
И не спит по ночам коростель.

Над притихшей деревней
Скоро, скоро подружки
В облаках полетят с ветерком,
Выходя на дорогу,
Будут плакать старушки
И махать самолету платком.

Ах, я тоже желаю
На просторы вселенной!
Ах, я тоже на небо хочу!
Но в краю незнакомом
Будет грусть неизменной
По родному в окошке лучу.

Жаль мне доброе поле,
Жаль простую избушку,
Жаль над омутом старую ель...
Что ж так жалобно плачет
На болоте кукушка?
Что ж не спит по ночам коростель?

〈1969〉

ЛИСТЬЯ ОСЕННИЕ

Листья осенние
Где-то во мгле мирозданья
Видели, бедные,
Сон золотой увяданья,
Видели, сонные,
Как, натянувши поводья,
Всадник мрачнел,
Объезжая родные угодья,
Как, вострепнувшись,
Веселью он вновь предавался,—
Выстрел беспечный
В дремотных лесах раздавался!..

Ночью, как встарь,
Не слышать говорливой гармошки,—
Словно как в космосе,
Глухо в раскрытом окошке,
Глухо настолько,
Что слышно бывает, как глухо...
Это и нужно
В моем состоянии духа!
К печке остывшей
Подброшу поленьев беремья,
Сладко в избе
Коротать одиночества время,
В пору полночную
В местности этой невзрачной
Сладко мне спится
На сене под крышей чердачной,
Сладко, вдыхая
Ромашковый запах ночлега,
Зябнуть порою
В предчувствии близкого снега...
Вдруг, пробудясь,
По лесам зароптали березы,
Словно сквозь дрему
Расслышали чьи-то угрозы,
Словно почували
Гибель живые созданыя...
Вон он и кончился,
Сон золотой увяданья.

<1969>

А ДУБА НЕТ...

Поток, разбуженный весной,
Катился в пене кружевной,
И озаряемый луною
Светился тихо край родной.
Светился сад, светилось поле
И глубь дремотная озер,—
И ты пошла за мной без воли,
Как будто я гипнотизер...
Зачем твой голос волновался
И разливался лунный свет?
Где дуб шумел и красовался,
Там пень стоит... А дуба нет...

ГОЛОЛЕДИЦА

В черной бездне
Большая Медведица
Так сверкает! Отрадно взглянуть.
В звездном свете блестя, гололедица
На земле обозначила путь...
Сколько мысли,
И чувства, и грации
Нам являет заснеженный сад!
В том саду ледяные акации
Под окном освещенным горят.
Вихревыми, холодными струями
Ветер движется, ходит вокруг,
А в саду говорят поцелуями
И пожатием пламенных рук.
Заставать будет зоренька макова
Эти встречи — и слезы, и смех...
Красота не у всех одинакова,
Одинакова юность у всех!
Только мне, кто любил,
Тот не встретится,
Я не знаю, куда повернуть,
В тусклом свете блестя, гололедица
Предо мной обозначила путь...

⟨1969⟩

НАСЛЕДНИК РОЗЫ

В саду, где пела радиола,
Где танцевали «Вальс цветов»,
Все глуше дом у частокола,
Все нелюдимей шум ветров.

Улыбка лета так знакомо
Опять сошла с лица земли!
И все уехали из дома
И радиолу увезли...

На огороде с видом жалким,
Как бы стыдясь за свой наряд,
Воронье пугало на палке
Торчит меж выкопанных гряд.

Порой тревожно — не до шуток! —
В рассветном воздухе седом
Мелькнет косяк последних уток
Над застывающим прудом.

Вот-вот подует зимним, снежным.
Все умирает... Лишь один
Пылает пламенем мятежным —
Наследник розы — георгин!

〈1970〉

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Кто-то стонет на темном кладбище,
Кто-то глухо стучится ко мне,
Кто-то пристально смотрит в жилище,
Показавшись в полночном окне.

В эту пору с дороги буранной
Заявился ко мне на ночлег
Непонятный какой-то и странный
Из чужой стороны человек.

И старуха метель не случайно,
Как дитя, голосит за углом,
Есть какая-то жуткая тайна
В этом жалобном плаче ночном.

Обветшалые гнутся стропила,
И по лестнице шаткой во мрак,
Чтоб нечистую выпугнуть силу,
С фонарем я иду на чердак.

По углам разбегаются тени...
— Кто тут?.. — Глухо. Ни звука в ответ.
Подо мной, как живые, ступени
Так и ходят... Спасения нет!

Кто-то стонет всю ночь на кладбище,
Кто-то гибнет в буране — невмочь,
И мерещится мне, что в жилище
Кто-то пристально смотрит всю ночь...

〈1969〉

У ЦЕРКОВНЫХ БЕРЕЗ

Доносились гудки
с отдаленной пристани.
Замутило дождями
Неба холодную просинь,
Мотыльки над водою,
усыпанной желтыми листьями,
Не мелькали уже — надвигалась осень...
Было тихо, и вдруг
будто где-то заплакали,—
Это ветер и сад.
Это ветер гонялся за листьями,
Городок засыпал,
и мигали бакены
Так печально в ту ночь у пристани.
У церковных берез,
почерневших от древности,
Мы прощались,
и пусть,
опьяняясь чинариком,
Кто-то в сумраке,
злой от обиды и ревности,
Все мешал нам тогда одиноким фонариком.
Пароход загудел,
возвещая отплытие вдаль!
Вновь прощались с тобой
У какой-то кирпичной оградины,
Не забыть, как матрос,
увеличивший нашу печаль,
— Проходите! — сказал.
— Проходите скорее, граждане! —
Я прошел. И тотчас,
всколыхнувши затопленный плес,
Пароход зашумел,
Напрягаясь, захлопал колесами...
Сколько лет пронеслось!
Сколько вьюг отсвистело и гроз!
Как ты, милая, там, за березами?

1968

ВОРОБЕЙ

Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зернышком бедным,
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему...

〈1969〉

ВЫПАЛ СНЕГ...

Выпал снег —
и все забылось,
Чем душа была полна!
Сердце проще вдруг забилося,
Словно выпил я вина.

Вдоль по улице по узкой
Чистый мчится ветерок,
Красотою древнерусской
Обновился городок.

Снег летит на храм Софии,
На детей, а их не счесть.
Снег летит по всей России,
Словно радостная весть.

Снег летит — гляди и слушай!
Так вот, просто и хитро,
Жизнь порой врачует душу...
Ну и ладно! И добро.

〈1969〉

Крики перепелок,
ранних звезд мерцание,
Ржание стреноженных
молодых коней...

1953

ТАЙНА *

«Чудный месяц плывет над рекою», —
Где-то голос поет молодой.
И над родиной, полной покоя,
Опускается сон золотой!

Не пугают разбойные лица,
И не мыслят пожары зажечь,
Не кричит сумасшедшая птица,
Не звучит незнакомая речь.

Неспокойные тени умерших
Не встают, не подходят ко мне.
И, тоскуя все меньше и меньше,
Словно Бог, я хожу в тишине.

И откуда берется такое,
Что на ветках мерцает роса,
И над родиной, полной покоя,
Так светлы по ночам небеса!

Словно слышится пение хора,
Словно скачут на тройках гонцы,
И в глуши задремавшего бора
Все звенят и звенят бубенцы...

* В сборнике «Зеленые цветы» (М.: «Советская Россия», 1971) стихотворение было приведено в сокращенной редакции. Вместо первых четырех строф было:

Чудный месяц горит над рекою,
Над местами отроческих лет,
И на родине, полной покоя,
Широко разгорается свет...
Этот месяц горит не случайно
На дремотной своей высоте,
Есть какая-то жгучая тайна
В этой русской ночной красоте!

* * *

Уже деревня вся в тени.
В тени сады ее и крыши.
Но ты взгляни чуть-чуть повыше —
Как ярко там горят огни!
Одна у нас в деревне мгlistой
Соседка древняя жива,
И на лице ее землистом
Растет какая-то трава.
И все ж прекрасен образ мира,
Когда в ночи равнинных мест
Вдруг вспыхнут все огни эфира,
И льется в душу свет с небес,
Когда деревня вся в тени,
И бабка спит, и над прудами
Шевелит ветер лопухами,
И мы с тобой совсем одни!

⟨1970⟩

* * *

Осень! Летит по дорогам
Осени стужа и стон!
Каркает около стога
Стая озябших ворон.
Скользкой неровной тропею
В зарослях пасмурных ив
Лошадь идет с водопоя,
Голову вниз опутив.
Мелкий, дремотный, без меры,
Словно из множества сит,
Дождик знобящий и серый
Все моросит, моросит...
Жнивы, деревья и стены
В мокрых сетях полутьмы
Словно бы ждут перемены —
Чистой, веселой зимы!

О МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ

Бессмертное величие Кремля
Невыразимо смертными словами!
В твоей судьбе, — о русская земля! —
В твоей глуши с лесами и холмами,

Где смутной грустью веет старина,
Где было все: смиренность и гордыня —
Навек слышна, навек озарена,
Утверждена московская твердыня!

Мрачнее тучи грозный Иоанн
Под ледяными взглядами боярства
Здесь исцелял невзгоды государства,
Скрывая боль своих душевных ран.
И смутно мне далекий слышен звон:
То скорбный он, то гневный и державный!
Бежал отсюда сам Наполеон,
Покрылся снегом путь его бесславный...

Да! Он земной! От пушек и ножа
Здесь кровь лилась... Он грозной
был твердыней!

Пред ним склонялись мысли и душа,
Как перед славной воинской святыней.
Но как — взгляните — чуден этот вид!
Остановитесь тихо в день воскресный —
Ну, не мираж ли сказочно-небесный —
Возник пред вами, реет и горит?

И я молюсь — о русская земля! —
Не на твои забытые иконы,
Молюсь на лик священного Кремля
И на его таинственные звоны...

1968

СУДЬБА

Легкой поступью,
кивая головой,
Конь в упряжке
прошагал по мостовой.
Как по травке,
по обломкам кирпича
Прошагал себе, телегой грохоча.
Между жарких этих
каменных громад

Я помню, как звезды светили,
Скрипел за окошком плетень,
И стаями волки бродили
Ночами вблизи деревень...

Как все это кончилось быстро!
Как странно ушло навсегда!
Как шумно — с надеждой и свистом —
Помчались мои поезда!

И все же, глаза закрывая,
Я вижу: над крышами хат,
В морозном тумане мерцая,
Таинственно звезды дрожат.

А вьюга по сумрачным рекам,
По дебрям гуляет кругом,
И весь запорошенный снегом
Стоит у околицы дом...

СВИДАНИЕ

Мы входим в зал.
Сияющие люстры
От напряженья,
Кажется, дрожат!
Звенит хрусталь
И действует на чувства,
Мы входим в зал
Без всякого искусства,
А здесь искусством,
Видно, дорожат.

Швейцар блистает
Золотом и лоском,
Официант —
Испытанным умом,
А наш сосед —
Шикарной папироской...
Чего ж еще?
Мы славно отдохнем!

У вас в глазах
Восторг и упоенье,

И в них такая
Гордость за меня,
Как будто я
Здесь главное явление,
Как будто это
Все моя родня!

Чего ж еще?..
С чего бы это снова,
Встречая тихо
Ласку ваших рук,
За светлой рюмкой
Пунша золотого
Я глубоко
Задумываюсь вдруг?..

ФЕРАПОНТОВО

В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то божье в земной красоте.
И однажды возникло из грезы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как березы,
Диво дивное в русской глуши!
И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты, небывалой досель...
Неподвижно стояли деревья,
И ромашки белели во мгле,
И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле...

<1970>

* * *

Брал человек
Холодный мертвый камень,
По искре высекал
Из камня пламень.

Твоя судьба
Не менее сурова —
Вот так же высекать
Огонь из слова!

Но труд ума,
Бессонницей больного, —
Всего лишь дань
За радость неземную:
В своей руке
Сверкающее слово
Вдруг ощутить,
Как молнию ручную!

Ленинград, 1962

ПРИЕЗД ТЮТЧЕВА

Он шляпу снял,
 чтоб поклониться
Старинным русским каланчам...
А после дамы всей столицы
О нем шептались по ночам.

И офицеры в пыльных бурках
Потом судили меж равнин
О том, как в залах Петербурга
Блистал приезжий дворянин.

А он блистал, как сын природы,
Играя взглядом и умом,
Блистал, как летом блещут воды,
Как месяц блещет над холмом!

И сны Венеции прекрасной,
И грустной родины привет —
Все отражалось в слове ясном
И поражало высший свет.

1965

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

Его увидев, люди ликовали,
Но он-то знал, как был он одинок.
Он оглядел собравшихся в подвале,
Хотел подняться, выйти... и не смог!

И понял он, что вот слабеет воля,
А где покой среди больших дорог?!
Что есть друзья в тиши родного поля,
Но он от них отчаянно далек!

И в первый раз поник Сергей Есенин,
Как никогда, среди унылых стен...
Он жил тогда в предчувствии осеннем
Уж далеко не лучших перемен.

1968

ДУЭЛЬ

Напрасно

дуло пистолета

Враждебно целилось в него:

Лицо великого поэта

Не выражало ничего!

Уже давно,

как в божью милость,

Он молча верил

В смертный рок.

И сердце Лермонтова билось,

Как в дни обыденных

тревог.

Когда же выстрел грянул мимо

(Наверно, враг

Не спал всю ночь!),

Поэт зевнул невозмутимо

И пистолет отбросил прочь...

1965

Чтоб задержать его восход?
Остановить его закат?

Вот так поэзия, она
Звенит — ее не остановишь!
А замолчит — напрасно стонешь!
Она незрима и вольна.

Прославит нас или унизит,
Но все равно возьмет свое!
И не она от нас зависит,
А мы зависим от нее...

1965

ВЕНЕРА

Где осенняя стужа кругом
Вот уж первым ледком прозвенела,
Там любовно над бедным прудом
Драгоценная блещет Венера!..

Жил однажды прекрасный поэт,
Да столкнулся с ее красотой.
И душа, излучавшая свет,
Долго билась с прекрасной звездой!

Но Венеры играющий свет
Засиял при своем приближенье,
Так, что бросился в воду поэт
И уплыл за ее отраженьем...

Старый пруд забывает с трудом,
Как боролись прекрасные силы,
Но Венера над бедным прудом
Доведет и меня до могилы!

Да еще в этой зябкой глуши
Вдруг любовь моя — прежняя вера —
Спать не даст, как вторая Венера
В небесах возбужденной души!

В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берез
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слез...
Нет, не все, — говорю, — пролетело!
Посильней мы и этой беды!
Значит, самое милое дело —
Это выпить немного воды,
Посвистеть на манер канарейки
И подумать о жизни всерьез
На какой-нибудь старой скамейке
Под ветвями больничных берез...

Лето 1970

НА РОДИНУ!

Во мгле, по холмам суровым, —
Без фар не видать ни зги, —
Сто километров с ревом
Летели грузовики,
Летели почти по небу,
Касаясь порой земли.
Шоферы, как в лучший жребий,
Вцепились в свои рули,
Припали к рулям, как зубры,
И гнали — в леса, в леса! —
Жестоко оскалив зубы
И вытаращив глаза...
Я молча сидел в сторонке,
Следя за работой мужчин
И радуясь бешеной гонке
Ночных продуктовых машин.
Я словно летел из неволи
На отдых, на мед с молоком...
И где-то в зверином поле
Сошел и пошел
пешком.

1962

ПРИВЕТ, РОССИЯ...

Привет, Россия — родина моя!
Как под твоей мне радостно листвою!
И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое...

Как будто ветер гнал меня по ней,
По всей земле — по селам и столицам!
Я сильный был, но ветер был сильней,
И я нигде не мог остановиться.

Привет, Россия — родина моя!
Сильнее бурь, сильнее всякой воли
Любовь к твоим овинам у жнивья,
Любовь к тебе, изба в лазурном поле.

За все хоромы я не отдаю
Свой низкий дом с крапивой под оконцем...
Как миротворно в горницу мою
По вечерам закатывалось солнце!

Как весь простор, небесный и земной,
Дышал в оконце счастьем и покоем,
И достославной веял стариной,
И ликовал под ливнями и зноем!..

1969

СТАРИК

Идет старик в простой одежде.
Один идет издалека.
Не греет солнышко, как прежде.
Шумит осенняя река.

Кружились птицы и кричали
Во мраке тучи грозовой,
И было все полно печали
Над этой старой головой.

Глядел он ласково и долго
На всех, кто встретится ему,
Глядел на птиц, глядел на елку...
Наверно, трудно одному.

Когда, поеживаясь зябко,
Поест немного и поспит,
Ему какая-нибудь бабка
Поднять котомку пособит.

Глядит глазами голубыми,
Несет котомку на горбу,
Словами тихими, скупыми
Благодарит свою судьбу.

Не помнит он, что было прежде,
И не боится черных туч,
Идет себе в простой одежде
С душою светлою, как луч!

〈1967〉

СТОИТ ЖАРА

Стоит жара. Летают мухи.
Под знойным небом чахнет сад.
У церкви сонные старухи
Толкуются, бредят, верещат.

Смотрю угрюмо на калеку,
Соображаю, как же так —
Я дать не в силах человеку
Ему положенный пятак?

И как же так, что я все реже
Волнуюсь, плачу и люблю?
Как будто сам я тоже сплю
И в этом сне тревожно брежу...

СЕНТЯБРЬ

Слава тебе, поднебесный
Радостный краткий покой!
Солнечный блеск твой чудесный
С нашей играет рекой,
С рощей играет багряной,
С россыпью ягод в сенах,
Словно бы праздник нагринул

На златогривых конях!
Радуюсь громкому лаю,
Листьям, корове, грачу,
И ничего не желаю,
И ничего не хочу!
И никому не известно
То, что, с зимой говоря,
В бездне таится небесной
Ветер и грусть октября...

ЗАЧЕМ?

Она совсем еще ребенок —
И ясен взгляд, и голос тонок.
Она совсем еще дитя —
Живет играя и шутя.

— Давай походим темным лесом!
— Давай разбудим соловья!
Там у дороги под навесом
Моя любимая скамья.

— Давай сбежим скорее в поле!
— Давай посмотрим на зарю!..—
Я подчиняюсь поневоле
И тоже что-то говорю.

Но чувства борются во мне,
Я в жизни знаю слишком много,
И часто с ней наедине
Мне нелегко и одиноко.

И вот она уже грустна,
И вот уже серьезней встречи,
Совсем запутает она
Клубок моих противоречий!

Зачем же мы ходили лесом?
Зачем будили соловья?
Зачем стояла под навесом
Та одинокая скамья?

Но внезапно ветер налетел!
Сразу тьма сгустилась! Страшно стало!
Хмурый лес качался и шумел,
И дорогу снегом заметало!

Вижу: что-то черное вдали
Сквозь метель маячит... Нет, не елки!
Ноги будто к месту приросли!
В голове мелькнуло: «Волки, волки!..»

Волки мне мерещились не раз
В обгоревших пнях. Один, без друга,
Я дрожал от страха, но тотчас
Шел вперед, опомнясь от испуга.

Шел я, спотыкаясь, а метель,
Мне сугроб под ноги наметая,
То вдруг: «У-у-у!» — кричала в темноте,
То вдруг: «А-а-а!» — кричала, как живая!

...После все утихло. Рассвело.
Свет зари скользил по белым склонам.
Я пришел, измученный, в село.
И друзья спросили удивленно:

— Что случилось? Ты не заболел?
— Ничего, — ответил я устало. —
Просто лес качался и шумел,
И дорогу снегом заметало...

НАСТУПЛЕНИЕ НОЧИ

Когда заря
Смеркается и брезжит,
Как будто тонет
В омутной ночи
И в гробовом
Затишье побережий
Скользят ее
Последние лучи,

Мне жаль ее...
Вот-вот... еще немножко...
И, поднимаясь
В гаснущей дали,

Весь ужас ночи
Прямо за окошком
Как будто встанет
Вдруг из-под земли!

И так тревожно
В час перед набегом
Кромешной тьмы
Без жизни и следа,
Как будто солнце
Красное над снегом,
Огромное,
Погасло навсегда...

СИНЕНЬКИЙ ПЛАТОЧЕК

Я вспоминаю, сердцем посветлев,
Какой я был взволнованный и юный!
И пусть стихов серебряные струны
Продолжат свой тоскующий напев

О том, какие это были дни!
О том, какие это были ночи!
Издаেকে, как синенький платочек,
Всю жизнь со мной прощаются они...

От прежних чувств остался, охладев,
Спокойный свет, как будто отблеск лунный,
Еще поют серебряные струны,
Но редок стал порывистый напев.

И все ж хочу я, странный человек,
Сберечь, как есть, любви своей усталость,
Взглянуть еще на все, что там осталось,
И распрощаться... может быть, навек.

<1967>

ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звездами нежно украшена
Тихая зимняя ночь.

Светятся, тихие, светятся, чудные,
Слышится шум полыньи...
Были пути мои трудные, трудные.
Где ж вы, печали мои?

Скромная девушка мне улыбается,
Сам я улыбочив и рад!
Трудное, трудное — все забывается,
Светлые звезды горят!

Кто мне сказал, что во мгле заметеленной
Глохнет покинутый луг?
Кто мне сказал, что надежды потеряны?
Кто это выдумал, друг?

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звездами нежно украшена
Тихая зимняя ночь...

⟨1965⟩

У РАЗМЫТОЙ ДОРОГИ...

Грустные мысли наводит порывистый ветер,
Грустно стоять одному у размытой дороги,
Кто-то в телеге по ельнику едет и едет —
Позднее время — спешат запоздалые дроги.
Плачет звезда, холодея, над крышей сарая...
Вспомни — о родина! — праздник на этой дороге!
Шумной гурьбой под луной мы катались, играя,
Снег освещенный летел вороному под ноги.
Бег все быстрее... Вот вырвались в белое поле.
В чистых снегах, ледяные полынные воды.
Мчимся стрелой... Приближаемся к праздничной
школе...

Славное время! Души моей лучшие годы.
Скажут ли свадьбы в глуши потрясенного бора,
Мчатся ли птицы, поднявшие крик над селеньем,
Льется ли чудное пение детского хора, —
О, моя жизнь! На душе не проходит волнение...
Нет, не кляню я мелькнувшую мимо удачу,
Нет, не жалею, что скоро пройдут пароходы.
Что ж я стою у размытой дороги и плачу?
Плачу о том, что прошли мои лучшие годы...

⟨1968⟩

В ГЛУШИ

Когда душе моей
Сойдет успокоенье
С высоких, после гроз,
Немеркнувших небес,
Когда душе моей
Внушая поклоненье,
Идут стада дремать
Под ивовый навес,
Когда душе моей
Земная веет святость,
И полная река
Несет небесный свет, —
Мне грустно оттого,
Что знаю эту радость
Лишь только я один:
Друзей со мною нет...

〈1968〉

НА ОЗЕРЕ

Светлый покой
Опустился с небес
И посетил мою душу!
Светлый покой,
Простираясь окрест,
Воды объемлет и сушу...
О, этот светлый
Покой-чародей!
Очарованием смелым
Сделай меж белых
Своих лебедей
Черного лебедя — белым!

* * *

О чем писать?
На то не наша воля!
Тобой одним
Не будет мир воспет!
Ты тему моря взял
И тему поля,

А тему гор
Другой возьмет поэт!
Но если нет
Ни радости, ни горя,
Тогда не мни,
Что звонко запоешь,
Любая тема —
Поля или моря,
И тема гор —
Все это будет ложь!

МАЧТЫ

Созерцаю ли звезды над бездной
С человеческой вечной тоской,
Воцаряюсь ли в рубке железной
За штурвалом над бездной морской, —

Все я верю, воспрянувши духом,
В грозное свое бытие
И не верю настойчивым слухам,
Будто все перейдет в забытье,

Будто все начинаем без страха,
А кончаем в назначенный час
Тем, что траурной музыкой Баха
Провожают товарищи нас.

Это кажется мне невозможным.
Все мне кажется — нет забытья!
Все я верю, как мачтам надежным,
И делам, и мечтам бытия.

<1964>

Человеком, которого смыло за борт:
Знаешь, Тайка встречалась с другим!

Закатился закат. Задремало село.
Ты пришла и сказала: «Прости».
Но простить я не мог,
потому что всегда
Слишком сильно я верил тебе!

Ты сказала еще:
— Посмотри на меня!
Посмотри — мол, и мне нелегко.—
Я ответил, что лучше
на звезды смотреть,
Надоело смотреть на тебя!

Соловьи, соловьи
заливались, а ты
Все твердила, что любишь меня.
И, угрюмо смеясь, я не верил тебе.
Так у многих проходит любовь...

В трудный час, когда ветер полощет зарю
В темных струях нагретых озер,
Птичьи гнезда ищу, раздвигаю ивняк.
Сам не знаю, зачем их ищу.

Это правда иль нет, соловьи, соловьи,
Это правда иль нет, тополя,
Что любовь не вернуть,
как нельзя отыскать
Отвихрившийся след корабля?

1962

* * *

Листвой пропащей,
зноблящей мглою
Заносит буря неясный путь.
А ивы гнутся над головою,
Скрипят и стонут — не отдохнуть.
Бегу от бури, от помрачений...
И вдруг я вспомню твое лицо,

Игру заката во мгле вечерней,
В лучах заката твое кольцо.
Глухому плеску на дне оврага,
И спящей вербе, и ковылю
Я, оставаясь, твердил из мрака
Одно и то же: — Люблю, люблю!
Листвой пропащей,

знобящей мглою

Заносит буря безлюдный путь.
И стонут ивы над головою,
И воет ветер — не отдохнуть!
Куда от бури, он непогоды
Себя я спрячу?
Я вспоминаю былые годы
И — плачу...

* * *

Мы сваливать
не вправе
Вину свою на жизнь.
Кто едет,
тот и правит,
Поехал, так держись!
Я повода оставил.
Смотрю другим вослед.
Сам ехал бы
и правил,
Да мне дороги нет...

НА ГУЛЯНИЕ

На меду, на браге да на финках
Расходились молнии и гром!
И уже красавицы в косынках
Неподвижно, словно на картинках,
Усидеть не в силах за столом.
Взяли ковш, большой и примитивный:
— Выпей с нами, смелая дуца! —
Атаман, сердитый и активный,
Полетит под стол, как реактивный,
Сразу после этого ковша.
Будет он в постельной упаковке,

Как младенец, жалобно зевать,
От подушки, судя по сноровке,
Кулаки свои, как двухпудовки,
До утра не сможет оторвать...
И тогда в притихшем сельсовете,
Где баян бахвалится и врет,
Первый раз за множество столетий
Все пойдут старательно, как дети,
Танцевать невиданный фокстрот.
Что-то девки стали заноситься!
Что-то кудри стали завивать!
Но когда погода прояснится,
Все увидят: поле колосится!
И начнут частушки запевать...

* * *

Мое слово верное
 прозвенит!
Буду я, наверное,
 знаменит!
Мне поставят памятник
 на селе!
Буду я и каменный
 навеселе!..

ГДЕ ВЕСЕЛЫЕ ДЕВУШКИ НАШИ?

Как играли они у берез
На лужке, зеленеющем нежно!
И, заплакав о чем-то всерьез,
Как смеялись они безмятежно!

И цветы мне бросали: — Лови!
И брожу я, забыт и обижен:
Игры юности, игры любви —
Почему я их больше не вижу?

Чей-то смех у заросших плетней,
Чей-то говор все тише и тише,
Спор гармошек и крики парней —
Почему я их больше не слышу?

— Васильки, — говорю, — васильки!
Может быть, вы не те, а другие,
Безразлично вам, годы какие
Провели мы у этой реки?

Ничего не сказали в ответ.
Но как будто чего выражали —
Долго, долго смотрели вослед,
Провожали меня, провожали...

* * *

Не подберу сейчас такого слова,
Чтоб стало ясным все в один момент,
Но не забуду Кольку Белякова
И Колькин музыкальный инструмент.

Сурова жизнь. Сильны ее удары.
И я люблю, когда сойдемся вдруг,
Подолгу слушать музыку гитары,
В которой полон смысла каждый звук.

Когда-то я мечтал под темным дубом,
Что невеселым мыслям есть конец,
Что я не буду с девушками грубым
И пьянствовать не стану, как отец.

Мечты, мечты... А в жизни все иначе.
Нельзя никак прожить без кабаков.
И если я спрошу: «Что это значит?» —
Мне даст ответ лишь Колька Беляков.

И пусть сейчас не подберу я слова.
Но я найду его в другой момент,
Чтоб рассказать про Кольку Белякова
И про его чудесный инструмент.

1957

Мой чинный двор
зажат в заборы.

Я в свистах ветра-степняка
Не гнал коней, вонзая шпоры
В их знойно-потные бока.
Вчера за три мешка картошки
Купил гармонь.

Играет — во!
Точь-в-точь такая, как у Лешки,
У брата друга моего.
Творя бессмертное творенье,
Смирняя бойких рифм дожди,
Тружусь.

И чувствую волнение
В своей прокуренной груди.
Строптивый стих,
как зверь страшенный,
Горбятся, бьется под рукой.
Мой стиль, увы,

несовершенный,
Но я ж не Пушкин,
я другой...

И все же грустно до обиды
У мух домашних на виду
Послушно, как кариатиды,
Стареть в сложившемся быту.
Ведь я кричал,
врываясь в споры,
Что буду жить наверняка,
Как мчат коней,

вонзая шпоры
В их знойно-потные бока!

Ленинград, 1962

Осень! Летит по дорогам
Осени стужа и стон!
Каркает около стога
Стая озябших ворон.
Скользкой неровной тропею
В зарослях пасмурных ив

Лошадь идет с водооя,
Голову вниз опустив.
Мелкий, дремотный, без меры,
Словно из множества сит,
Дождик, знобящий и серый,
Все моросит, моросит...
Жнивы, деревья и стены
В мокрых сетях полутьмы
Словно бы ждут перемены —
Чистой, веселой зимы!

* * *

Не надо, не надо, не надо,
Не надо нам скорби давно!
Пусть будут река и прохлада,
Пусть будут еда и вино.
Пусть Вологда будет родная
Стоять нерушимо, как есть,
Пусть Тотьма, тревоги не зная,
Хранит свою ласку и честь.
Болгария пусть расцветает
И любит чудесную Русь,
Пусть школьник поэтов читает
И знает стихи наизусть.

ЖАРА

Всезнающей, вещей старухе
И той не уйти от жары.
И с ревом проносятся мухи,
И с визгом снуют комары,
И жадные липнут букашки,
И лютые оводы жгут, —
И жалобно плачут барашки,
И лошади, топая, ржут.
И что-то творится с громилой,
С быком племенным! И взгляни —
С какою-то дьявольской силой
Все вынесут люди одни!
Все строят они и корежат,
Повсюду их сила и власть.
Когда и жара изнеможет,
Гуляют еще, веселясь!..

<1966>

ЦВЕТОК И НИВА

Цветы! Увядшие цветы!
Как вас водой болотной хлещет,
Так с бесприютной высоты
На нас водой холодной плещет.
А ты? По-прежнему горда?
Или из праздничного зала
На крыльях в прошлые года
Твоя душа летать устала?
И неужели, отлюбя,
Уж не волнуешься, как прежде,—
Бежишь домой, а на тебя
Водой холодной с неба плещет?
Сырое небо, не плещи
Своей водою бесприютной!
И ты, сорока, не трещи
О нашей радости минутной!
Взойдет любовь на вечный срок,
Душа не станет сиротлива.
Неувядаемый цветок!
Неувядаемая нива!

<1969>

* * *

У сгнившей лесной избушки,
Меж белых стволов бродя,
Люблю собирать волнушки
На склоне осеннего дня.

Летят журавли высоко
Под куполом светлых небес,
И лодка, шурша осокой,
Плывет по каналу в лес.

И холодно так, и чисто,
И светлый канал волнист,
И с дерева с легким свистом
Слетает прохладный лист,

И словно душа простая
Проносится в мире чудес,
Как птиц одиноких стая
Под куполом светлых небес...

〈1964〉

* * *

Уединившись за оконцем,
Я с головой ушел в труды!
В окно закатывалось солнце,
И влагой веяли пруды...

Как жизнь полна! Иду в рубашке,
А ветер дышит все живей,
Журчит вода, цветут ромашки,
На них ложится тень ветвей.

И так легки бывшие годы,
Как будто лебеди вдали
На наши пастбища и воды
Летят со всех сторон земли!..

И снова в чистое оконце
Покоить скромные труды
Ко мне закатывалось солнце,
И влагой веяли пруды...

〈1966〉

ИЗ ВОСЬМИСТИШИЙ

1

В комнате темно,
В комнате беда, —
Кончилось вино,
Кончилась еда,
Кончилась вода
Вдруг на этаже,
Отчего ж тогда
Весело душе?

В комнате давно
 Кончилась беда,
 Есть у нас вино,
 Есть у нас еда,
 И давно вода
 Есть на этаже,
 Отчего ж тогда
 Пусто на душе?

Звездный небосвод
 Полон светлых дум,
 У моих ворот
 Затихает шум,
 И глядят глаза
 В самый нежный том,
 А душе — гроза,
 Молнии и гром!

Лунною порой,
 Омрачая мир,
 Шел понурый строй,
 Рядом — конвоир.
 А душе в ночи
 Снился чудный сон:
 Вербы и грачи,
 Колокольный звон...

Девушке весной
 Я дарил кольцо,
 С лаской и тоской
 Ей глядел в лицо,

Холодна была
У нее ладонь,
Но сжигал дотла
Душу мне — огонь!

6

Постучали в дверь,
Открывать не стал,
Я с людьми не зверь,
Просто я устал,
Может быть, меня
Ждет за дверью друг,
Может быть, родня...
А в душе — испуг.

7

В комнате покой,
Всем гостям почет,
Полною рекой
Жизнь моя течет,
Выйду не спеша,
На село взгляну...
Окунись, душа,
В чистую волну!

О ПУШКИНЕ

Словно зеркало русской стихии,
Отстояв назначенье свое,
Отразил он всю душу России!
И погиб, отражая ее...

1965

ОДНАЖДЫ

Однажды Гоголь вышел из кареты
На свежий воздух. Думать было лень.
Но он во мгле увидел силуэты
Полузабытых тощих деревень.

Он пожалел безрадостное племя.
Оплакал детства светлые года,
Не смог представить будущее время — *
И произнес: — Как скучно, господа!

1965

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Слухи были глупы и резки:
Кто такой, мол, Есенин Серега,
Сам суди: удавился с тоски
Потому, что он пьянствовал много.

Да, недолго глядел он на Русь
Голубыми глазами поэта.
Но была ли кабацкая грусть?
Грусть, конечно, была... Да не эта!

Версты все потрясенной земли,
Все земные святыни и узы
Словно б нервной системой вошли
В своенравность есенинской музыки!

Это муза не прошлого дня.
С ней люблю, негодую и плачу.
Много значит она для меня,
Если сам я хоть что-нибудь значу.

1962

ПАМЯТИ АНЦИФЕРОВА

На что ему отдых такой?
На что ему эта обитель,
Кладбищенский этот покой —
Минувшего страж и хранитель?
— Вы, юноши, нравитесь мне! —
Говаривал он мимоходом,
Когда на житейской волне
Носился с хорошим народом.

* Вариант: «— Потом представил будущее время — ».

Среди болтунов и чудил
Шумел, над вином наклоняясь,
И тихо потом уходил,
Как будто за все извиняясь...
И нынче, являясь в бреду,
Зовет он тоскливо, как вьюга!
И я, содрогаясь, иду
На голос поэта и друга.
Но — пусто! Меж белых могил
Лишь бродит метельная скрипка...
Он нас на земле посетил,
Как чей-то привет и улыбка.

1966

* * *

Я переписывать не стану
Из книги Тютчева и Фета,
Я даже слушать перестану
Того же Тютчева и Фета,
И я придумывать не стану
Себя особого, Рубцова,
За это верить перестану
В того же самого Рубцова,
Но я у Тютчева и Фета
Проверю искреннее слово,
Чтоб книгу Тютчева и Фета
Продолжить книгою Рубцова!..

КОГО ОБИДЕЛ?

В мое окно проникли слухи.
По чистой комнате моей
Они проносятся, как мухи, —
Я сам порой ношусь по ней!

И вспомнил я тревожный ропот
Вечерних нескольких старух.
Они, они тогда по тропам
Свой разнесли недобрый слух!

— Ему-то, люди, что здесь надо?
Еще утащит чье добро! —
Шумели все, как в бурю стадо...
И я бросал свое перо.

Есть сердобольные старушки
С душою светлою, как луч!
Но эти! Дверь своей избушки
Хоть запирай от них на ключ!

Они, они — я это видел! —
Свой разнесли недобрый слух.
О Русь! Кого я здесь обидел?
Не надо слушать злых старух...

НОЧНОЕ

Если б мои не болели мозги,
Я бы заснуть не прочь.
Рад, что в окошке не видно ни зги, —
Ночь, черная ночь!
В горьких невзгодах прошедшего дня
Было порой невмочь.
Только одна и утешит меня —
Ночь, черная ночь!
Грустному другу в чужой стороне
Словом спешил я помочь.
Пусть хоть немного поможет и мне
Ночь, черная ночь!
Резким, свистящим своим помелом
Вьюга гнала меня прочь.
Дай под твоим я погреюсь крылом,
Ночь, черная ночь!

КРУЖУСЬ ЛИ Я...

Кружусь ли я в Москве бурливой
С толпой знакомых и друзей,
Пойду ли к девушке красивой
И отдохну немного с ней,

НЕИЗВЕСТНЫЙ

Он шел против снега во мраке,
Бездомный, голодный, больной.
Он после стучался в бараки
В какой-то деревне лесной.

Его не пустили. Тупая
Какая-то бабка в упор
Сказала, к нему подступая:
— Бродяга. Наверное, вор...

Он шел. Но угрюмо и грозно
Белели снега впереди!
Он вышел на берег морозной,
Безжизненной, страшной реки!

Он вздрогнул, очнулся и снова
Забылся, качнулся вперед...
Он умер без крика, без слова,
Он знал, что в дороге умрет.

Он умер, снегами отпетый...
А люди вели разговор
Все тот же, узнавши об этом:
— Бродяга. Наверное, вор.

ГРОЗА

Поток вскипел
и как-то сразу прибыл!
По небесам, сверкая там и тут,
Гремело так, что каменные глыбы
Вот-вот, казалось,
с неба упадут!
И вдруг я встретил
рухнувшие липы,
Как будто, хоть не видел их никто,
И впрямь упали каменные глыбы
И сокрушили липы...
А за что?

ОСЬ

Как центростремительная сила,
Жизнь меня по всей земле носила!

За морями, полными задора,
Я душою был нетерпелив, —
После дива сельского простора
Я открыл немало разных див.

Нахлобучив «мичманку» на брови,
Шел в театр, в контору, на причал.
Полный свежей юношеской крови,
Вновь, куда хотел, туда и мчал...

Но моя родимая земляца
Надо мной удерживает власть, —
Память возвращается, как птица,
В то гнездо, в котором родилась,

И вокруг любви непобедимой
К селам, к соснам, к ягодам Руси
Жизнь моя вращается незримо,
Как Земля вокруг своей оси!..

1962—1964

ОСЕННИЙ ЭТЮД

Утром проснешься на чердаке,
Выглянешь — ветры свистят!
Быстрые волны бегут по реке,
Мокнет, качается сад.

С гробом телегу ужасно трясет
В поле меж голых ракиг.
— Бабушка дедушку в ямку везет, —
Девочке мать говорит...

Ты не печалься! Послушай дожди
С яростным ветром и тьмой,
Это цветочки еще — подожди! —
То, что сейчас за стеной.

Будет еще не такой у ворот
Ветер, скрипенье и стук.
Бабушка дедушку в ямку везет,
Птицы летят на юг...

НОЧНОЕ ОЩУЩЕНИЕ

Когда стою во мгле,
Душе покоя нет,—
И омуты страшной,
И резче дух болотный,
Миры глядят с небес,
Свой излучая свет,
Свой открывая лик,
Прекрасный, но холодный.

И гор передо мной
Вдруг возникает цепь,
Как сумрачная цепь
Загадок и вопросов,—
С тревогою в душе,
С раздумьем на лице,
Я чуток, как поэт,
Бессилен, как философ.

Вот коростеля крик
Послышался опять...
Зачем стою во мгле?
Зачем не сплю в постели?
Скорее спать!
Ночами надо спать!
Настойчиво кричат
Об этом коростели...

〈1969〉

ДОРОЖНАЯ ЭЛЕГИЯ

Дорога, дорога,
Разлука, разлука.
Знакома до срока
Дорожная мука.

И отчее племя,
И близкие души,
И лучшее время
Все дальше, все глуше.

Лесная сорока
Одна мне подруга,
Дорога, дорога,
Разлука, разлука.

Устало в пыли
Я влачусь, как острожник,
Темнеет вдали,
Приуныл подорожник,

И страшно немного
Без света, без друга,
Дорога, дорога,
Разлука, разлука...

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОК

Домик моих родителей
Часто лишал я сна.
— Где он опять, не видели?
Мать без того больна.—
В зарослях сада нашего
Прятался я, как мог.
Там я тайком выращивал
Аленький свой цветок.
Этот цветочек маленький
Как я любил и прятал!
Нежил его,— вот маменька
Будет подарку рада!
Кстати его, нестати ли,
Вырастить все же смог...
Нес я за гробом матери
Аленький свой цветок.

⟨1966⟩

И все под елками похаживает,
И все за елками ухаживает, —
Снежком атласным принаряживает!
И в новогодний путь — проваживает!
А после сам принаряжается,
В мальчишку вдруг преобразается
И сам на праздник отправляется:
— Кому невесело гуляется? —
Лесами темными и грозными
Бежит вперед с дарами редкими,
И все подмигивает звездами,
И все поигрывает ветками,
И льдинки отвечают звонами,
А он спешит, спешит к народу
С шампанским, с музыкой, с поклонами
Спокойно прожитому году;
Со всеми дружит он и знает, —
И жизнь в короткой этой праздности
Как будто снова начинается —
С морозной свежести и ясности!

<1967>

* * *

Огороды русские
под холмом седым.
А дороги узкие,
тихие, как дым.
Солнышко осоковое
брызжет серебром.
Чучело гороховое
машет рукавом...
До свиданья, пугало,
огородный бог! —
душу убаюкала
пыль твоих дорог...

СКАЧЕТ ЛИ СВАДЬБА...

Скачет ли свадьба в глуши потрясенного бора,
Или, как ласка, в минуты ненастной погоды
Где-то послышится пение детского хора, —
Так — вспоминаю — бывало и в прежние годы!

Вспыхнут ли звезды — я вспомню, что прежде
блистали

Эти же звезды. И выйду случайно к парому, —
Прежде — подумаю — эти же весла плескали...
Будто о жизни и думать нельзя по-другому!

Ты говоришь, говоришь, как на родине лунной
Снег освещенный летел вороному под ноги,
Как без оглядки, взволнованный, сильный и юный
В поле открытое мчался ты вниз по дороге!

Верил ты в счастье, как верят в простую удачу,
Слушал о счастье младенческий говор природы, —
Что ж, говори! Но не думай, что, если заплачу,
Значит, и сам я жалею такие же годы.

Грустные мысли наводит порывистый ветер.
Но не об этом. А вспомнилось мне, что уныло
Прежде не думал: «Такое, мне помнится, было!»
Прежде храбрился: «Такое ли будет на свете!»

Вспыхнут ли звезды — такое ли будет на свете! —
Так говорил я. Я выйду случайно к парому, —
«Скоро, — я думал, — разбудят меня на рассвете,
Как далеко ушлыву я из скучного дому!..»

О, если б завтра подняться, воспрянувши духом,
С детскою верой в бессчетные вечные годы,
О, если б верить, что годы покажутся пухом, —
Как бы опять обманули меня пароходы!..

* * *

Помню, как тропкой,
едва заметной,
В густой осоке, где утки крякали,
Мы с острогой ходили летом
Ловить налимов
под речными корягами.

И вновь будет дождичек литься...
Пусть все это длится и длится!

1967

* * *

Давай, Земля,
Немножко отдохнем
От важных дел,
От шумных путешествий!
Трава звенит!
Волна лениво плещет,
Зенит пылает
Солнечным огнем!

Там, за морями,
Полными задора,
Земля моя,
Я был нетерпелив,—
И после дива
Нашего простора
Я повидал
Немало разных див!

Но все равно
Как самый лучший жребий,
Я твой покой
Любил издавека,
И счастлив тем,
Что в чистом этом небе
Идут, идут,
Как мысли, облака...

И я клянусь
Любою клятвой мира,
Что буду славить
Эти небеса,
Когда моя
Медлительная лира
Легко свои поднимет паруса!

Вокруг любви моей
Непобедимой
К моим лугам,
Где травы я косил,
Вся жизнь моя
Вращается незримо,
Как ты, Земля,
Вокруг своей оси...

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Ночью я видел:
Ломались березы!
Видел: метались цветы!
Гром, рассылающий
Гибель и слезы,
Всех настигал с высоты!
Как это странно
И все-таки мудро:
Гром роковой перенести,
Чтоб удивительно
Светлое утро
Встретить, как светлую весть!
Вспыхнул светящийся
Солнечный веер,
Дышат нектаром цветы,
Влагой рассеянной
Озеро веет,
Полное чистой воды!

* * *

О чем шумят
Друзья мои, поэты,
В неугомонном доме допоздна?
Я слышу спор.
И вижу силуэты
На смутном фоне позднего окна.

Уже их мысли
Силой налились!
С чего ж начнут?
Какое слово скажут?

Они кричат,
Они руками машут,
Они как будто только родились!

Я сам за все,
Что крепче и полезней!
Но тем богат,
Что с «Левым маршем» в лад
Негромкие есенинские песни
Так громко в сердце
Бьются и звучат!

С веселым пеньем
В небе безмятежном,
Со всей своей любовью и тоской
Орлу не пара
Жаворонок нежный,
Но ведь взлетают оба высоко!

И, славя взлет
Космической ракеты,
Готовясь в ней летать за небеса,
Пусть не шумят,
А пусть поют поэты
Во все свои земные голоса!

Ленинград, 1962

БУКЕТ

Я буду долго
Гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов.
И подарю букет
Той девушке, которую люблю.
Я ей скажу:
— С другим наедине
О наших встречах позабыла ты,
И потому на память обо мне
Возьми вот эти
Скромные цветы! —
Она возьмет.

Но снова в поздний час,
Когда туман сгущается и грусть,
Она пройдет,
Не поднимая глаз,
Не улыбнувшись даже...
Ну и пусть.
Я буду долго
Гнать велосипед,
В глухих лугах его остановлю.
Я лишь хочу,
Чтобы взяла букет
Та девушка, которую люблю...

В ДОРОГЕ

Зябко в поле непросохшем,
Не с того ли детский плач
Все назойливей и горше...
Запоздалый и продрогший
Пролетел над нами грач.
Ты да я, да эта крошка —
Мы одни на весь простор!
А в деревне у окошка
Ждет некормленная кошка
И про наш не знает спор.
Твой каприз отвергнув тонко,
Вижу: гнев тебя берет!
Наконец, как бы котенка,
Своего схватив ребенка,
Ты уносишься вперед.
Ты уносишься... Куда же?
Рай там, что ли? Погляди!
В мокрых вихрях столько блажи,
Столько холода в пейзаже
С темным домом впереди.
Вместе мы накормим кошку!
Вместе мы затопим печь!..
Молча глядя на дорожку,
Ты рсшаешь понемножку,
Что игра... не стоит свеч!

КОЗА

Побежала коза в огород.
Ей навстречу попался народ.
— Как не стыдно тебе, егоза? —
И коза опустила глаза.
А когда разошелся народ,
Побежала опять в огород.

ВСТРЕЧА

— Как сильно изменился ты! —
Воскликнул я. И друг опешил.
И стал печальней сироты...
Но я, смеясь, его утешил:
— Меня прежние черты,
Меня возраст, гнев и милость,
Не только я, не только ты,
А вся Россия изменилась!..

ХЛЕБ

Положил в котомку
сыр, печенье,
Положил для роскоши миндаль.
Хлеб не взял.
— Ведь это же мученье
Волочиться с ним в такую даль! —
Все же бабка
сунула краюху!
Все на свете зная наперед,
Так сказала:
— Слушайся старуху!
Хлеб, родимый, сам себя несет...

В СИБИРСКОЙ ДЕРЕВНЕ

То желтый куст,
То лодка кверху днищем,
То колесо тележное
В грязи...

Меж лопухов —
Его, наверно, ищут —
Сидит малыш,
Щенок скулит вблизи.

Скулит щенок
И все ползет к ребенку,
А тот забыл,
Наверное, о нем, —
К ромашке тянет
Слабую ручонку
И говорит...
Бог ведает, о чем!..

Какой покой!
Здесь разве только осень
Над ледоносной
Мечется рекой,
Но крепче сон,
Когда в ночи глухой
Со всех сторон
Шумят вершины сосен,

Когда привычно
Слышатся в лесу
Осин тоскливых
Стоны и молитвы, —
В такую глушь
Вернувшись после битвы,
Какой солдат
Не уронил слезу?

Случайный гость,
Я здесь ищу жилище
И вот пою
Про уголок Руси,
Где желтый куст,
И лодка кверху днищем,
И колесо,
Забытое в грязи...

Тележный скрип, грузовики,
Река, цветы и запах скотский,
Еще бы церковь у реки, —
И было б все по-вологодски.

1966

УЛЕТЕЛИ ЛИСТЬЯ

Улетели листья

с тополей —

Повторилась в мире неизбежность...
Не жалея ты листья, не жалея,
А жалея любовь мою и нежность!
Пусть деревья голые стоят,
Не кляни ты шумные метели!
Разве в этом кто-то виноват,
Что с деревьев листья
улетели?

<1964>

ГРАНИ

Я вырос в хорошей деревне,
Красивым — под скрип телег!
Одной деревенской царевне
Я нравился как человек.

Там нету домов до неба,
Там нету реки с баржой,
Но там на картошке с хлебом
Я вырос такой большой.

Мужал я под грохот МАЗов,
На твердой рабочей земле...
Но хочется как-то сразу
Жить в городе и в селе.

Ах, город село таранит!
Ах, что-то пойдет на слом!
Меня все терзают грани
Меж городом и селом...

1962

В ИЗБЕ

Стоит изба, дымя трубой,
Живет в избе старик рябой,
Живет за окнами с резьбой
Старуха, гордая собой,
И крепко, крепко в свой предел —
Вдали от всех вселенских дел —
Вросла избушка за бугром
Со всем семейством и добром!
И только сын заводит речь,
Что не желает дом стеречь,
И все глядит за перевал,
Где он ни разу не бывал...

ГОСТЬ

Гость молчит,
и я — ни слова!
Только руки говорят.
По своим стаканам снова
Разливаем все подряд.

Красным,
белым
и зеленым
Мы поддерживаем жизнь.
Взгляд блуждает по иконам,
Настроенье — хоть женись!

Я молчу, я слышу пенье,
И в прокуренной груди
Снова слышу я волнение:
Что же, что же впереди?

Как же так —
скажи на милость! —
В наши годы, милый гость,
Все прошло и прокатилось,
Пролетело, пронеслось?

Красным,
белым
и зеленым

Нагоняем сладкий бред...
Взгляд блуждает по иконам...
Неужели Бога нет?

ВОЛНУЕТСЯ ЮЖНОЕ МОРЕ

Волнуется южное море.
Склоняясь, шумят кипарисы.
Я видел усталость и горе
В глазах постаревшей актрисы.

Я видел, как ходят матросы
С тоскою в глазах на закате,
Когда задыхаются розы
В бредовом своем аромате.

А ночью под аспидным небом
В томительных сумерках юга
Груженные спиртом и хлебом
Суда окликают друг друга.

И я, увозимый баржою
Все дальше за южную кромкой,
Всему откликаюсь душою
Спокойно уже и негромко.

УВЛЕКЛАСЬ НЕЧАЯННО

Свадьбы были,
Пасха ли,
Но вся деревня дрыхнула,
Когда ты
Под ласками,
Словно порох, вспыхнула!

Вспыхнула —
Покаешься!
Время будет скверное.
Твой студент
Катается
Весело, наверное...

Временно,
не временно,
А не сдержат слезинок!
Над тобой,
Беременной,
Облетел осинничек...

Ничего
Не чаяла!
Увлеклась нечаянно!
Чаянно,
Нечаянно,
Но все равно отчаянно!..

ЭЛЕГИЯ

Отложу свою скудную пищу.
И отправлюсь на вечный покой.
Пусть меня еще любят и ищут
Над моей одинокой рекой.

Пусть еще всевозможное благо
Обещают на той стороне.
Не купить мне избу над оврагом
И цветы не выращивать мне...

ФИЛОСОФСКИЕ СТИХИ

За годом год уносится навек,
Покоем веют старческие нравы, —
На смертном ложе гаснет человек
В лучах довольства полного и славы!
К тому и шел! Страстей своей души
Боялся он, как буйного похмелья.
— Мои дела ужасно хороши! —
Хвалился с видом гордого веселья.
Последний день уносится навек...
Он слезы льет, он требует участия,
Но поздно понял, важный человек,
Что создал в жизни
ложный облик счастья!

Значенье слез, которым поздно течь,
Не передать — близка его могила,
И тем острее мстительная речь,
Которую душа заговорила...

Когда над ним, угаснувшим навек,
Хвалы и скорби голос раздавался, —
«Он умирал, как жалкий человек!» —
Подумал я, и вдруг заволновался:
«Мы по одной дороге ходим все. —
Так думал я. — Одно у нас начало,
Один конец. Одной земной красе
В нас поклоненье свято прозвучало!
Зачем же кто-то, ловок и остер, —
Простите мне, — как зверь в часы охоты,
Так устремлен в одни свои заботы,
Что он толкает братьев и сестер?!»

Пуškai всю жизнь душа меня ведет!
— Чтоб нас вести, на то рассудок нужен!
— Чтоб мы не стали холодны как лед,
Живой душе пускай рассудок служит!
В душе огонь — и воля, и любовь! —
И жалок тот, кто гонит эти страсти,
Чтоб гордо жить, нахмуривая бровь,
В лучах довольства полного и власти!
— Как в трех соснах, блуждая и кружа,
Ты не сказал о разуме ни разу!
— Соединясь, рассудок и душа
Даруют нам — светильник жизни — разум!

Когда-нибудь ужасной будет ночь.
И мне навстречу злобно и обидно
Такой буран засвищет, что невмочь,
Что станет свету белого не видно!
Но я пойду! Я знаю наперед,
Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает,
Кто все пройдет, когда душа ведет,
И выше счастья в жизни не бывает!
Чтоб снова силы чуждые, дрожа,
Все полегли и долго не очнулись,
Чтоб в смертный час рассудок и душа,
Как в этот раз, друг другу
улыбнулись...

Ноябрь 1964

ЧТО ВСПОМНЮ Я?

Все движется к темному устью.
Когда я очнусь на краю,
Наверное, с резкою грустью
Я родину вспомню свою.

Что вспомню я? Черные бани
По склонам крутых берегов,
Как пели обозные сани
В безмолвии лунных снегов.

Как тихо суслоны пшеницы
В полях покидала заря,
И грустные, грустные птицы
Кричали в конце сентября.

И нехотя так на суслоны
Садилась, клевали зерно, —
Что зерна? Усталым и сонным,
Им было уже все равно.

Я помню, как с дальнего моря
Матроса примчал грузовик,
Как в бане повесился с горя
Какой-то пропащий мужик.

Как звонко, терзая гармошку,
Гуляли под топот и свист,
Какую чудесную брошку
На кепке носил гармонист...

А сколько там было щемящих
Всех радостей, болей, чудес,
Лишь помнят зеленые чащи
Да темный еловый лес!

* * *

Село стоит
На правом берегу,
А кладбище —
На левом берегу.

И самый грустный все же
И нелепый
Вот этот путь,
Венчающий борьбу,
И все на свете, —
С правого
На левый,
Среди цветов
В обыденном гробу...

ДЕВОЧКА ИГРАЕТ

Девочка на кладбище играет,
Где кусты лепечут, как в бреду.
Смех ее веселый разбирает,
Безмятежно девочка играет
В этом пышном радостном саду.

Не любуйся этим пышным садом!
Но прими душой, как благодать,
Что такую крошку видишь рядом,
Что под самым грустным нашим взглядом
Все равно ей весело играть!..

* * *

Я люблю судьбу свою,
Я бегу от помрачений!
Суну морду в полынью
И напьюсь,
Как зверь вечерний!
Сколько было здесь чудес,
На земле святой и древней,
Помнит только темный лес!
Он сегодня что-то дремлет.
От заснеженного льда
Я колени поднимаю,
Вижу поле, провода,
Все на свете понимаю!
Вон Есенин —
 на ветру!
Блок стоит чуть-чуть в тумане.
Словно лишний на пиру
Скромно Хлебников шаманит.

Неужели и они —
Просто горестные тени?
И не светят им огни
Новых русских деревенок?
Неужели

 в свой черед
Надо мною смерть нависнет,—
Голова, как спелый плод,
Отлетит от веток жизни?
Все умрем.
Но есть резон
В том, что ты рожден поэтом.
А другой — жнецом рожден...
Все уйдем.
Но суть не в этом...

ЭХО ПРОШЛОГО

Много было в комнате гостей,
Пирогов, вина и новостей,
Много ели, пили и шутили,
Много раз «Катюшу» заводили...
А потом один из захмелевших,
Голову на хромку уронив,
Из тоски мотивов устаревших
Вспомнил вдруг кладбищенский мотив:
 «Вот умру, похоронят
 На чужбине меня.
 И родные не узнают,
 Где могила моя...»
— Эх, ребята, зарыдать хочется!
Хошь мы пьем, ребята,
Хошь не пьем,
Все одно помрем, как говорится,
Все, как есть, когда-нибудь помрем.

Парень жалким сделался
 и кротким,
Погрустнели мутные глаза.
По щеке, как будто капля водки,
Покатилась крупная слеза.
 «У других на могилах
 Всё цветы, всё цветы.

На моей сырой могиле
Всё кусты, всё кусты...»

Друг к нему:

— Чего ты киснешь, Проня? —
Жалобней: — Чего тебе-то выть?
Ты умрешь — тебя хоть похоронят.
А меня? Кому похоронить? —
И дуэтом

здоровилы эти,
Будто впрямь несчастливы они,
Залились слезами, словно дети,
На глазах собравшейся родни!

А ведь в песне,
так некстати спетой,
Все в такую даль отдалено,
Что от этих слез,
От песни этой,
Стало всем не грустно,
а смешно!

В дружный хохот
вкладывали душу.
— Ох, умора! Ох и мужики! —
Еще звонче пели про Катюшу
И плясали, скинув пиджаки!

КОНЕЦ

Смерть приближалась,
приближалась,
Совсем приблизилась уже, —
Старушка к старику прижалась,
И просветлело на душе!

Легко, легко, как дух весенний,
Жизнь пролетела перед ней,
Ручьи казались, воскресенье,
И свет, и звон пасхальных дней!

И невозможен путь обратный,
И славен тот, который был,
За каждый миг его отрадней,
За тот весенний краткий пыл.

— Все хорошо, все слава богу... —
А дед бормочет о своем,
Мол, поживи еще немного,
Так вместе, значит, и умрем.

— Нет, — говорит. — Зовет могилка.
Не удержать меня теперь.
Ты, — говорит, — вина к поминкам
Купи. А много-то не пей...

А голос был все глуше, тише,
Жизнь угасала навсегда,
И стало слышно, как над крышей
Тоскливо воют провода...

ЗИМНИМ ВЕЧЕРКОМ

Ветер, не ветер —
Иду из дома!
В хлеву знакомо
Хрустит солома,
И огонек светит...

А больше —
ни звука!
Ни огонька!
Во мраке вьюга
Летит по кочкам...

Эх, Русь, Россия!
Что звону мало?
Что загрустила?
Что задремала?

Давай пожелаем
Всем доброй ночи!
Давай погуляем!
Давай похохочем!

И праздник устроим,
И карты раскроем...
Эх! Козыри свежи.
А дураки те же.

Николай РУБЦОВ

Письма

Т. А. СМИРНОВОЙ *

«Не стоит ни на грош
сия открытка... Все ж.
Как память
встреч случайных,
забытых нами встреч,
на случай грусти тайной
сумей ее сберечь.

Тая от Коли»

1.1. 1956 г.

В. И. САФОНОВУ **

2 февраля 1959 года

...Твое доброе, деятельное настроение вдохнуло в меня порцию любви и жизни. Такую любовь можно смело назвать кислородом, которым дышит сердце и без которого легко задохнуться в угарных газах мрачного, скептического состояния. Ты своим письмом избавил меня от вредного и неприятного расположения духа, который тогда владел мной. В общем, я был очень и очень рад твоему письму.

Сейчас политзанятия. Минуту назад я с должным воодушевлением ответил на вопрос, заданный мне по теме. Больше, видимо, не потревожат, и я решил переключиться мыслями и вниманием к тебе.

Сперва о деле. Ты говоришь, что необходимо (или желательно) узнать подробности поездки Есенина в Мурманск. Действительно, это надо сделать и кто-то должен добиться здесь успеха, т. е. узнать, что требуется. К сожалению, для меня это пока почти невозможно, по-

* Таисия Александровна Смирнова (в замужестве Голубева), Тая, которой посвящены многие юношеские стихи Н. М. Рубцова.

** Валентин Иванович Сафонов — прозаик и очеркист. Вместе с Н. Рубцовым служил на Северном флоте. После демобилизации работал в газете «На страже Заполярья». Автор нескольких книг прозы.

скольку, сам знаешь, я на службе и потому лишен свободы действий.

Надо бы поехать в Мурманск и на месте попытаться найти людей, которые помогут. Перепиской вряд ли чего добьешься, но, не имея других средств, я все-таки написал одно письмо в Ростов-на-Дону знакомой преподавательнице литературы, она любит Есенина и прекрасно знает его биографию. Недавно она тоже была в Мурманске продолжительное время. Может, подскажет, с чего начать. А если в подходящее мурманское учреждение написать? Мало толку?

Что бы там ни было, помнить об этом деле буду постоянно. Да и невозможно забыть мне ничего, что касается Есенина. О нем всегда я думаю больше, чем о ком-либо. И всегда поражаюсь необыкновенной силе его стихов. Многие поэты, когда берут не фальшивые ноты, способны вызывать резонанс соответствующей душевной струны у читателя. А он, Сергей Есенин, вызывает звучание целого оркестра чувств, музыка которого, очевидно, может сопровождать человека в течение всей жизни.

Во мне полнокровной жизнью живут очень многие его стихи. Например, вот эти:

...Кто видал, как в ночи кипит
Кипяченных черемух рать?
Мне бы в ночь в голубой степи
Где-нибудь с кистенем стоять!

Так и представляется, как где-то в голубой сумрачной степи маячит одинокая разбойная фигура. Громкий свист... Тихий вскрик... И выплывает над степью луна, красная, будто тоже окровавленная...

Что за чувства в этих стихах? Неужели желание убивать? Этого не может быть! Вполне очевидно, что это неудержимо буйный (полнота чувств, бьющая через край, — самое ценное качество стиха, точно? Без него, без чувства, вернее, без нее, без полноты чувства, стих скучен и вял, как день без солнца) — повторяю: это неудержимо буйный (в русском духе) образ жестокой тоски по степному раздолью, по свободе. Не важно, что образ хулиганский. Главное в нем — романтика и кипение, с исключительной силой выразившие настроение (беру чисто поэтическую сторону дела). Вообще в стихах должно быть «удесятеренное чувство жизни», как сказал Блок. Тогда они действенны.

Вот у Сельвинского:

...И мое далекое страдание,
Стиснутое, сжатое толпой,
Розой
 окровавленной
 в стакане
Будет полыхать перед тобой!

В «Литературке» было напечатано. Ты читал? Наверное, тоже понравилось? В большинстве стихов наших флотских, как ты называешь, пиитов (да и не только наших) как раз недостает этого. Какие-то сухие, схематичные стишки. Не стоит говорить о том, что они не будут жить: они рождаются мертвыми.

Валя, я только что расписался, а конец политзанятий уже близок, и, пожалуй, надо кончать, чтобы не откладывать письмо до следующего случая: собраться что-то написать для меня всегда трудность. Да и зачем рассуждать так много, всего не перескажешь; и может получиться такое нагромождение чепухи, что ты вынужден будешь воскликнуть что-нибудь в духе Гоголя: «Это черт знает что!»

Рядом со мной сидит бывалый моряк, давний мой приятель. Он произносит иронический упрек в мой адрес: мол, меня не волнует (а должна волновать!) тема занятий. Я отвечаю, что люблю только самые интересные, захватывающие места. Но умалчиваю о том, что он уже надоел своими репликами. Не говорю этого потому, что он вспыльчив. Как спичка. Хотя и отходчив. Попилит и успокоится. Как крем-сода.

Ну, позволь пожелать тебе всего только самого лучшего, успехов во всем, здоровья на тысячу лет.

О себе писать ничего пока не стану. Скажу только, что все чаще (до ДМБ-то недалеко!) задумываюсь, каким делом заняться в жизни. Ни черта не могу придумать! Неужели всю жизнь придется делать то, что подскажет обстановка? Но ведь только дохлая рыба (так гласит народная мудрость) плывет по течению!

Еще раз счастливо! Пиши ответ, если найдешь время. Буду ждать!

С приветом и наилучшими пожеланиями Н. Рубцов.

Пиши о себе, о своих планах, как живешь? Нравится ли работа в газете?

А Кашука * я видел один раз на занятии объединения. Стихи его знаю хорошо. Вот из стихотворения «Поэт»:

Он двадцать раз готов гореть
над строчкой,
Чтоб в двадцать первый раз
зажечь сердца!

Пос. Роста

В. И. САФОНОВУ

29 мая 1959 года

Валя, здравствуй! Здравствуй!

...Пишу тебе из мурманского госпиталя. Требовалась легкая операция — вот я сюда и угодил.

Дня три-четыре мучился, потом столько же примерно наслаждался тишиной и полным бездействием, потом все надоело. На корабль не очень-то хочется, но и здесь чувствуешь себя не лучше, чем собака на цепи, которой приходится тявкать только на кошку или на луну.

Обстановка для писания стихов подходящая, но у меня почти ничего не получается, и я решил убить время чтением разнообразной литературы. Читал немного учебник по стенографии — в основном искал почему-то обозначения слов «любовь» и «тебя», читал новеллы Мопассана, мемуары В. Рождественского в «Звезде», точнее, в нескольких «Звездах», и даже «Общую хирургию» просматривал. Между прочим, пришло здесь в голову, кажется, удачное сравнение: моряк обязан знать свое дело, как хирург свое дело знает. Каждый моряк.

Еще занимаюсь игрой в шахматы.

В понедельник или вторник на следующей неделе
в шусь.

Ночами часто предаюсь воспоминаниям. И очень в такие минуты хочется вырваться наконец на простор, поехать куда-нибудь, посмотреть на давно знакомые памятные места, послоняться по голубичным болотам да по земляничным полям или посидеть ночью в лесу у костра и наблюдать, как черные тени, падающие от деревьев, передвигаются вокруг костра, словно какие-то таинственные существа.

* Ю. И. Кашук. Служил одновременно с Н. Рубцовым и В. Сафоновым на Северном флоте, был членом литобъединения, автор нескольких сборников стихов. Живет во Владимире.

Ужасно люблю такие вещи.

С особенным удовольствием теперь слушаю хорошую музыку, поставив динамик к самому уху, и иногда в такие минуты просто становлюсь ребенком, освобождая душу от всякой скверны, накопленной годами.

Ну, хватит об этом.

Посылаю тебе два стихотворения: «Дан семилетний план», «Сестра». Первое озаглавлено строкой Н. Асеева, и этот заголовок измени, если хочешь, как хочешь.

Второе написано с посвящением здешней девушке-медсестре.

Не подумай, что я влюблен, точнее, не подумай, что только я в нее влюблен: ее любят все за ее чудесный характер и работу. С ней говорить — то же, что дышать свежим чистым воздухом.

Если что не пойдет в газеты, сообщи об этом...

В стихах о семилетке в последней строфе слова «Ведь в каждом деле...», может, лучше заменить на «И в каждом деле...». Посмотри. В таком случае после сл. «растущее» надо будет, наверное, поставить многоточие?

А ты получил стихи «Первый поход»? А будет напечатано «Счастливого пути»?

Ответ пиши, конечно, не на госпиталь, на прежний адрес.

В. И. САФОНОВУ

Ленинград, 2 июля 1960 года

...Письмо твое получил. Правда, далеко не сразу, поскольку с прежнего места жительства (куда пришло письмо) давно перебрался в Ленинград. И оно, твое письмо, терпеливо ждало, когда я наконец соберусь на побывку в «старую хату».

От всей души, от всего сердца поздравляю тебя с браком. И от всей души и от всего сердца желаю тебе в новой жизни всего, что желают только другу.

Пусть в дальнем домике твоём
Никто ни с кем не ластея.
Пусть только счастье входит в дом
И все, чего желается.

Валя, ты просил написать, на что я живу. Я благодарен тебе за твое внимание даже к деталям моего тепе-

решного житья. И отвечаю на вопрос: сперва было не очень-то весело, теперь же можно жить, т. к. работать устроился на советский завод, где, сам знаешь, меньше семисот рублей никто не получает. С полочки особенно хорошо: хожу в театры и в кино, жру пирожное и мороженое и шляюсь по городу, отнюдь не качаясь от голода.

Вообще живется как-то одиноко, без волнений, без особых радостей, без особого горя. Старсю понемножку, так и не решив, для чего же живу. Хочется кому-то чего-то доказать, а что доказывать и кому доказывать — не знаю. А вот мне сама жизнь давненько уже доказала необходимость иметь большую цель, к которой надо стремиться.

Но все это муть. Тебе все это неинтересно и старо. Дело жизни тобой выбрано, насколько я понимаю.

А мне нравятся только поездки в разные места.

Погода в Ленинграде неплохая. Лету давно был объявлен подъем. Но оно сперва, как недисциплинированный моряк, «тянулось», за это наказано несколькими внеочередными похолоданиями, теперь поняло свою вину и выполняет обязанности добросовестно. Что это мне взбрела на ум боевая и политическая подготовка — это-то тут при чем? Господи помилуй!..

С искренним приветом *Н. Рубцов*

Валя!

Извини, еще немного займу твое внимание.

Получил вчера из вашей газеты перевод девятнадцатирублевый. Мне интересно узнать, что это за миниатюра такая была напечатана в газете? Я таких коротких стихов не посылал. Может быть, ты читал ее, тогда, будь добр, напиши мне, про что в ней, в этой миниатюре. И еще напиши, пожалуйста, выходила ли полоса стихов б. ч. л. (бывших членов литобъединения. — *Ред.*), если выходила, было ли там мое что-нибудь?

Валя, а ты видел фильмы «Рапсодия», «Алексей Кольцов»? Какие это замечательные вещи, да?

Ну, дорогой Валька, еще раз поздравляю тебя, еще и еще раз крепко жму руку.

Искренне *Н. Рубцов*

P. S. Валя, очень прошу: если будешь писать ответ, пошли, пожалуйста, что-нибудь из своих стихов. Мне так хочется почитать их. Пиши. Очень жду.

Лариса!

Привет, привет!

Ты спрашиваешь, почему я так и не написал письмо, хотя обещал. А мне интересно знать, не все ли равно тебе, напишу я или нет.

В общем, короче. Перехожу с прозы на стихи, коими для меня удобней выражать мысли. А также и чувства.

Ах, отчего мне
Сердце грусть кольнула.
Что за печаль у сердца моего?
Ты просто
В кочегарку заглянула,
И больше не случилось ничего.
Я разглядеть успел
Всего лишь челку,
Но за тобою, будто за судьбой,
Я выбежал,
Потом болтал без толку
О чем-то несущественном с тобой.
Я говорил невнятно,
Как бабуся,
Которой нужен гроб, а не любовь.
Знать, потому
Твоя подруга Люся
Посмеивалась, вскидывая бровь?
Вы ждали Вову.
Очень волновались.
Вы спрашивали: «Где же он сейчас?»
И на ветру легонько развевались,
Волнуясь тоже,
Волосы у вас.
Я знал
Волненья вашего причину
И то, что я здесь лишний, —
Тоже знал!
И потому,
Простившись чин по чину,
К своим котлам по лужам зашагал.

Нет, про любовь
Стихи не устарели!
Нельзя сказать, что это сор и том.
С кем ты сейчас
Гуляешь по Форели?
И кто тебя целует за углом?
А если ты
Одна сидишь в квартире,
Скажи: ты никого к себе не ждешь?

Нет ни одной девчонки в целом мире,
Чтоб про любовь сказала: «Это ложь!»
И нет таких ребят на целом свете,
Что могут жить, девчонок не любя.
Гляжу в окно,
Где только дождь и ветер,
А вижу лишь тебя, тебя, тебя!

Лариса, слушай!
Я не вру нисколько —
Созвучен с сердцем каждый звук стиха.
А ты, быть может,
Скажешь: «Ну и Колька!»
И рассмеешься только: ха-ха-ха!

Тогда не сей
В душе моей заразу —
Тоску, что может жечь сильнее огня.
И больше не заглядывай ни разу
К нам в кочегарку!
Поняла меня?

С искренним приветом *Н. Рубцов*

КОНСТАНТИНУ КУЗЬМИНСКОМУ *

Привет, привет,
«несчастный» Костя!

Я читал у Эдика ** твое письмо, проникнутое трогательным пессимизмом, отчаянием.

* Письмо опубликовано С. Сорокиным в сборнике «Сгоревший дом». М.: Палея, 1994.

** Э. Шнейдерман.

Просишь стихов. Если не пошлем их, — сойдешь с ума в Феодосии, так что ли? Ну, ладно, друзьям полагается в таких случаях быть отзывчивыми и т. п., и я отзовусь, напишу тебе что-нибудь из своих стихов в конце письма. Подкрепи ими свои ослабевшие силы. Или травить в ближайшую урну потянет?

Но о чем писать? Говорить о лит. сплетнях? Но я почему-то не интересуюсь ими, и поэтому не могу (далее 3 слова тщательно зачеркнуты. — *Б. Т.* *) покорить и напоить свежими (далее одно слово зачеркнуто, и вместо него — над ним написано: слухами. — *Б. Т.*) слухами организм (обойдемся без эпитета) твоего любопытства. Это если понимать сплетни в их обычном, прозаически-унылом смысле. А если сплетни в твоём понимании — просто разговор осведомленных людей о новых стихах, о делах поэтов, то пожалуйста: недавно...

Впрочем, мне скоро на работу, так что писать об этом ничего не стану, тем более что все обыденно и изрядно поднадоело. Приедешь — все узнаешь. Ты ведь скоро приедешь? Не будешь ведь там всю жизнь околачиваться и сходить с ума. Все проходит, проходит и жизнь, а твое теперешнее состояние, новая обстановка — пройдут и по-давно. Да, самое удивительное, самое возмутительное в том, что время идет независимо от наших соображений, от нашего желания. Вот черт!

А что, пожалуй, неплохо, что ты сейчас ничего не пишешь. Всю зиму, как мне кажется, ты писал, как будто беспорядочно, лихорадочно растрачивая свои поэтические патроны, куда попало, во что попало, лишь бы стрелять, благо патроны были. А теперь, может быть, ты приготовился убить тигра, чувствуешь огромное желание убить тигра. А тигра надо сперва выследить. Дай Бог, чтоб он попал тебе и чтоб ты пристрелил его на месте.

Костя, не обращай внимания на хаотичность моих разглагольствований (слово-то, мать его...), в самом деле, спешу. Думать некогда. Да и что я, несерьезное создание, могу написать серьезного, дельного.

Меня тоже сейчас не очень тянет писать. Больше тянет на женщин, на деревья, на тени на тротуаре (вычеркнуто слово. — *Н.К.*). Ты бы посмотрел, какие у нас на Севастопольской улице тени ночью! О господи, оказы-

* Борис Тайгин — автор текста комментария в сборнике «Сгоревший дом».

Не знаю, чем он кончится,
Запутавшийся путь.
Но так порою хочется
Ножом... куда-нибудь!

Жму лапу. *Н. Рубцов*
(см. на обороте)

〈Текст на обороте листа〉

Ссвастопольская, д. 5, кв. 22.

Черкни, как будет время.
Адью!

Э. ШНЕЙДЕРМАНУ *

(Не датировано)

Дорогой Эдик, привет, привет!

Посылаю стихи.

Попробуй как-нибудь разобраться в почерке и правильно отпечатать стихи.

А когда выходит «Оптима»?

Мою подборку открой «Элегией». Потом пусть будет тралфлотский цикл с таким расположением стихов: «В океане», «Фиалки», «На берегу», «Бывало». Двух стихов («Портовая ночь», «Я весь в мазуте») пусть не будет. Неохота просто больше мне писать. Потом — два стиха про любовь, «Видение в долине», «Поэт», «В этом городе крыши низкие» ** (обязательно этот стих напечатай в таком виде, в каком посылаю). И закрой подборку стихотворением «Космонавты советской земли».

«В океане» и «На берегу» сейчас не посылаю. Помнится, что они у тебя уже есть.

Стихи печатай смелей. Там просто чувства, отвлечение, точно? Тем более что все эти стихи я посылал уже сюда, в институт на конкурс. Ну, будь здоров, Эдик. Жду от тебя письма. Пиши. Посылай стихи свои.

С большим приветом *Коля*.

Привет Киму, Лене.

Н. Рубцов

Р. С. Эдик, это стихотв[орение] помести после стиха «Птицы разного полета». Больше про любовь ничего не надо. Про Гааза тоже не надо.

* Скорее всего, письмо написано в конце 1962 (может быть, в начале 1963) года в Ленинград друзьям по литобъединению.

** Стихотворение неизвестно.

АЛЕКСАНДРУ ЯШИНУ *

Дорогой Александр Яковлевич!

Студенты всех курсов института писали ректору, Ивану Николаевичу **, обо мне. Просили восстановить. Ректор сказал, что всех их за это надо бы пропесочить! Он злой на меня. Сведения о моем проступке дошли до него в явно искаженном виде. Из искры раздули пламя (правда, искра была сильной).

Поэтому мне вряд ли стоит идти к нему. О чем с ним говорить? Жаловаться, что у меня нет ни специальности, ни дома (есть только любовь к одной избе и местности глубоко в Вологодской области, где прошло детство), нет ничего? Я не люблю жалобных слов.

Мне сказали, что исключил меня из института все-таки ректорат. Ни в каком секретариате такого приказа не было. Возможно, вполне возможно, были звонки из Союзного секретариата.

Когда В. Белов ругал меня на чем свет стоит, я хорошо понимал его. Более всего стыдно мне, Александр Яковлевич, перед Вами.

В общем, «мне осталась одна забава: пальцы в рот — и веселый свист!». В буквальном смысле, конечно, и этого не осталось.

Наверное, мне надо бы уехать куда-нибудь на месяц, на два, имея перспективу. Что мне нужно для этого сделать?

Извините за беспокойство.

Как я благодарен Вам за все. Вы сами понимаете.

Кто-то сказал, что я в институте подложил свинью. Когда поеду, позвоню Ивану Николаевичу, что я свинью не подкладывал. И Вас в этом уверяю.

Всего Вам наилучшего!

Н. Рубцов

Р. С. Никакой секретариат, наверное, и не имеет права писать приказы об исключении из института.

(13 декабря (?) 1963 г.)

* Александр Яковлевич Яшин (1913—1968) — известный писатель, поэт и прозаик, уроженец Вологодчины.

** Иван Николаевич Серегин — ректор Литинститута в 1960-х годах.

27 июля 1964 года

Здравствуй, Сережа!

Я снова в своей Николе. А ты? В своей ли Тотьме? Что-то я не вижу в здешних газетах твоей фамилии. Может быть, ты уехал или уехал куда-нибудь и мое письмо не застанет тебя дома?

Живу я здесь уже месяц. Погода, на мой взгляд, великолепная, ягод в лесу полно — так что я не унываю.

Вася Белов говорил мне, что был в Тотьме, был у тебя. В Тотьме у тебя ему понравилось. Да иначе и не может быть!

Хотелось бы мне встретиться тебя, тем более, что у меня есть к тебе дело. О нем я пока не стану говорить. Думаю, что заеду в Тотьму, вот тогда об этом и поговорим.

Ты обязательно, я прошу, дай мне ответ на это письмо, если ты дома. Я буду знать, что ты никуда не уехал. А иначе (если ты уехал) и в Тотьму мне заезжать нечего.

Может быть, ты возьмешь командировку опять в Ни-колу? И тебе неплохо несколько дней пошляться по этой грустной и красивой местности.

Ты не видел моих стихов в «Молодой гвардии» и в «Юности», 6-е номера? Я недоволен подборкой в «Юности», да и той, в «Молодой гвардии». Но ничего. Вот в 8-м номере «Октября» (в августе) выйдет, по-моему, неплохая подборка моих стихов. Посмотри. Может быть, в 9-м номере. Но будут.

Какие у тебя новости? Как живется тебе? Как пишется?

Жду от тебя письма. До свидания.

Крепко жму твою добрую мускулистую руку!

С искренним приветом *Н. Рубцов*

Мой адрес: Тотемский р-н, Никольский с/с, с. Никольское. Привет твоей маме. 27/7-64 г.

Пиши ответ скорее: мои каникулы уже на исходе. Во второй половине августа уеду отсюда.

АЛЕКСАНДРУ ЯШИНУ

Здравствуйте, Александр Яковлевич!

Пишу Вам из села Никольского. Это в старинном

* С. П. Багров — писатель. Вместе с Н. Рубцовым учился в лесотехническом техникуме (1951—1952).

Тотемском районе Вологодской области. Вы, наверное, бывали и здесь, в этих красивых и грустных местах?

Здесь великолепные (или мне только кажется) холмы по обе стороны неширокой реки Толшмы, деревни на холмах (виды деревень), леса, небеса. У реки, вернее, над рекой, сразу у въезда в Николу (так здесь коротко называют село), под березами — разрушенная церковь. Тоже великолепная развалина! В этой местности когда-то я закончил семь классов (здесь для души моей родина), здесь мне нравится, и я провожу здесь уже второе лето.

Дорогой Александр Яковлевич! Сколько раз звонил Вам по телефону в Москве, а все не мог дозвониться. Даже в праздники не смог по-человечески поздравить Вас. Один раз кто-то сразу же вмешался, другой раз ничего не было слышно. Я слышал только, как Вы сказали «Але!». В общем-то, оба раза я сказал все-таки в трубку «Поздравляю!».

Село это культурное: выписывает всевозможные газеты. Я тоже иногда читаю их. Читал в «Вологодском комсомольце» * Ваши стихи. Очень, очень обрадовался Вашей фамилии в газете и Вашим стихам.

Вообще-то, «Вологодский комсомолец» — газета унылая. Печатает удивительно неуклюжие, пустяковые «современные» местные стихи. Уж сколько раз твердили миру, что мы молотобойцы, градостроители и т. п., и все твердят, твердят! А где лиризм, естественность, звучность? Иначе, где поэзия? Да еще многие из пишущих со своим легкомысленным представлением об этом деле носятся, как курица с яйцом! Впрочем, это сейчас широко распространено на Руси.

О Вашей «Вологодской свадьбе», об этом прекрасном литературном явлении, слава богу, и здесь стали говорить лучше, трезвее. Ведь правда, как пьяные, наговорили тогда, помянуть Гоголя, черт знает что! Беда, конечно, в том, что очень уж немногие могут иметь в этом деле действительно свое, действительно толковое мнение!

Ну, до чего жаль, что в лесу опять нет рыжиков! Недавно в лесу так обиделся на это, что даже написал стихотворение о том, как много бывает грибов: в общем, не смог обойтись без того, чтоб не приукрасить свою лесную жизнь. Иначе было бы очень скучно. Ужасно люблю собирать грибы, особенно рыжики! Когда их много,

* Здесь и далее текст выделен А. Яшиным.

рыжиков, они так и заманивают в лес! Я беспрерывно вижу их во сне и просто так, перед глазами: мерещатся.

Ягод в лесу нынче полно. Но я больше люблю смотреть на них. Сбирать с удовольствием могу только такие ягоды, которые быстро прибывают в ведре или корзине. Ну, есть такие: брусника, клюква, смородина.

Вы знаете, в собирании земляники и малины мне все чудится что-то сиротское, старинное, особенно милое и грустное, даже горестное. В одной старой песне так и поется: «Послали меня за малиной...»

Между прочим, вчера с великим наслаждением и тоской слушал романсы в исполнении Надежды Андреевны Обуховой. По радио передавали. Как было все прекрасно: и музыка, и слова, и голос!

В это лето напечатали две подборки моих стихов. В «Октябре» и в «Юности». Подборка в «Юности» никуда не годится. Я не согласился бы печатать ее, если б в это лето мне не очень потребовались деньги. Да еще так отредактировали кое-какие места. Вместо «суда гудели, надрывались...» напечатали «суда гудели, надрываясь». В результате и рифма стала безвкусной, и слово «надрывались» потеряло ударное значение. «И дул в лицо им мокрый норд» — не моя строчка. Как легко было строчку эту сделать лучше, вдобавок избежать «им мокрый»! А из стихотворения «Загородил мою дорогу грузовика широкий зад» после поправок получилось нечто вроде блокнотной записи.

В «Октябре» ко мне отнеслись хорошо. Стихи прошли через Кочетова А. Д. Стариков (зам. редактора) старался тоже напечатать что-нибудь получше. В этой подборке есть тоже плохие места, но тут уж виноват я сам полностью и недоволен за это только собой.

А все-таки, если б не Вы: сидеть бы мне сейчас за железной решеткой, распевать бы да слагать тюремные песенки, да клевать бы, как птица, клюкву на болоте во время перекуров. Да ходил бы за мной стражник с огромным таким штыком!

Хотелось бы мне напечатать стихи в «Литературной газете», но это абсолютно невозможно, даже если найдутся стихи подходящие. Пробовал. Похвалят меня, и уйду я с богом.

Здесь за полтора месяца написал около сорока стихотворений. В основном о природе, есть и плохие и есть вроде ничего. Но писал по-другому, как мне кажется. Предпочитал использовать слова только духовного, эмо-

ционально-образного содержания, которые звучали до нас сотни лет и столько же будут жить после нас. По моему, совсем не обязательно в лирике употреблять современные слова. Современное слово «трактор», например, через десяток-другой лет может звучать уже архаично, как преходящая обыденность. В общем, было такое настроение, а что дальше — видно будет. Кое-какие стихи летние посылаю Вам. Извините, разболтался я, как воробей на просыпанном зерне. До свидания, Александр Яковлевич! Сердечный привет Злате Константиновне, всей вашей чудесной семье.

С искренней любовью *Н. Рубцов*
(дата отправления на почтовом штемпеле: 22.08.64)

С. П. БАГРОВУ

Август 1964 года

Сережа, милый!

Как доехал? Не сломался мотоцикл?

Сразу после тебя целые сутки у нас был дождь. Сразу же после дождя я побежал в лес искать рыжики. Рыжиков не нашел, но зато написал стихотворение о том, как много в лесу бывает грибов *. Это стихотворение наполовину навеяно случайно связанной с тобой строчкой (а может быть, и не случайно): «Ведьмы тоже по-детски плачут». Посылаю его тебе. По-моему, оно получилось неплохим. Ты лучше что-нибудь выкинь из тех стихов, а это предложи своей газете.

Я очень был рад твоему приезду. Спасибо тебе, что «наш двор уединенный, пустынным снегом занесенный, твой колокольчик огласил!» (Пушкин).

Вышел 8-й номер «Октября». Там есть и мои стихи. Я уже их читал. А ты не читал? Посмотри, если найдешь как-нибудь минуту свободного времени. Сядь в кресло, закури сигару и почитай помаленьку, балагуря о том, о сем...

Я получил письмо от одного московского товарища, поэта. Собирается приехать ко мне в Нинолу. Поздно-то он что-то надумал: пока едет, пока то да се, — я буду готовиться покинуть эту святую обитель природы. Да как знать! Может, потом вместе заглянем к тебе.

А рыжики еще будут!

* Стихотворение «Сапоги мои — скрип да скрип...».

Ваня Серков уехал. Почти всю ночь просидели у прощального костра. Жаль, что он уехал.

...Ну, будь здоров! До свидания, Сережа. Пиши. Буду ждать.

Сердечный привет Елесину *...

Н. Рубцов

А. Я. ЯШИНУ

Добрый день, Александр Яковлевич!

Письмо мое будет коротким. Просто хочу послать Вам привет и, как говорится, весточку.

Пишу все из того же села Никольского, откуда написал Вам предыдущее письмо. Вы его получили? Не выезжаю в Москву в институт потому, что перехожу на заочное. А еще потому нахожусь именно здесь, что здесь мне легче дышится, легче пишется, легче ходится по земле. Много раз ходил на болото. Километров за шесть отсюда есть огромное, на десятки километров во все стороны, унылое, но ягодное болото. Собирал клюкву. Ходил туда до тех пор, пока не увидел там змею, которая на меня ужасно прошипела. Я понял это, как предупреждение. Мол, довольно! И больше за клюквой не пойду. Да и птицы в последний раз на болоте кружились надо мной какие-то зловещие, большие, кружились очень низко над моей одинокой головой и что-то кричали.

Вообще, я еще должен заехать в Москву, в этот институт — улей, который теперь тише, наверное, шумит, т. к. поразлетелись из него многие старые пчелы, а новые не прибывают. Далеко не все нравится, и не все, в литинститутском быту, но очень хочется посмотреть на некоторых хороших наших поэтов, послушать их. Остались ли они еще там? Если не остались, то лучше бы снова одиноко ходить мне на наше унылое болото.

Удивительно хорошо в деревне! В любую погоду. Самая ненастная погода никогда не портит мне здесь настроение. Наоборот, она мне особенно нравится, я слушаю ее, как могучую печальную музыку... Конечно, не любая сельская местность может быть по душе.

Поеду отсюда числа 27 сего месяца. Как раз будет лотерейный розыгрыш, я выиграю «Москвич», вот в нем

* В. Д. Елесин — журналист и писатель. В настоящее время работает в редакции областной газеты «Красный Север».

и поеду. Между прочим, за это лето научился я играть в лотерею: два раза подряд выиграл по рублю. А то ли еще будет!

До свидания, Александр Яковлевич! От всей души желаю Вам отличного здоровья, всего наилучшего, Вам и Вашей семье. Передайте, пожалуйста, привет Злате Константиновне.

С искренней любовью и приветом *Н. Рубцов*
25.9.64 с. Никольское. Дождь.

Р. С. Да, посылаю Вам почитать кое-что из последних своих стихов. Хотелось бы каким-то образом узнать о них Ваше мнение.

Посылаю Вам вырезку из районной газеты «Ленинское знамя» за 24 сентября с. г. (Тотемский р-н, Вол. обл.) Там немного написано о Вашей повести «Сирота».

С. П. БАГРОВУ

〈Август 1964 года〉

Сереза!

Черт возьми! Еще раз приходится тебя беспокоить. Пустяк, но все-таки.

Только что отправил тебе письмо и вспомнил, что в посланном стихотворении одна строфа отпечатана не так. Вернее, одна строчка: «Будто видишь ты сновидение?»

Надо так: «Будто видит твоя душа сновидение?»

Извини за беспокойство.

Еще раз привет!

Н. Рубцов

С. П. БАГРОВУ

〈Осень 1964 года〉

Здравствуй, Сереза!

Видел литстраницу в «Ленинском знамени» — твой рассказ и свои стихи. Твой рассказ мне понравился. За свои стихи благодарен тебе и редакции.

Снимки тоже получил. И тоже большое тебе спасибо. Но тут у меня к тебе вот какое дело: не смог бы ты отпечатать еще и послать снимки, где сидят на колодце Ленька Богданов, Лев Николаевич и я с ними? Это ты зафотографировал у нас во дворе. Этот снимок, конечно,

нужен не мне, а Льву Ник. и Ленке, так что послать его можно и не спешно, хоть когда, когда меня и в Николе не будет.

В Николе я решил прожить вплоть до сентября, т. к. в лесу поспело много брусники. Да и рыжики, должно быть, скоро пойдут.

По-прежнему пишу иногда стихи. Написал после тебя еще 6 стихотворений. Несколько из них посылаю тебе, просто так, почитать.

Ну, будь здоров, Сережа!

Да, я так и не сумел послушать твое выступление по радио. Получил твое письмо уже после выступления и поэтому ничего не знал о нем. А сплю я обычно часов до девяти, так что случайно услышать тебя в эфире тоже не смог: ты ведь говорил по радио часов в 7?

Всего тебе наилучшего!

Салют городу Тотьме, реке Сухоне, всем ее островам и заливам!

Крепко жму руку.

С приветом *Н. Рубцов*

С. П. БАГРОВУ

30 октября 1964 года

Дорогой Сережа!

Добрый день!

Я уже три дня в Николе. Один день был на Устье в дороге. Пришлось топать пешком... Не знаю, как бы я тащился по такой грязи, столько километров... с чемоданом! Хорошо, что ты любезно оставил его у себя.

Что новенького в твоей жизни? В личной и общественной? Продолжаешь ли работать над повестью?

Вчера я отправил Каленистову заметки о той учительнице и стихотворение. Стихотворение писать было тяжелей, ей-богу! Ты сам знаешь, почему это. Можно было бы подумать еще и над прозой, и над стихами, если б я точно знал, что еще будут ходить пароходы. Ведь если они на днях перестанут ходить, этот мой материальчик мог бы сильно задержаться, и тогда я был бы виноват перед Каленистовым.

Сережа, я здесь оказался совсем в «трубе». На Устье у меня потерялись или изъялись кем-то последние гроши. Сильно неудобно поэтому перед людьми в этой избе, тем более, что скоро праздник. Может быть, поскольку я уже

подготовил материал, Каленистов может послать мне десятку (только мне ничего и не надо за эту командировку)? Непосредственно к нему с этим вопросом я решил не обращаться, т. к. плохо знаю его. А вообще надо бы обязательно хоть немного поддержать эту мою избушку.

Праздник я проведу здесь, а потом уеду куда-нибудь. Плохо, что здесь, в Николе, не найдешь никакой литературной работенки — ни постоянной, ни временной, а без работы жить невозможно.

С искренним приветом *Н. Рубцов*

А. Я. ЯШИНУ

Дорогой Александр Яковлевич!

Добрый день или вечер!

Письмо Ваше я получил — очень благодарен за это письмо.

Пишу опять из села Никольского, где пропадал целое лето. Мне здесь крепко поднадоело, но есть, и правда, большое удовольствие, уединившись в тихой избе, читать прекрасные книжки Льва Толстого — я внял, как видите, Вашему совету и занимаюсь чтением. А еще есть удовольствие для меня в ожидании первых сильных заморозков, первых сильных метелей, когда особенно уютной и милой кажется бедная избушка и радостно на душе даже от одного сознания, что ты в эту непогодную грустную пору все-таки не бездомный.

Люблю первый лед на озерах и речках, люблю, когда в воздухе носится первая зимняя свежесть. Хорошо и жутко ступать по этому первому льду — он настолько прозрачен, что кажется, будто ступаешь прямо по воде, бездонно-темной.

Позвольте, Александр Яковлевич, от всей души поздравить Вас с праздником и пожелать Вам всех радостей в жизни, а главное — здоровья, здоровья. Позвольте и всей Вашей семье — Злате Константиновне, а также Злате Александровне, Наташе, Мише и Саше — пожелать тоже всего самого, самого хорошего.

Я не хотел бы больше беспокоить Вас, но думаю, можно все-таки сказать Вам, что в Ваших словах о моих летних стихах есть, конечно, правда, и мне, честное слово, было полезно узнать Ваше мнение. Для меня как раз было главным не то, что Вы можете куда-либо рекомендовать стихи (говорю абсолютно честно), а главным

было знать Ваше мнение о них. Бросаясь, как говорится, в какую-либо крайность в своих писаниях, всегда хочется знать, что же скажут о стихах люди, имеющие в этом деле настоящий толк.

Только я вот в чем убежден, Александр Яковлевич (разрешите мне поделиться своим, может быть, нелепым, убеждением): поэзия не от нас зависит, а мы зависим от нее. Не будь у человека старинных настроений, не будет у него в стихах и старинных слов, вернее, старинных поэтических форм. Главное, чтоб за любыми формами стояло подлинное настроение, переживание, которое, собственно, и создает, независимо от нас, форму. А значит, еще главное — богатство переживаний, настроений (что опять не от нас зависит), дабы не было бедности, застоя интонаций, форм...

Во всем остальном, во всех остальных деталях, я не имею никаких убеждений, во всем сомневаюсь.

Сомневаюсь также всегда в том, смогу ли я создать что-либо настоящее. Записать любыми стихотворными словами могу что угодно. Но найдет ли на меня, осенит ли меня что-либо общеинтересное? Это не от меня зависит, поэтому сомневаюсь.

Я тут сбивчиво всего наговорил и, может быть, ни к чему. Извините меня тогда, дорогой Александр Яковлевич. А Вам большое, большое спасибо за то письмо — и за внимание, и за доброе верное слово. Я долго, между прочим, думал над мимоходом Вами написанными словами. Все это, Вы, может, и сами не знаете, очень помогает. Еще раз желаю Вам здоровья и всего наилучшего.

С искренней любовью *Н. Рубцов*
(дата отправления на почтовом штемпеле:
3.11.64)

С. П. БАГРОВУ

Осень 1964 года

Добрый день, дорогой Сережа!

Как ты живешь? Что нового в твоей жизни? Вопрос, конечно, банальный, и сам я, когда мне задают такой вопрос, обычно теряюсь и не знаю, что сказать. Но все-таки я искренне желаю узнать что-нибудь о тебе, о твоей жизни, т. к. давненько уже не видел тебя и не слышал.

Я живу же по-прежнему, среди зимней, рано темнею-

щей, теперь скучной никольской природы. Нехотя пишу прозу, иногда стихи.

Жаль, что Гета * (из Николы) без твоего ведома взяла у тебя дома мой чемодан. Она бы этого не сделала, если бы не спешила на грузовик, в котором отправлялась из Тотьмы. Между прочим, я просил ее, чтоб она только подстрочники стихов Хазби взяла из чемодана, но она без тебя все равно ничего бы не нашла, поэтому унесла их вместе с чемоданом.

Что буду делать дальше, я еще не знаю. Хочу все-таки до того, как поеду отсюда, что-нибудь закончить, хотя бы несколько глав повести, которую я задумал. А еще пришла в голову дурацкая мысль записать кое-какие свои соображения о поэзии в литературной форме и дать им заголовок «Письмо другу». Вот так, Сережа. Напиши когда-нибудь несколько слов мне. Крепко жму руку.

С приветом *Коля*

В. Д. ЕЛЕСИНУ

*с. Никольское,
начало ноября 1965 года*

Посылаю заметку о нашем фельдшере. Редактируй ее и сокращай, как хочешь (это не стихи), но только хоть что-нибудь из этой заметки надо бы напечатать. Так что, если найдешь это возможным, предложи, пожалуйста, заметку в газету.

Живу неплохо. Хожу в лес рубить дрова. Только щепки летят!

Поздравляю с праздником. Будь здоров и счастлив. Передай, пожалуйста, привет Сереже, если он уже вернулся.

С искренним приветом *Н. Рубцов*

ПИСЬМА СТАНИСЛАВУ КУНЯЕВУ

I

18.11.1964 г. Дорогой Стасик! Добрый день или вечер!

Я опять пропадаю в своем унылом далеке, в селении Никольском, где я пропадаю целое лето. Это, как я тебе

* Генриэтта Михайловна — жена Н. М. Рубцова.

уже говорил, один из самых захолустных уголков Вологодской стороны, — в прелестях этого уголка я уже разочаровался, т. к. нахожу здесь не уединение и покой, а одиночество и такое ощущение, будто мне все время кто-то мешает и я кому-то мешаю, будто я перед кем-то виноват и передо мной тоже. Все это я легко мог бы объяснить с психологической стороны не хуже Толстого (а что! в отдельных случаях этого дела многие, наверно, могут достигнуть Льва Толстого: и мелкие речки имеют глубокие места. Хотя в объеме достигнуть его, Толстого, глубины — почти невысказанное дело), повторяю, мог бы и объяснил бы, если бы я не знал, кому пишу это письмо.

Мое здесь прозябание скрашивают кое-какие случайные радости, на которые я не только способен, но еще и люблю их, и иногда чувство самой случайной радости вырастает до чувства самой полной успокоенности. Ну, например, в полутемной комнате топлю в холодный вечер маленькую печку, сижу возле нее — и очень доволен этим, и все забываю. Я проклинаю этот божий уголок за то, что нигде здесь не подработаешь, но проклинаю молча, чтоб не слышали здешние люди и ничего обо мне своими мозгами не думали. Откуда им знать, что после нескольких (любых удачных и неудачных) написанных мною стихов мне необходима разрядка — выпить и побалагурить?

Вспоминаю иногда последний вечер в ЦДЛ. Ты, Стасик, вел себя прекрасно. Я не очень. Но иначе повести себя не мог и переживал, конечно, это.

Ты знаешь, что я всячески старался избежать шума, как страшно и неудобно мне перед некоторыми хорошими людьми за мои прежние скандальные истории. Хорошо, я думаю, что я «завелся» тогда не до конца, а сдержался, надеясь на молниеносный нокаут Игоря, на который, говорят, он способен. Пусть не было нокаута, но если бы я тогда ввязался сам, все — я уверен — закончилось бы милицией и шумом... Между прочим, Стасик, я написал тебе еще к празднику, но оно осталось неотправленным — и слава богу! В нем нет ни слова в связи с этой глупой историей, а мне хотелось бы кое-что узнать у тебя: что было потом в институте? Я тут же тогда уехал и не знаю, исключили меня опять из института или, может быть, нет.

Стасик, что у тебя нового? Между прочим, это такой вопрос, от которого я нередко теряюсь и не знаю, что сказать. Знаю, что не только я один. Но каждый раз, если

речь заходит о настоящих людях, мне любопытно узнать, как они там где-то поживают, всегда хочется пожелать им всего хорошего, — вот поэтому и вопрос о них, или им, или ему (сейчас тебе) — что нового?

Тебя, наверное, уже утомило это болтливое письмо? Еще одно последнее сказанье... Хотелось бы мне узнать, решена ли судьба (пусть частично) тех моих стихов. Мне надо знать об этом, потому что пока не знаю и не могу распоряжаться ими, стихами, как хочу. Да и кое-какие из них я, кажется, немного улучшил, а некоторые вообще зачеркнул (в голове своей), а это тоже имеет значение, если стихи все-таки пройдут... Вот у меня пока все.

Передай, пожалуйста, привет и самые добрые пожелания Гале, Гале Корниловой, Толе, Игорю, а также, если встретишь их, Володе Соколову, Юзику, Вадиму Кожинову.

До свиданья! С приветом и любовью. *Н. Рубцов.*
Слякоть, осенний ледоход, снег, дождь. Надеюсь, что напишешь мне.

II

Добрый день, Стасик! Письмо твое получил, повеселился над твоими веселыми стихами и вот написал на них ответ. Желаю тебе здоровья и всех радостей. С приветом Коля.

Ответ Куняеву (некоторые соображения на тему «Если жизнь начать сначала»).

Если жизнь начать сначала,
Все равно напьюсь бухой
И отправлюсь от причала
Вологодчины лихой.
Знайте наших разгильдяев!
Ваших, так сказать, коллег!
— Где, — спрошу я, — человек
По фамилии Куняев?
И тотчас ответят хором:
— Он в Москве! Туда катись!
И внушат, пугая взором:
— Там нельзя греметь запором
И шуметь по коридорам:
Он описывает жизнь!
И еще меня с укором
Оглядят: — Опасный вид!

Мол, начнет греметь запором
Да шуметь по коридорам,
То-то будет срам и стыд!
Гнев во мне заговорит!
И, нагнувшись над забором,
Сам покрою их позором,
Перед тем спросив с задором:
— Кто тут матом не покрыт? —
Кроя наших краснобася,
Всю их веру и родню,
— Нужен мне, — скажу, — Куняев,
Вас не нужно — не ценю!
Он меня приветит взглядом
И с вопросом на лице
В цздэловском дворце
Помолчим... с буфетом рядом!

С. В. ВИКУЛОВУ *

〈Ноябрь — декабрь 1964 года〉

Дорогой Сергей Васильевич!

Пишу вам из села Никольского. Это в Тотемском районе. Решил провести здесь праздник и подзаняться чтением, пока нет его, праздника, читаю самого Льва Толстого. Между прочим, об этом — что читать надо — сказал мне А. Я. Яшин однажды. И этот много раз слышанный совет вдруг поразил меня. В самом деле: оказывается, удивительно хорошо и полезно, уединившись в какой-нибудь глухой избе, читать целыми днями прекрасные книжки. А еще я должен кое-какой материал (ну, заметки, статейки, стихи) подготовить для здешней районной газеты. Там я скромно заработаю на дорогу отсюда. Немного стихов, и не по просьбе тоже, наверное, напишу.

Недавно здесь выпал первый обильный снег (с дождем он уже давненько пролетал), это было так внезапно, так красиво — снег, и лежит повсюду — на крышах, на порогах, на дорожной грязи. На меня это подействовало, как в детстве. Но на другой день снег растаял,

* Сергей Васильевич Викулов — поэт, в 1964 году был ответственным секретарем Вологодской писательской организации.

и за окном опять возникли во всей своей унылой красоте прежние осенние картины.

Сижу порой у своего почти игрушечного окошка и нехотя размышляю над тем, что мне предпринять в дальнейшем. Написал в «Вологодский комсомолец» письмо, в котором спросил, нет ли там для меня какой-нибудь (какой угодно) работы. Дело в том, что, если бы в районной газете и нашли для меня, как говорится, место, все равно мне отсюда не выбраться туда до половины декабря. Ведь пароходы перестанут ходить, а машины тоже не смогут пройти по Сухоне, пока тонок лед. Так что остается одна дорога — в Вологду, — с другой стороны села, сначала пешком, потом разными поездами.

...Я хочу поблагодарить вас за поддержку и еще от всей души пожелать вам весело проводить праздник, с которым я вас поздравляю, и пожелать в остальном, пользуясь случаем, всего наилучшего. Еще надо А. Я. Яшину написать — поздравить и пожелать ему здоровья. Не знаю только, найду ли сегодня еще листок бумаги для письма...

С искренним приветом *Н. Рубцов*

ИЗ ПИСЬМА ГЛЕБУ ЯКОВЛЕВИЧУ ГОРБОВСКОМУ

Дорогой, дорогой Глеб!

Сижу сейчас, закутавшись в пальто и спрятав ноги в огромные рваные старые валенки, в одной из самых старых и самых почерневших избышек селения Никольского — это лесистый и холмистый, кажущийся иногда совершенно пустынным, погруженный сейчас в ранние зимние сумерки уголок необъятной, прежде зажиточной и удалой Вологодской Руси. Сегодня особенно громко и непрерывно воют над крышей провода, ветер дует прямо в окна, и поэтому в избе холодно и немного неуютно, но сейчас тут затопят печку, и опять станет тепло и хорошо.

Я уже пропадаю здесь целый месяц. Особенного желания коротать здесь зиму у меня нет, т. к. мне и окружающим меня людям поневоле приходится вмешиваться в жизнь друг друга и мешать друг другу, иначе говоря, нет и здесь у меня уединения и покоя, и почти исчезли и здесь классические русские люди, смотреть на которых и слушать которых — одни радость и успокоение. Осо-

бенно раздражает меня самое грустное на свете — сочетание старинного невежества с современной безбожностью, давно уже распространившиеся здесь.

Но вот что: в институте меня в течение года три раза исключали за неумеренную, так сказать, жизнь и три раза восстанавливали (за что я благодарен, конечно, не администрации, а некоторым хорошим людям, в том числе и нашим хорошим (есть там разные) — институтским ребятам). И после этой, можно сказать, «сумасшедшей мути», после этой напряженной жизни, ей-богу, хорошо некоторое время побыть мне здесь, в этой скромной обстановке и среди этих хороших и плохих, но скромных, ни в чем не виноватых и не замешанных пока ни в чем людей.

В Вологде ко мне отнеслись хорошо. Читал я там, когда приехал, стихи на собрании писателей, и, можно точно сказать, стихи на них подействовали. Вообще, в Вологде мне всегда бывает и хорошо, и ужасно грустно и тревожно. Хорошо оттого, что связан с ней я своим детством, грустно и тревожно, что и отец, и мать умерли у меня в Вологде. Так что Вологда — земля для меня священная, и на ней с особенной силой чувствую я себя и живым, и смертным.

(письмо не окончено)

С. В. ВИКУЛОВУ

Ноябрь — декабрь 1964 года

Сергей Васильевич!

Когда вы предложили мне дать стихи для «Красного Севера», тогда я еще не подумал, что сделаю это, т. к. был доволен уже тем, что получу командировку, и чувство успокоенности (и благодарности; но об этом я уже говорил вам) было достаточно полным, чтобы не пополнять его. А сейчас, когда подошло время, я подумал о том, что жизнь все-таки не стоит на месте, и почему бы мне, если вы тогда не пошутили, не послать вам стихи? Я посылаю вам кое-какие стихи, но, конечно, не прошу напечатать их, т. к. это зависит от вашего о них мнения, и буду вполне готов к тому, если они не будут напечатаны.

Среди этих стихов есть одно чисто философское — «Душа»*. Говорю о нем отдельно потому, что оно сму-

* Стихотворение «Душа» впервые опубликовано после смерти Н. Рубцова в сборнике «Подорожники» (1976).

щает меня своей холодноватостью, но и все же я не прочь напечатать его...

Все последние дни занимаюсь тем, что пишу повесть * (впервые взялся за прозу), а также стихи, вернее, не пишу, а складываю в голове. Вообще я никогда не использую ручку и чернила и не имею их. Даже не все чистовики отпечатываю на машинке — так что умру, наверное, с целым сборником, да и большим, стихов, «напечатанных» или «записанных» только в моей беспорядочной голове. Но это между прочим. Пустяки.

Извините, что посылаю вторые экземпляры стихов: первых не осталось, а сейчас мне машинку дали только на несколько минут.

Всего вам доброго.

С приветом и любовью *Н. Рубцов*

С. П. БАГРОВУ

Декабрь 1964 года

Добрый день, Сережа!

Вчера, сразу же после нашего разговора по телефону, взялся за новогоднее стихотворение и написал его. По моему, получилось неплохо, потому посылаю его тебе.

Вместе с этим стихом посылаю еще несколько с другими темами. Одно из них философское — «Душа». Может быть, и эти стихи когда-нибудь после праздников вы сможете напечатать. Они по своему настроению и мыслям тоже печатные.

Жизнь моя идет без всяких изменений, и, кажется, остановилась даже, а не идет никуда. Получил письмо от брата из Ленинграда. Он зовет меня в гости, но я все никак не могу сдвинуться с места ни в какую сторону. Выйду иногда на улицу — увижу снег, безлюдье, мороз, и ко всему опять становлюсь безразличным и не знаю, что мне делать, да и не задумываюсь над этим, хотя надо бы задуматься, т. к. совсем разонравилось мне в старой этой избе, да и время от времени рассчитывать ведь надо за скучную жизнь в ней. Было бы куда легче, если б нашлись здесь близкие мне люди. Но их нет, хотя ко всем я отношусь хорошо. Впрочем, хорошее отношение здесь тоже понимает каждый по своему и все отлично от меня.

* Возможно, повесть была написана, но утеряна, видимо, еще при жизни Н. М. Рубцова.

Хорошо то, что пишется. Но ужасно то, что так тяжело печатать стихи: слишком много тратится на это время.

У меня пока все. Может быть, ты посоветуешь мне сделать что-нибудь интересное в жизни?

Поздравляю с чудесным праздником — елкой, желаю тебе весело встретить и проводить ее.

С приветом *Н. Рубцов*

А. Я. ЯШИНУ

Дорогой Александр Яковлевич!

Я часто вспоминаю Вас и тот вечер, когда мы с Феликсом * были у Вас. Тогда за столом, между прочим, мне особенно понравились грибы.

Я давно уже в деревне (по-прежнему снимаю здесь «угол»). Первым делом, как приехал сюда, закинул удочку в холодную реку — ничего не попало. Сходил в лес — ничего не нашел, кроме замороженных старых масляков и рыжиков. Потом все занесло снегом...

В деревне мне, честно говоря, уже многое надоело. Иногда просто тошно становится от однообразных бабьих разговоров, которые постоянно вертятся вокруг двух-трех бытовых понятий или обстоятельств. Бывает, что ни скажи — они все исказят в своем кривом зеркале и разнесут по всему народу. Так что лучше тут не откровенничать и вообще не отвечать на любопытные расспросы, но все время помалкивать — это ведь противоестественно. Особенно не люблю тех женщин, которые вечно приbedняются, вечно жалуются на что-то, вечно у которых кто-то виноват и виноват настолько, что они рады бы стереть его с лица земли. А у некоторых вообще все виноваты. Столько ненависти в словах некоторых женщин, вернее, все-таки баб, что слушать их просто страшно. Кажется, от «толстовства» в деревне и следа не осталось. Конечно, я знаю и очень привлекательные свойства сельских жителей, но все равно все навязчивей мне вспоминаются слова Сергея Есенина: «Нет любви ни к деревне, ни к городу...» Впрочем, то и другое (деревня и город) мне разонравились не в той помрачительной

* Феликс Феодосьевич Кузнецов — критик, литературовед, директор Института мировой литературы им. А. М. Горького.

степени, в какой Есенину. А большинство мужиков деревенских (да и женщин некоторых) я по-прежнему люблю и глубоко уважаю.

В последнее время мне особенно понравилось топить по вечерам маленькую печку. Кажется, век бы от нее не ушел, когда слышишь, как говорят, что вот во второй половине ноября по всей европейской части Союза ожидаются сильные снежные бури. Но мне все же придется скоро уехать отсюда. Ну, что ж, странствовать я еще тоже не отвык. Главное, сдвинуться с места.

Александр Яковлевич! Я не знаю, как вы сейчас чувствуете себя (или, как здесь говорят, как можете), все в порядке с Вашим здоровьем? Но, искренне надеясь, что Ваш недуг прошел, и Вы, как прежде, стали сильным и могучим, я решил обратиться к Вам с просьбой по вопросу, вернее, по делу, важному для меня. Обращаюсь именно к Вам потому, что именно Вас, я уверен, только и послушают.

Дело в том, что у меня в Архангельске в Северо-Западном издательстве вышла маленькая книжечка — 1 п. л. *

Недавно за эту Книжку, за которую я должен был получить оставшиеся 40% гонорара, мне послали всего-навсего 29 рублей. При этом уведомили меня, что никакого недоразумения здесь нет, что произведен окончательный расчет. (И эту-то несчастную сумму они послали после долгой некрасивой волюнки.) Они совершенно неожиданно для меня решили оплатить не все строчки, а только, видимо, рифмованные. Решили — сделали. Оплатили 470 рифмованных строк, но фактически в книжке 640 строк, т. е. за ними остался — я в этом убежден — долг. Это долг за 170 строк по 70 коп. Вот уж действительно свинью подложили! Я не злоупотребляю разбивкой строк, да дело еще и в том, что они сами кое-где ее убрали, а кое-где ввели, — значит, в художественном отношении они нашли это целесообразным. Так чего ж они, балбесы, подсчитали только рифмы! Они обязаны мне оплатить были по договору 1 п. л., равный 700 строкам (не важно, рифмованных или нет), фактически они обязаны мне оплатить 0,88 п. л., равного 640 строчкам (опять же не важно, рифмованных или нет). Правда ведь? Да во всех порядочных издательствах оплачивают все строки — это я знаю по себе.

* Печатный лист.

Между прочим, у меня в книжке есть и белые стихи. По какому же принципу они оценили их? Если они взяли тут во внимание ритмические строки, то почему же они не сделали этого по отношению к другим «разбитым» стихам? Ведь разбивка — это и есть создание ритмических (интонационных) строк. Да есть там и такие стихи, в которых невероятно трудно подсчитать все рифмы. Ведь дело-то все-таки не в рифмах, а в строках! Рифма — лишь художественное средство, которое я могу использовать, могу и не использовать. Да что тут говорить! Они поступили очень непорядочно. Хотя бы тогда предупредили меня заранее, что у них такое (особое) правило оплаты стихов.

Просьба моя заключается в том, Александр Яковлевич, чтобы Вы посоветовали мне, что теперь сделать, или (если Вы найдете, что я прав), может быть, Вы сами напишете им об этом, и они образумятся. Что касается меня, то я им о своей претензии еще ничего не написал. Я бы плюнул на все это дело, но суть в том, что, уезжая в эту деревенскую глушь, я рассчитывал на эти средства и строил в связи с ними кое-какие планы. Теперь они рухнули. Я ведь не миллионер. Вот так: в книжке 640 строк, они же оплатили только 470 строк.

Плевать на это дело (отмахиваться от него) нельзя еще в смысле принципа. Если же вы, Александр Яковлевич, не совсем здоровы, то тогда извините меня и забудьте об этой просьбе. Я Вас очень прошу: в этом случае извините и забудьте! Жаль, что эти идиоты вынудили меня беспокоить Вас и испортить свое письмо. Передайте мой сердечный привет дорогой Злате Константиновне, Вашим чудесным девушкам и ребятам. Будьте здоровы! Да хранит Вас Бог!

Николай Рубцов

Вологодская обл., Тотемский р-н., с. Никольское

(Далее идут написанные от руки два стихотворения: «Осенние этюды» с посвящением А. Яшину и «Кружусь ли я в Москве бурливой...».)

Р. S. Книжка моя называется «Лирика». Может быть, Вы сумеете не очень долго собираться с ответом. Буду Вам искренне благодарен и обязан.

19/VI—65.

Октябрь 1965 года

Дорогой Вася!

Я опять в Николе. На сей раз я командирован сюда на длительный срок Союзом писателей.

Возможно, что скоро уеду.

У меня вышла книжечка. Конечно, тут далеко не все, на что я способен. Ну пусть. Посылаю одну книжечку тебе. Найдешь нужным — отрецензируйте, я не буду против*.

А еще в 10-м номере «Октября» вышла большая подборка моих стихов. Можешь посмотреть.

Вот вкратце такие мои дела.

Сейчас я возьмусь писать два очерка по заданию журнала «Сельская молодежь». Вполне возможно, что ничего не напишу.

Вася, милый, как ты там живешь в своей скучной, но хорошей Тотьме? По-прежнему? Есть ли новости?

В Москве я побывал у Александра Яшина. Осталось очень хорошее, но печальное воспоминание: слишком уж часто он болеет. Ну, жму руку. Напиши мне. Буду рад.

С приветом *Н. Рубцов*.

ИЗ ПИСЬМА В АРХАНГЕЛЬСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

(1965)

По договору Вы предоставили мне для печати 1 п. л. Этот печатный лист, равный 700 строкам, я как раз и использовал. Какое имеет значение, разбиваю я строки или нет (это чисто художественное средство), но книжку все-таки я составил из 700 строк, как мы договорились. И за все эти строки по договору Вы обязаны мне уплатить.

Ваша ссылка на снисходительное отношение ко мне как к автору (разрешили якобы разбивку строк) безосновательна. Снисхождения с вашей стороны никакого не было. Иначе вы не убрали бы из рукописи 75 стихотворений. Это Вы сделали абсолютно произвольно. Это. А что же тогда можно сказать о разбивке строк?

* Рецензия В. Елесина на сборник Н. Рубцова опубликована в районной газете «Ленинское знамя» (Тотьма).

Вы легко могли убрать эту разбивку, если бы нашли это нужным. Все 75 стихотворений, исключенные Вами из рукописи «Лирика», сейчас одобрены издательством «Советский писатель» и выйдут скоро книжкой «Звезда полей». Почти все эти стихи. Так что, повторяю, выбросили Вы их абсолютно произвольно. Это говорит лучше всего о Вашем отношении к автору.

Н. Рубцов

В. Д. ЕЛЕСИНУ

24 октября 1965 года

Я рад, что книжечка моя тебе в общем-то понравилась. С твоими дружескими (очень уж скромными) замечаниями я согласен. Да, есть у меня пристрастие к восклицательным знакам. Ставить их, где надо и не надо. Ну, а насчет того, что колокол под дугой звенеть не может, даже «легонечко», когда лошадь идет шагом, — это, Вася, плод твоей великолепной фантазии. Сейчас вот бабки говорят: «Колокольчик на любой животине всегда звенит». Да и как ему не звенеть, если дороженьки-то наши настолько ухабисты, Вася, что тут и дуга, и оглобля, и груз, не только колокольчик — все запоет. Ну, да бог с ними.

Сережу Багрова, да, я видел в Вологде. Правда, быстро расстались. Прошлись только от редакции до рынка.

О себе писать нечего. Могу только сказать, что очень полюбил топить печку по вечерам в темной комнате. Ну, а слушать завывание деревенского ветра осенью и зимой — то же, что слушать классическую музыку, например, Чайковского, к которому я ни разу не мог остаться равнодушным.

Вася, я посылаю тебе два стихотворения и, как это говорится, прошу напечатать, что можно, в газете.

Одно из них — «Осенние этюды» — посвящается А. Яшину, т. к. ему понравились те картины, которые есть в этом стихотворении. Стихотворение абсолютно печатное. В другом стихе есть у меня строчки: «Склоню ли голову, слагая о жизни грустные стихи». Если вашу газету не устроит слово «грустные», можно его заменить другим. Это сделать легко, хотя никакое другое слово, никакой другой эпитет здесь не будет точнее и лучше. Еще в этом же стихотворении есть строчки: «Нет,

не найдет успокоенья мой беспокойный бодрый дух!» Это вариант для газеты. Но, может быть, газета примет и другой вариант этих строчек: «Нет, не найдет успокоенья во мне живущий адский дух!» Буду очень рад, если в нашей газете еще раз появятся мои стихи. Особенно я желал бы увидеть там «Осенние этюды».

Вася, читал ли ты мою подборку в «Вол. комсомольце» за 10 октября? Видел ли подборку в журнале «Октябрь» в 10-м номере? Если видел, то покажи их и редактору.

Пиши. Крепко жму руку. Не унывай!

С искренним приветом *Н. Рубцов*

А. А. РОМАНОВУ

(Осень 1965 года)

Дорогой Саша!

Несказанно был рад твоей весточке.

Одно меня озадачило: о какой рукописи ты говоришь? Рукопись моей книжки лежит в Архангельском издательстве. Она пришла оттуда на Вологодское отделение, что ли? Или ты имеешь в виду рукопись стихов, которые я послал С. В. Викулову? Если эту рукопись, то тогда о какой рецензии ты пишешь мне? Эти стихи я послал С. В. с той целью, чтобы он смог отобрать стихи из них для подборки в «Кр. Север», о которой у нас был разговор с ним до этого.

А тебя, Саша, от всей души поздравляю и желаю тебе на этой новой должности всего самого доброго*.

Стихов пишу, да, много. Не знаю даже, что делать с ними. Мне самому они абсолютно не нужны, когда уже закончены, а и никому, видно, не нужны, раз их не печатают (бывают, конечно, исключительные случаи). Хорошо бы, Саша, было, если бы из «Кр. Севера» в счет стихов, которые будут напечатаны, как-нибудь, каким-нибудь образом послали мне немного денег до Нового года.

Ты не мог ли чуть-чуть похлопотать об этом?

Мне тут, в этой глуши, страшно туго: работы для меня нет, местные власти начинают подозрительно смот-

* В то время А. Романов был избран ответственным секретарем Вологодской писательской организации.

реть на мое длительное пребывание здесь. Так что я не всегда могу держаться здесь гордо, как горный орел на горной вершине. «Кр. Север» напечатает только один стих, ради снисхождения? Наверное, так и будет. Только мне вся эта мелкая возня вокруг какого-нибудь дурацкого одного стишка надоела и не нужна. Всегда столько разговоров, работы на машинке, всякого беспокойства, усилий — и ради чего? Ради того, чтобы увидеть, что вот все-таки напечатали? Есть в газете 8—10 строк! Правда, Саша, все это как-то ненормально? Были бы у меня средства, я никогда не печатал бы стихи, не стремился бы к этому, т. к., насколько я убедился, стихи, вернее, хорошие стихи (не говорю о себе), печати не нужны. Это обстоятельство, как самый печальный цветок в букете остальных печальных обстоятельств в жизни пишущих ребят, не имеющих литературного имени.

Ну, я разболтался, как воробей на зерне. Извини. Очень рад был бы увидеть тебя.

С сердечным приветом *Н. Рубцов*

А. А. РОМАНОВУ

〈*Сентябрь 1965 г.*〉

Дорогой Саша!

Очень рад был твоей весточке. Извини только, что не поздравил тебя с праздником. Дело в том, что я не успел сделать этого. Как только пошел на почту, так сразу же по дороге угодил в самый разгар праздника. А потом посылать телеграмму было уже поздно.

Кое-что о делах.

Здесь подписались после моего разговора на три номера журнала «Север». Только пока на 3. Знаешь, позновато взялись за это дело: агитация насчет подписки на всевозможные издания здесь была проведена раньше, люди подписались в результате уже на все, на что были способны. Ну, ничего, может, еще кто-нибудь надумает...

...С Москвой пока не поддерживаю никакой связи. Да это и ужасно трудно при каких-то транспортных и дорожных условиях. И жаль еще: у меня здесь нет пишущей машинки, а я срочно должен перепечатывать рукопись «Сов. писовскую» и отсылать ее. Но это все, конечно, ни в коей мере не должно касаться. Это я пишу просто так — «жалобы турка».

В. Елесин поместил в здешней газете хорошую (даже очень хорошую) рецензию на мою книжку и тот же хороший отзыв о ней написал мне в личном письме. Вообще, он молодец. Наверное, ведь сделал он это вопреки воле мрачного редактора.

Вопрос: как все-таки из этой глуши ты посоветуешь мне «проявить себя» в Вологде?

Саша, я тут поднаписал кое-каких стихов. Два из них — «Осенние этюды» (длинное) и «Кружусь ли я...» — посылаю тебе с просьбой: предложи ты, пожалуйста, если сам найдешь возможным, хотя бы эти «Этюды» в «Вологодский комсомолец». Стихотворение это лирическое, картинное, с кое-какими мыслями на, так сказать, общечеловеческие темы. Намерен, между прочим, в будущем написать целый цикл такого рода.

А в стихотворении «Кружусь ли я в Москве бурливой» можно заменить кое-какие эпитеты. И в частности, «грустные стихи» можно заменить «добрыми», «адский дух» — «бодрым» и стих будет абсолютно даже комсомольским. Да ты сам все поймешь прекрасно.

Вызова твоего жду. Может, смогу из этого бездорожья выбраться.

Сердечный привет твоей семье, Васе Белову, С. Багрову (что он мне журнал-то не послал?).

Да хранит тебя Бог.

Н. Рубцов

Р. С. Прошу тебя передать в редакцию стихи лишь потому, что сам я теперь не сразу соберусь им написать. Просьба моя, так сказать, попутная с этим письмом тебе. Да ведь там все рядом. Все дело в том, одобришь ли ты сам-то эти стихи.

Еще раз всего наилучшего!

Да, там есть строка: «Картины нашей жизни одна другой прекраснее...» Так надо бы «Картины... одна другой туманнее».

А. А. РОМАНОВУ

Начало 1966 года

Добрый день, Саша!

Получил ты или нет мое первое письмо, которое я написал тебе еще до Нового года, — я не знаю.

Живу по-прежнему.

Саша, будут <...> или не будут мои стихи в «Кр. Севере»? Забыли о них, может быть? Если же я забыли

и отменили опять их публикацию, то сообщите, пожалуйста, об этом. Чтоб я не надеялся.

Нет ли какой-нибудь работы для меня в Вологде? Здесь ее нет. Чувствую себя изгнанником.

Спасибо за рецензию на подборку тех моих стихов. Я эту рецензию получил.

Привет В. Белову.

Пока все. Прошу только, Саша, пошлите, пожалуйста, мне сюда пару слов о том, о сем.

Желаю тебе и Тасе и всей семье самого наилучшего.

С искренним приветом *Н. Рубцов*

Тотемский р-н, с. Никольское

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА ИЗДАТЕЛЮ

Если учесть, что, согласившись во многом с Вашими другими критическими замечаниями по рукописи, я убрал из первого ее варианта почти половину стихов, то тогда, наверное, не будет нескромным с моей стороны попросить издательство оставить в рукописи эти 2 стихотворения — «По вечерам» и «Жара». Думаю, что и в художественном смысле эта просьба небезосновательна.

Еще кое о чем. О стихотворении «В святой обители природы». Вы сказали, что оно написано ниже возможностей автора. И только. Я не настаиваю и не прошу, чтоб оно осталось в рукописи. Хочу только сказать, что как раз об этом стихотворении я особенно иного мнения, но железная убедительность Вашего критического довода оставляет меня бессловесным. Но в общем, Бог с ним, пусть это стихотворение не будет в рукописи. Я примерно предполагаю, что Вы имели в виду, и говорить мне о нем значит говорить неконкретно, а вообще рассказывать о своих взглядах на содержание и форму стихов. А предполагаю я то, что Вы считаете стихи такого рода, как это, неоригинальными и пустыми.

Стихотворение «Уединившись за оконцем» Вы называли легковесным. По-моему, легковесными следует считать те стихи, которые лишены всякого настроения, а значит, и поэтического смысла, а не те стихи, в которых выражено легкое настроение или состояние духа и выражено легко. Иначе, стихотворение Есенина, например, «Вот уж вечер, Роса блестит на крапиве. Я стою у дороги, прислонившись к иве» — тоже стихотворение просто легковесное, а не удивительный шедевр чистоты души

и духа. Но это между прочим. Так же и об этом стихотворении не прошу, чтоб оно осталось в рукописи. Тем более, что в последнее время я не считаю его законченным по форме.

Что касается стихотворения «Ось», то должен сказать, что я совершенно против того, чтоб его поставить первым в книжке. Меня мало устраивает такой довод, что в нем особенно ярко выражена моя позиция. Я считаю, что моя позиция, т. е. мои привязанности, моя любовь, должны быть понятны по моим стихам, которые я пишу искренне, — и, значит, не нуждаюсь в декларации моей позиции. А стихотворение «Ось» как раз декларативное и вдобавок легковесное, т. е. оно лишено отчетливого настроения. И еще вдобавок оно не лишено какого-то гладкописного ритма. Так что я совершенно не буду огорчен, если в издательстве вообще предложат убрать его из рукописи. Не буду против того также, если из рукописи уберут стихи «Впечатление детства» и «Вечер на сенокосе», т. к. последнее время считаю их какими-то пустяковыми.

Все это, что касается некоторых моих возражений и моего мнения о некоторых моих стихах, я сказал лишь как автор рукописи, для большей ясности дела. Просьба же моя остается прежняя: оставить в рукописи стихи «По вечерам» и «Жара».

Да, я тогда позабыл оставить в издательстве стихотворение «Тихая моя родина», которое было одобрено в Вашей первой рецензии. Просто забыл. Поэтому я высылаю его сейчас и прошу опять его включить в рукопись. О названии книжки я еще подумаю. Передайте, пожалуйста, это письмо директору издательства, т. к. это мое письмо не просто Вам, а как представителю издательства. Или нет, лучше я пошлю это письмо в нормальном порядке директору, а он передаст его Вам. Искренний привет и наилучшие пожелания издательству. Извините за поспешные неловкие фразы.

С уважением *Н. Рубцов*

А. А. РОМАНОВУ

28 июня 1966 года

Добрый день, Саша!

Пишу тебе из Сибири. Ермак, Кучум... Помнишь? Тайга, Павлик Морозов...

Много писать не стану, т. к. сейчас пойду на рыбалку, да тебе и не будет интересно, если я начну описывать свои последние впечатления или еще что-то. Скажу только, что я сюда приехал, кажется, на все лето, т. к. еще не бывал в этой местности и решил использовать возможность, чтобы посмотреть ее. Изучить ее. Перед отъездом сюда взял командировку от журнала «Октябрь». Скажу еще только, что сильно временами тоскую здесь по сухонским пароходам и пристаням...

Н. Рубцов
с. Красногорское
Алтайского края

В. НЕЧУНАЕВУ И Б. ШИШАЕВУ *

Июнь — июль 1966 года

Добрый день, Вася и Боря.

Вспомнил вдруг, что вы скоро уедете из Москвы (ведь уже экзамены?), и вот спешу послать вам весточку.

Вообще вас вспоминаю часто.

Доехал я тогда, как это говорится, благополучно.

Сначала побывал у тебя дома. У тебя, Вася. Встретили меня хорошо. Матрена Марковна передает тебе привет. А еще она спрашивала, пьешь ли ты вино (я отвечал — нет), как живешь и т. д.

На другой день видел Ольгу. Мы с ней немного поговорили, и потом я сразу же поехал к С. Вторушину. От Славки сразу же опять направились к Ленке Мерзликину. У него я остался ночевать. Через два дня я был уже не в Барнауле, а в Бийске и — через несколько часов — в Красногорске.

Гена Володин, а также жена его Галя встретили меня вполне гостеприимно. И до сих пор живется мне у них неплохо.

Правда, твое представление о Швейцарии, мне кажется, не совсем верное — иначе ты не стал бы эту грязно-пыльно-снежную, похожую на пустырь местность (я давненько не видел такой неживописной местности) сравнивать с ней, со Швейцарией. Гена говорит, что зато очень красиво за ближайшей горой. Ну что ж, посмотрим. Частенько сейчас бываем на рыбалке с Геной и его товарищами. Цветы здешние мне понравились. Вино пло-

* Письмо отправлено с Алтая, откуда родом В. Нечунаев.

хое. Поэтому, наверное, я его так редко здесь пью. Предпочитаю чай.

Вот так внешне я сейчас живу.

Боря, а как ты чувствуешь себя? Понял ли ты наконец, что еще слишком и слишком рано и совершенно бессмысленно сочинять заветания? Куда интереснее и веселее сочинять (ну, писать) стихи. Летом земля (вообще жизнь) особенно красива. А сколько еще впереди этих лет?

Вася и Боря, мне очень и очень интересно узнать, как складываются сейчас ваши жизненные обстоятельства. Чем вы сейчас, как говорится, дышите. Поэтому буду рад и благодарен вам, если вы (перед отъездом из Москвы) пошлете мне сюда письмецо.

Вася, все твои товарищи и знакомые, которых я здесь видел, передают тебе искренний привет. А значит, и Боре. Особый привет от Ольги.

Заканчивая письмо, я хотел бы и вас попросить передать мой привет некоторым ребятам из института: Эдику Крылову, Лене С... (?), С. Чухину, С. Петрову, В. Юдинову.

...Еще вот что: почему не послал мне Алиферовский контрольные работы? Узнайте, пожалуйста, там. Или все эти ребята уже уехали? Плохо тогда. Мне эти контрольные, кажется, очень нужны.

Ну, жду ответа. Пишите обо всем. Побольше — о себе. Крепко жму ваши мускулистые руки.

Ваш Рубцов

В. И. ДРУГОВУ *

Конец 1968 года

Уважаемый Василий Иванович!

Обращаюсь к вам в крайнем случае по чрезвычайно важному для меня делу. Я вовсе не склонен к официальному тону своего обращения к вам — поэтому пишу вам обычное (ну, пусть просительное) письмо, а не специальное заявление.

Для ясности общей картины расскажу немного, без всякого художества и подробностей, о своей жизни.

Родился я в 1936 году. Родителей лишился рано, поэтому исключительно мало знаю о них. С пяти лет

* Василий Иванович Другов в 1968 году был секретарем по идеологическим вопросам в Вологодском обкоме КПСС.

воспитывался в различных детдомах Вологодской области, в частности в Никольском Тотемского района. Там закончил семь классов, и с тех пор мой, так сказать, дом всегда находился там, где я учился или работал. А учился я в двух техникумах — в лесотехническом и горном, работал кочегаром тралового флота треста «Севрыба», слесарем-сборщиком... в г. Ленинграде, шихтовщиком на Кировском (бывшем Путиловском) заводе, прошел четыре года военной службы на эскадренном миноносце Северного флота. В 1962 г. сдал экстерном экзамены за десять классов и поступил на заочное отделение Литературного института им. Горького в г. Москве. В настоящее время — студент-заочник последнего курса этого института. Начиная с того же 1962 г. я постоянно жил и зарабатывал, как говорится, на хлеб (а также занимался студенческими делами) в г. Вологде и ее окрестностях. Но постоянного адреса все это время не имел. Снимал «углы», почевал у товарищей и знакомых, иногда выезжал в Москву — на период экзаменационных сессий. В общем, был совершенно не устроен.

При Вашем благожелательном участии (Вы, конечно, помните встречу с Вами вологодских и других писателей) я получил место в общежитии. Искренне и глубоко благодарен Вам, Василий Иванович, за эту помощь, так как с тех пор я живу в более-менее нормальных бытовых условиях.

Хочу только сообщить следующее:

1. Нас в комнате проживает трое.
2. Мои товарищи по месту жительства — люди другого дела.
3. В комнате, безусловно, бывают родственники и гости.

Есть еще много такого рода пунктов, вследствие которых я до сего времени не имею нормальных условий для работы. Возраст уже не тот, когда можно бродить по морозным улицам и на ходу слагать поэмы и романы. Вследствие тех же «пунктов» я живу отдельно от жены, — впрочем, не только вследствие этого: она сама не имеет собственного жилья. Среди малознакомых людей я привык называть себя «одиноким». Главное, не знаю, когда это кончится.

Василий Иванович! Вряд ли я ошибусь, если скажу, что жизнь зовет к действию...

Воспоминания современников

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ *

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОЭТ

Николай Рубцов — поэт долгожданный. Блок и Есенин были последними, кто очаровывал читающий мир поэзией — непридуманной, органической. Полвека прошло в поиске, в изыске, в утверждении многих форм, а также — истин. Большинство из найденного за эти годы в русской поэзии позднее рассыпалось прахом, кое-что осело на ее дно интеллектуальным осадком, сделало стих гуще, эрудированнее, изящней. Время от времени в огромном хоре советской поэзии звучали голоса яркие, неповторимые. И все же — хотелось Рубцова. Требовалось. Кислородное голодание без его стихов — надвигалось... Долгожданный поэт. И в то же время — неожиданный. Увидев его впервые, я забыл о нем на другой день. От его внешности не исходило «поэтического сияния». Трудно было поверить, что такой «мужичонко» пишет стихи или, что теперь стало фактом, будет прекрасным русским поэтом... Неожиданный поэт.

В самом начале шестидесятых годов проживал я на Пушкинской улице — угол Невского — возле Московского вокзала. И, естественно, дом мой был проходным двором. «Зал ожидания» — прозвали друзья мою коммунальную квартиру, где в десятиметровой комнатенке перой собиралось до сорока человек... Пришел однажды и Николай Рубцов. Читал свои морские, рыбацкие стихи. Читал зло, напористо, с вызовом. Вот, мол, вам, интеллигенты бледнолицые, книжники очкастые! Сохранилась и запись магнитофонная того времени. Ее сделал Борис Тайгин, собиратель голосов и рукописей многих начина-

* Воспоминания печатаются по изд.: Русский огонек. Стихи, переводы, воспоминания, проза, письма. В 2 т. Вологда, 1994.

ющих поэтов той поры. А внешне Николай на людях всегда как бы стеснялся привлекать всеобщее внимание. Вещал из уголка, из-за чьей-нибудь спины.

Стихов тогда читалась масса, поэты шли косяком. Одно только литобъединение Горного института выплеснуло до десятка интересных поэтов. И голос Рубцова, еще не нашедшего своей, корневой, драматической темы Родины, России, темы жизни и смерти, любви и отчаянья, тогдашний голос Рубцова тонул в окружающих его голосах. И это — закономерно. В Ленинграде Рубцов был в какой-то мере чужаком, пришельцем. Однажды привел с собой брата с гармошкой. И мы все пошли в один из ленинградских садиков, сели на лавку и стали играть на гармошке и петь песни. Городские люди на нас с интересом смотрели. А Коля не мог иначе. Ему так хотелось: щегольнуть гармозой, северной частушкой или моряцким гимном — «Раскинулось море широко»... Он таким образом заявлял в городе о себе, сохраняя в себе свое, тамошнее, народное...

Однажды он пришел ко мне на Пушкинскую и сказал, что посвятил мне одно стихотворение. Что ж, было даже приятно. Значит, Коля и во мне что-то нашел. Ну читай, говорю, ежели посвятил. И Коля прочел: «Трущобный двор, фигура на углу...» Стихотворение тогда называлось «Поэт» и содержало гораздо больше строф, нежели в нынешней, посмертной редакции. И заканчивалось оно как будто бы по-другому. Однако не это главное. Главное, что стихи взволновали, даже потрясли своей неожиданной мощностью, рельефностью образов, драматизмом правды... И Коля для меня перестал быть просто Колей. В моем мире возник поэт Николай Рубцов. Это был праздник.

Николай Рубцов был добрым. Он не имел имущества. Он им всегда делился с окружающими. Деньги тоже не прятал. А получка на Кировском заводе доставалась нелегко. Он работал шихтовщиком, грузил металл, напрягал мускулы. Всегда хотел есть. Но ел мало. Ограничивался бутербродами, студнем. И чаем. Супы отвергал.

Помню, пришлось мне заночевать у него в общежитии. Шесть коек. Одна оказалась свободной. Хозяин отсутствовал. И мне предложили эту койку. Помню, как Рубцов беседовал с кастеляншей, пояснял ей, что пришел ночевать не просто человек, но — поэт, и потому необходимо — непременно! — сменить белье.

С Николаем мы расстались, когда он уехал в Москву, в Литинститут. Я учиться там не хотел. И дороги наши надолго разошлись. Я был слишком занят самим собой, своими стихами. И проворонил взлет поэта. Второе рождение Рубцова.

Не секрет, что многие даже из общавшихся с Николаем узнали о нем как о большом поэте уже после смерти. Я не исключение. Но мне от этого не стыдно. Мы горели одним огнем, одними заботами. Хотя и под разными крышами, но под одним небом — русским небом. И меня пощадила жизнь, а его — искрошила. Подарив чуть позже бессмертие. Созданное его трудом. Его талантом. Его любовью к Родине, к ее слову. Мы расстались, но мы — рядом. Вот они, его «Подорожники», его «Сосен шум», его «Зеленые цветы». Я протягиваю руку, и глаза касаются Рубцова, души его нежной, опаленной, но всегда — живой.

Популярность поэзии Николая Рубцова среди людей, читающих стихи, не затухает. Скорее — наоборот. Популярность, возникшая почти сразу же после гибели поэта, теперь перерастает в прочную закономерность приятия рубцовой музыки как бесспорно истинного, устоявшегося, почти классического. Лирика поэта издается теперь в самых разнообразных сериях, рубриках, библиотечках.

А ведь поэт, о котором идет речь, не стало совсем недавно. И вся-то его сиротская, детдомовская поначалу жизнь длилась немногим больше тридцати лет. И родился он не в конце прошлого литературного и даже не в начале нынешнего, блоковского, века, а в самом разгаре нашей Советской эпохи. И вдруг — чуть ли не классик! Почему? Ведь на наших глазах промелькнуло множество интересных стихотворцев, заполонивших своими сочинениями сотни и сотни томов. А, скажем, к библиотечке «Поэтическая Россия» или «Поэтической библиотечке школьника», где нынче издается Николай Рубцов, их даже близко не подпускают. Почему?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо отличать Поэзию от ее заменителей. Подлинное от поддельного.

Во все исторические периоды, по крайней мере, от начала письменности, а не только в нынешние выскозрудированные времена, сочинители делились на два разряда: на владельцев литературных способностей и на обладателей поэтического дарования, дара, как говорили прежде.

Овладеть умением слагать стихи — не такая уж трудная или безнадежная задача. Этому процессу сейчас способствуют радио, телевидение, где стихи читают и взрослые, и дети, и даже... вычислительные машины, которые попутно горазды и сами нечто забавное сочинить. Теперь отличить подделку от правды в стихосложении могут только очень чуткие, я бы сказал, талантливые читатели, а также — Время. Да, лишь оно, бесстрастное Время, способно просеять, взвесить, подвергнуть духовному анализу все сотворенное людьми впопыхах, в движении их по жизни. И в итоге на полку Времени (а не библиотеки!) наконец-то ставится книжечка, или картина, или нотная тетрадь, а то и голос певца, вообще — нечто свое, уникальное, неповторимое, иногда внешне как бы продолжающее некий ряд, скажем, Кольцов — Никитин — Есенин. Или другой ряд, скажем, Тютчев — Фет — Блок... Продолжающее в развитии, а не в уподоблении рабском.

Знаю, что многие из критиков, а также собратьев моих по перу, рассуждая при случае о поэтической судьбе Николая Рубцова, сразу же причисляют его чуть ли не к апологетам Есенина. Наивная несправедливость. Преодолимая близорукость. Рубцов жил в свое время, Есенин — в свое. То, что ощутил, выстрадал, впитал своим дарованием один, не мог до него выстрадать, ощутить другой, каким бы провидцем последний ни оказался. Чувства — индивидуальны. Можно исповедовать одни и те же идеи: устремления мысли, но восторгаться или страдать, возгораться и гаснуть каждый обречен самостоятельно. И здесь нужно четко отделить одно понятие от другого: понятие школы и поэтической судьбы, глубинной сути поэта, что всегда целостна, всегда первозаданна.

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои...

Эта музыка, интонация слов — выстрадана. Так писать мог только один человек, а именно — Николай Рубцов. Это его кровные слова, его естественное состояние души.

До конца,
До тихого креста
Пусть душа останется чиста!

Или:

Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и доли
Со всех сторон нагрянули они —
Иных времен татары и монголы.

Так написать мог только истинный поэт, живший болью своей эпохи, патриот земли родной в самом высоком смысле этого слова, потому что мысль «храни» перерастает здесь рамки личного и даже — отчего. Сохраняя любовь и память к своему изначальному, к родимой деревеньке, городу, речке детства, мы тем самым сохраняем любовь к Отчизне и даже больше — ко всему живому на земле.

Поэзия Николая Рубцова помимо эмоционального несет в себе мощный нравственный заряд, иными словами — она, его поэзия, способна не только воспитывать в человеке чувства добрые, но и формировать более сложные духовные начала.

Поэзия Рубцова — не «тихая», не камерная, не подходит она под определение «деревенской» поэзии. Она просто — поэзия. Поэзия Николая Рубцова. И спасибо ему от нас запоздалое за красоту и пронзительность этой поэзии, спасибо ему за любовь его земную, неопалимую.

ВАДИМ КОЖИНОВ

В КРУГУ МОСКОВСКИХ ПОЭТОВ

В моей памяти Николай Рубцов неразрывно связан со своего рода поэтическим кружком, в который он вошел в 1962 году, вскоре после приезда в Москву, в Литературный институт. К кружку этому так или иначе принадлежали Станислав Куняев, Анатолий Передреев, Владимир Соколов и ряд более молодых поэтов — Эдуард Балашов, Борис Примеров, Александр Черевченко, Игорь Шкляревский и другие.

Нельзя не подчеркнуть, что речь идет именно о кружке, а не о том, что называют литературной школой, течением и т. п. Правда, позднее, к концу шестидесятых годов, на основе именно этого кружка действительно сложилось уже собственно литературное явление, которое получило в критике название или, вернее, прозвание — «тихая лирика». Более того, течение это, вместе с глубоко родственной ему и тесно связанной с ним школой прозаиков, прозванных тогдашней критикой «деревенщиками», определило целый этап в развитии отечественной литературы.

Но все это выявилось лишь несколькими годами позднее. В те же годы, когда Николай Рубцов непосредственно жил в Москве, близкие ему поэты, в сущности, не играли сколько-нибудь значительной роли в литературной жизни как таковой. Их вдохновляла и объединяла твердая вера в истинность избранного ими творческого пути, и они в той или иной мере удовлетворялись признанием «внутри» своего кружка.

Я вовсе не хочу сказать, что эти поэты — и в их числе Николай Рубцов — были вообще равнодушны к широкому успеху, известности, славе. Почти все они были моло-

ды — молоды в прямом смысле слова (это нужно оговорить, ибо ныне сплошь и рядом называют молодыми стихотворцев, чей возраст недалек от сорокалетия) — и не могли не пленяться ореолом славы. Но они сумели утвердить в себе убеждение, что в судьбе поэта есть ценности, которые выше и важнее славы.

Владимир Соколов писал тогда в стихотворении, обращенном к Анатолию Передрееву, о том, что ему «пришкольной не надобно славы», что он хочет просто жить, «зная дело, сжимая перо», а Передреев отвечал ему:

Да шумят тебе листья и травы,
Да хранит тебя Пушкин и Блок,
И не надо другой тебе славы,
Ты и с этой не столь одинок.

Этот стихотворный диалог несколькими годами позднее получил широкую известность и даже стал предметом острых дискуссий...

Не исключено, что читатель может усомниться — надо ли говорить о судьбе других поэтов в воспоминаниях о Николае Рубцове? Но я убежден, что это необходимо. Большой поэт обычно окончательно формируется в определенной творческой среде, окружении, школе. К тому же все, что говорится здесь о других поэтах, имеет самое прямое отношение к судьбе Николая Рубцова.

К моменту приезда в Москву он уже вкусил толику если и не славы, то во всяком случае шумного успеха. Об этом свидетельствуют литераторы, знавшие поэта по его «питерским» годам (1959 — начало 1962), в частности, Борис Тайгин, который вспоминает о выступлении Николая Рубцова в зале Ленинградского Дома писателей в январе 1962 года.

Но поэты, в круг которых Николай Рубцов вошел в Москве, ставили перед собой совсем иные цели. Они отнюдь не жаждали, чтобы их стихи вызывали ту реакцию, которая выражается в вопле «Во дает!». Им это было не только чуждо, но и отвратительно.

Помню, как еще в самом начале 1961 года один из поэтов этого круга выступал перед студентами вместе с одним из будущих главных героев «эстрады» (в то время его «карьера» только начиналась), который обрушил на слушателей набор эффектных метафор и словечек, усиливая их воздействие истерической интонацией и полублатным выговором. Из зала в ответ неслось именно нечто вроде «Во дает!», а на лице

одного из будущих друзей Николая Рубцова невольно нарастало выражение глубокого отвращения.

Но дело было, конечно, вовсе не в самом отталкивании от «эстрады»; оно определялось основательной позитивной программой.

Поэтический кружок, в который в 1962 году вошел Николай Рубцов, имел, несомненно, первостепенное значение в его творческой судьбе. Речь идет, разумеется, отнюдь не о том, что именно это «сделало» Рубцова поэтом. Поэзия рождается из всей целостности жизни ее творца; поэтическую энергию невозможно у кого-либо занять и превратить в свою — она может быть только изначально и органически своею.

Но поэтический кружок, о котором идет речь, дал возможность Николаю Рубцову быстро и решительно выбрать свой истинный путь в поэзии и прочно утвердиться на этом пути.

За первый же год жизни Николая Рубцова в Москве в его творчестве совершился вполне очевидный перелом. Его прежние стихи были основаны на двух сложно переплетающихся эстетических стихиях — своеобразной иронии и заостренном драматизме, чаще даже мелодраматизме. Я отнюдь не хочу сказать, что ранняя поэзия Рубцова лишена значительности. Но он стал подлинно народным поэтом лишь тогда, когда ирония и мелодраматизм отошли на второй план, а вперед выдвинулось нечто иное, гораздо более серьезное, уравновешенное и ответственное.

Конечно же, все это жило в самом Рубцове, но именно в кругу поэтов, о которых идет речь, он смог осознать эту нравственно-эстетическую стихию как главную и наиболее ценную в себе и превратить ее в основу своего творчества.

Ясно помню, как с самого начала из стихов Николая Рубцова, написанных до приезда в Москву, его собратья по кружку решительно выделяли те — кстати сказать, очень немногочисленные — стихотворения, которые, как стало ясно позднее, предвещали дальнейшее зрелое творчество поэта. Это были прежде всего «Добрый Филя» (ирония в этих стихах не поглощает целого; ныне, на фоне зрелого творчества Рубцова, она даже не очень и заметна), «Осенняя песня» («Потонула во тьме...») с ее гораздо более глубоким, чем во многих других ранних стихах, драматизмом и «Видения на холме» («Взбегу на холм и упаду в траву...»), — между прочим,

значительно переработанные уже в Москве (первая редакция этого стихотворения представлена в рукописном сборнике Николая Рубцова «Волны и скалы», хранящемся у Бориса Тайгина).

Поистине восторженно были встречены в кружке такие новые стихи Рубцова, как «В горнице», «Прощальная песня» («Я уеду из этой деревни...»), «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...».

Эти стихотворения звучали почти на каждой встрече Николая Рубцова с друзьями — первые два он покоряюще напевал под гармонь или под гитару, третье с замечательной выразительностью декламировал (хотя это слово отдает ложной многозначительностью, трудно сказать по-другому — «читал» или «произносил» здесь не подойдет), подкрепляя мелодику голоса напряженным движением рук.

Но в глазах друзей Николай Рубцов был не только создателем прекрасных стихотворений. Довольно скоро он стал для них как бы живым воплощением первоначальной стихии поэзии. Станислав Куняев точно выразил это в следующих строфах, написанных в 1964 году (когда Николай Рубцов уехал летом на Вологодчину) и опубликованных в его книге «Метель заходит в город» (1966):

Если жизнь начать сначала —
В тот же день уеду я
С Ярославского вокзала
В вологодские края.
Перееду через реку,
Через тысячу ручьев
Прямо в гости к человеку
По фамилии Рубцов...
Я скажу: мол, нет покою —
Разве что с тобой одним,
И скажу: давай с тобою
Помолчим, поговорим...

Важно при этом иметь в виду, что для поэтического кружка, о котором идет речь, отнюдь не была характерна та атмосфера взаимных восхвалений, какая нередко царит в подобных кружках. Хорошо помню, например, как резко говорил Анатолий Передреев об одном несколько затянутом стихотворении Николая Рубцова, обвиняя автора чуть ли не в графоманском многословии. И, надо

думать, именно поэтому Николай Рубцов в дальнейшем не писал таких стихотворений.

Очень трудно или, пожалуй, даже невозможно наглядно показать творческую жизнь поэтического кружка, ибо она складывается из мелких и незначительных по видимости подробностей. Но тот или иной диалог, отдельное слово, даже просто молчание были подчас необычайно весомыми.

Главное заключалось в единой творческой позиции участников кружка — твердой, бескомпромиссной и в то же время лишенной какого-либо догматизма и сектантства. Ими всецело владела идея русской Поэзии, притом вовсе не в эстетически замкнутом, книжном смысле, но поэзии, воплощающей жизнь человека и народа во всей ее глубинной сути.

Творения Пушкина и Тютчева, Лермонтова и Некрасова, Фета и Полонского, Блока и Есенина были для Николая Рубцова и его братьев не «литературными фактами», но именно глубочайшими воплощениями духовной жизни русского народа и русского человека, — а значит, прообразами их собственной духовной жизни. Они никак не отделяли поэзию от жизни в ее сущностной основе — и потому были свободны от какой-либо литературщины.

С другой стороны, именно это глубокое проникновение в классическую поэзию и подлинное овладение ею, освоение ее (то есть превращение ее в действительно свое достояние) и делало Николая Рубцова и его братьев настоящими людьми культуры, а не поверхностными ее потребителями, способными лишь щеголять «информированностью».

Все, кто знал Николая Рубцова, помнят, что он постоянно пел на свои собственные бесхитростные мелодии стихи Тютчева, Лермонтова, Блока — нередко, между прочим, «Брат, столько лет сопутствовавший мне...» Тютчева. Это пение, я полагаю, было для него способом полного, предельно родственного освоения классической поэзии, дело которой он стремился и действительно смог продолжить.

Николай, пожалуй, раскрывался наиболее полно и сильно именно в исполнении стихов — безразлично, своих или не своих, но все-таки ставших своими — на какой-либо напев или без напева, в удивительном по живости и тонкости манеры чтения. Конечно, я говорю не вообще о любом случае, когда Николаю Рубцову прихо-

дилось читать стихи, но о тех моментах, когда он хотел и мог раскрыться до конца.

Тогда он вкладывал в стихи буквально всего себя, так что подчас становилось страшно за него — казалось, что он может умереть на предделе этого исполнения (так ведь бывало, например, с большими певцами) или, по крайней мере, навсегда надорвать что-то главное в себе.

Нельзя не оценить ту самоотверженность, с которой Николай Рубцов — вместе со своими братьями — отказался от уже дававшегося ему в руки литературного успеха. Его ранние иронически-драматические стихи, на которых лежала более или менее явная печать «эстрадной поэзии», вполне могли рассчитывать на широкое признание.

Так, журнал «Юность» напечатал довольно большую подборку ранних, написанных еще в Ленинграде стихов Рубцова: «Я весь в мазуте, весь в тавоте...», «Я забыл, как лошадь запрягают...», «Загородил мою дорогу» и другие. Московские же стихи поэта были редакцией отвергнуты, и Николай остался совершенно неудовлетворенным этой публикацией в популярнейшем журнале...

Да, те собственно «рубцовские» стихи, которые поэт стал создавать в Москве, не сразу смогли пробиться в печать. Для той поры они были слишком «традиционными», слишком далеки от «современности» и по смыслу и по стилю. В той же «Юности» зрелые стихи Рубцова были впервые опубликованы лишь в 1968 году, когда поэт был уже автором двух книг.

Ныне, повторю еще раз, нелегко представить себе литературную «ситуацию», в которой сложилось зрелое творчество Николая Рубцова. «Эстрадная поэзия» как бы заглушала все. Многие молодые стихотворцы, подключаясь к ней, сразу приобретали шумную известность. Можно бы назвать десятка два имен, прямо-таки гремевших в первой половине шестидесятых годов. Ныне большинство из них уже мало кто помнит.

Но собратья Николая Рубцова твердо, не без своего рода отваги шли «против течения». Когда в 1961 году вышла книга Владимира Соколова «На солнечной стороне», содержащая такие поздние ставшие хрестоматийными стихи, как «Спасибо, музыка, за то...», «Паровик. Гудок его глухой...», «Муравей», «Все как в добром старинном романе...» и другие, она была встречена упреками в «отрыве от современности», «мелкотемье», даже «душевной опустошенности» и т. п. Несколько последующих

лет стихи Владимира Соколова почти совсем не публиковались. Но поэт остался верен себе.

Нельзя не сказать здесь и о литературной судьбе Станислава Куняева. В самом начале своего пути он был увлечен атмосферой «эстрадной поэзии». Характернейший пример — его ранние стихи, опубликованные в «Дне поэзии» 1960 года:

Добро должно быть с кулаками *,
добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
от тех, кто лезет на добро...

Эти эффектные стихи сразу же получили большую известность, и их автор начал входить в ударную «обойму» имен. Но вскоре Станислав Куняев в самом деле как бы «начал жизнь сначала» и даже написал своего рода автокритику:

Постой. Неужто? Правда ли должно?
Возмездье, справедливость — это верно,
пожалуйста, но только не добро,
которое бесцельно и безмерно...
Неграмотные формулы свои **
я помню. И тем горше сожаленье,
что не одни лишь термины ввели
меня тогда в такое заблужденье.

Таким образом, поэт сам отказался от стихотворения, принесшего ему шумный успех, и стал писать совсем другие стихи, которые в то время не могли снискать литературного признания.

Все эти факты, надо думать, хорошо раскрывают облик того поэтического кружка, в котором сформировалось зрелое творчество Николая Рубцова. И он очень высоко ценил своих собратьев по кружку и более всего дорожил их мнениями и оценками. Именно так он избрал свой истинный путь в поэзии и — что также было исключительно важно — постоянно получал от друзей подтверждения своей правоты.

* Между прочим, эту «формулу» предложил в беседе с молодыми поэтами Михаил Светлов. Почти все поэты, принимавшие участие в беседе, написали стихи со строкой «Добро должно быть с кулаками» (см., например, стихи Евгения Евтушенко в сборнике «День поэзии», 1962 года), но стихотворение Станислава Куняева было наиболее ярким.

** Примечательно, что поэт никак не снимает с себя ответственности, хотя «формула», по сути дела, не была «своей».

Но, конечно, Николай Рубцов не мог не стремиться к обнародованию своих зрелых стихов — уже хотя бы потому, что они получили столь безусловное признание в кругу его друзей. А добиться этого, как явствует из сказанного, было не так уж просто.

Я начал с того, что поэтический кружок, о котором идет речь, в первые годы своего существования представлял собой именно кружок, а не литературное явление в полном смысле этого слова. Он не имел авторитета в каком-либо журнале, альманахе, издательстве, у него не было даже хотя бы «своего» литературного критика...

Автор этих воспоминаний с самого начала был тесно связан с поэтами, составившими кружок. Но в те годы я занимался почти исключительно теоретическими проблемами литературы и не играл, в сущности, никакой роли в самой современной литературной жизни. Я был целиком поглощен работой над коллективным трехтомным трудом «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении», вышедшим за 1962—1965 годы, и моей книгой «Происхождение романа» (1963), а также нелегким делом издания ценнейших трудов М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (1963) и «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965). Современная поэзия была для меня еще только чисто душевной, а не профессиональной заботой. Лишь во второй половине шестидесятых годов я стал всерьез писать о литературной современности.

Между тем к осени 1963 года сложилась довольно драматическая ситуация. Поэты кружка уже могли «предъявить миру» целый ряд превосходных — ныне, кстати сказать, всем известных — стихотворений, однако даже лучшие их стихи жили, по сути дела, только «внутри» кружка. Я был убежден не только в том, что стихи эти представляют собой наиболее значительные явления современной молодой поэзии, но что выразившимся в них творческим устремлением, безусловно, принадлежит будущее. И при всей своей погруженности в литературу прошлых эпох я так или иначе сознавал, что безвнятного для всех современного продолжения подлинного творчества в какой-то мере теряет смысл и великая поэтическая культура прошлого...

Сейчас уже, вероятно, покажется несколько странным рассказ о том, как Николай Рубцов «вошел в литературу».

На одной из встреч зашел разговор о затруднениях с печатанием стихов — прежде всего о вполне готовой к изданию, но, как говорится, лежащей без движения первой книге Анатолия Передреева. Чуть ли не впервые услышал я тогда из уст друзей горькие слова о трудности пути в литературе и стал искать какой-либо выход.

Перебрав в памяти людей, которые могли бы помочь делу, я остановился на имени Дмитрия Старикова, за десяток лет до того закончившего вместе со мной Московский университет, а в описываемое время бывшего одним из наиболее активных и влиятельных критиков. К тому же и жил он по соседству — и я немедленно отправился к нему, вооруженный стихами и гитарой.

По-студенчески резко я сказал ему, что вот, мол, он столь активно пишет о современной литературе и прежде всего о поэзии, но даже не имеет представления о творчестве наиболее значительных и наиболее обещающих молодых поэтов. Затем, не дожидаясь возражений, я стал читать Дмитрию и его жене, также литератору, неведомые им стихи, а кое-что и напел под гитару. И этого оказалось достаточно. Помню даже женские слезы восторга... Дмитрий Стариков горячо заинтересовался творчеством Анатолия Передреева и его друзей.

Мне уже пришлось в двух словах упомянуть о роли Дмитрия Старикова в литературной судьбе Николая Рубцова на страницах моей книжки о творчестве поэта, вышедшей в 1976 году. Но эти воспоминания я пишу, увы, всего через несколько дней после того, как провожал Дмитрия Старикова (1931—1979) в последний путь. И теперь просто нельзя не сказать о том, сколь много сделал этот критик для Николая Рубцова и поэтов его круга.

В декабрьском номере «Молодой гвардии» за 1963 год Дмитрий Стариков писал об Анатолии Передрееве, но слова его в той или иной мере характеризовали и других поэтов кружка: «Он нетороплив и прост той подлинной простотой жизни, какая в тысячи раз сложнее изоэцтреннейших школярских вывертов с претензией на эпатаж и архисовременность. Проблемы, которые его волнуют и заставляют задумываться, не «сочиненные» и не призанные на стороне, — их рождает сама жизнь...»

Вскоре после нашего разговора Дмитрий Стариков был назначен заместителем главного редактора журнала «Октябрь». И за недолгие годы его работы на этом посту журнал щедро публиковал лучшие стихи

Николая Рубцова, Владимира Соколова, Станислава Куныева и других.

Именно здесь были обнаружены в 1964—1965 годах такие ключевые стихотворения Николая Рубцова, как «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Тихая моя родина...», «Звезда полей», «Русский огонек», «Взбегу на холм и упаду в траву...», «Памяти матери», «Мне лошадь встретилась в кустах...», «Добрый Филя» и другие. На основе публикаций в «Октябре» Николай Рубцов смог издать в Архангельске свою первую книжечку «Лирика», и вообще именно эти публикации по-настоящему ввели его в литературу.

Важно отметить, что отношение Дмитрия Старикова к творчеству Николая Рубцова и его друзей разделяли в редакции «Октября» далеко не все. И, в частности, именно поэтому Дмитрий Стариков всего через несколько лет вынужден был уйти из журнала. Но к тому времени цель была уже достигнута. И негоже было бы забыть о большой заслуге этого критика перед отечественной поэзией.

Кто знает, как сложилась бы судьба Николая Рубцова, если бы его лучшие стихи не были так сравнительно быстро введены в литературу. Напомню, что в том самом 1964 году Николай Рубцов был исключен из Литературного института и должен был покинуть Москву и поселиться в своем затерянном среди лесов и болот Никольском. Конечно, невозможно представить себе, чтобы он отказался от поэзии. И все же — создал ли бы он все то, что мы теперь все знаем?..

Но Николай Рубцов уезжал из Москвы, уже обретая и истинный творческий путь, и прочный путь к литературному признанию.

В самом конце 1964 года Николай Рубцов приехал в Москву хлопотать о восстановлении его в Литературном институте (15 января 1965 года он был восстановлен, но, увы, только на заочном отделении). Однако все эти неурядицы были уже чем-то не таким уж существенным — они походили на то, что произошло у нас со встречей 1965 года.

Было решено встречать этот год в доме моих родителей, где Николай Рубцов еще не бывал. И случилось так, что я запоздал и Николай явился раньше меня. Был он одет — как бы это сказать — по-дорожному, что ли,

и на моего отца, который встречал гостей, произвел какое-то очень неблагоприятное впечатление. Отец мой вообще был человеком совершенно иного, чем мои друзья, склада...

Я приехал чуть ли не без четверти двенадцать и застал Николая на улице у подъезда. Помню, меня страшно возмутило нарушение обычая, который я всегда считал священным: за новогодний стол необходимо посадить всякого, любого гостя. Я вбежал в квартиру, чтобы поздравить с Новым годом мать, и вернулся на улицу.

Что было делать? У нас имелось с собой вино и какая-то снедь; но все же встреча Нового года на улице представлялась крайне неудобной. Оставалось минут десять до полуночи. Широкая Новослободская была совсем пуста — ни людей, ни машин.

И вдруг мы увидели одинокую машину, идущую в сторону Савеловского вокзала, за которым не так уж далеко находится общежитие Литературного института. Мы бросились наперерез ей. Полный непобедимого молодого обаяния, Анатолий Передрев сумел уговорить водителя, и тот на предельной скорости домчал нас до «общаги». Мы сели за стол в момент, когда радио уже включило Красную площадь. Почти не помню подробностей этой новогодней ночи, разве только всегда восторженную улыбку замечательного абхазского поэта Мушни Ласуриа, улыбку, с которой он угощал нас знаменитой мамалыгой. Но эта ночь была — тут память несколько мне не изменяет — одной из самых радостных новогодних ночей для всех нас. Нами владело какое-то ощущение неизбежного нашего торжества — невзирая на самые неблагоприятные и горестные обстоятельства. Под утро мы с Анатолием Передревым даже спустились к общежитскому автомату и позвонили моему отцу, чтобы как-то «отомстить» ему этим нашим торжеством. У него уже было совсем иное настроение, он извинялся, упрашивал, чтобы все мы немедленно приехали к нему, и т. д.

— Ты даже представить себе не можешь, когда ты не пустил на свой порог, — отвечал я. — Все равно что Есенина не пустил...

И это тогда, 1 января 1965 года, уже было полной правдой.

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ

ИСКРЫ ПАМЯТИ

ПЕРВОЕ ИЗУМЛЕНИЕ

Это случилось глубокой осенью, когда обычно возвращаемся в город из своих деревень. Видимо, в 1964 году. И первым зашел ко мне на квартиру Николай Рубцов. Он при всех своих страстях был на удивление скромным и стеснительным человеком. Пройдет от дверей бочком, прямоугольно присядет на самый край старого дивана и на минуту-другую, морщась, как бы замкнется в молчании. Зная его такую побыть, спокойно ожидаю, что скажет. От расспросов он раздражался. Если, к примеру, заходил попросить в долг трешник или пятерку (больше не брал!), то молча подавал записку: «Прошу выручить» и т. п. Поначалу я дивился: зачем записка, если мы стоим «глаза в глаза». Потом понял: да, легче черкнуть, чем выговорить такую окаянную просьбу.

Вот и в тот вечер, когда он зашел ко мне да присел на какой-то закраек, да приобнял ладонями своими острые коленки — весь тихое напряжение, я сразу же направился кипятить чайник и собирать закуску. Но он остановил меня и попросил послушать стихи.

Я сосредоточенно притулился над столом. И вот слышу...

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои...

Захолонуло душу нежной болью, и я изумленно оцепенел от чистоты речи, не обремененной красотами. От

голой правды сиротства. От концовки, обжегшей меня, что молния.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Я, не шевелясь, ждал, что будет дальше. А дальше слышу: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Звезда полей во мгле заледенелой», «Русский огонек» с его единственной в мире такой самоотверженностью — «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью»...

Боже мой, какие стихи! Вспыхнули они вот в этом молодом рано облысевшем человеке и теперь, слетая с его размашистой ладони, будут вечно сиять в сумрачных далах России. Такого изумления я еще не испытывал при встречах ни с одним поэтом. И понял: Рубцов — огромный, редкий поэт!

И обрадовался еще тому, что это открытие, слава Богу, не отозвалось во мне завистью. Лишь глубоко-глубоко, под сердцем, шевельнулось что-то жаркое — то ли еще не востребованная своя сила, то ли вспыхнувшая вдруг самоукоризна, то ли Божие озаренье, что всякому — свой путь... И тут я высказал Николаю Рубцову свое высокое мнение о его новых стихах. Он, похоже, принял мой отзыв как должное. Сам уже знал, какую ношу может поднять его талант.

«ЕСЕНИН, ПУШКИН, ЛЕРМОНТОВ, ВИЙОН»...

— Как ты пишешь? — спрашиваем Рубцова.

— Сперва ставлю свою фамилию, а остальное является само собой, — отвечает он и отпивает глоток красного вина.

Мы сидим в уютном ресторанчике Вологды, называемом попросту «Поплавком». Это зеленый двухэтажный дебаркадер, приткнувшийся не только к людной пристани, но и к литературной жизни тех лет. Мы сидим у раскрытого окна и слышим-видим, как плещется-зыблется милая река Вологда и как звонко вскипают на ней моторные лодки и катера. Мы не пьянствуем, а вдохновенно беседуем и содвигаем стаканы в честь поэзии и в знак дружбы. О, эти наши сидения в «По-

плавке», так замечательно воспетые Николаем Рубцовым в «Вечерних стихах».

...И, как живые, в наших разговорах
Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон.

И не было ничего самонадеянного, странного или дерзкого в таком приближении к своему застолью этих гениев — ведь мы тогда были молоды, как и они в свои лета. И на кого же было равняться нам, как не на них! «Вологодская кучка» поэтов и прозаиков той поры, как явление самобытное и могучее, была одержима творческим соперничеством друг с другом и поисками свежих путей в русскую литературу.

И если Есенин, так любимый вологжанами, казался нам уже близким и свойским человеком (ведь Сергей Александрович гулял-хаживал по Вологде и по деревням Кадниковского уезда, будучи в гостях у нашего талантливого поэта, своего друга Алексея Алексеевича Ганина, злодейски расстрелянного большевиками в 1925 году), то к именам Пушкина и Лермонтова мы прикасались со священным трепетом. Понимая недостижимость их высот, мы, однако, чувствовали, что наше матерое мужичество, выпиравшее из стихов и повестей, сама Русь-матушка мало-помалу сближает с их отважным дворянством. Нас, выходцев из разгромленного крестьянства, пронизывало «силовое поле» их национального величия. Оттого и слово наше мужало быстрее, обретало свое лицо и достоинство.

Но как в такой русской компании оказался Вийон? Горькие мытарства этого француза отозвались сочувствием в бездомности самого Рубцова, и он запросто привел из XV века в наше застолье этого великого остроумца и гуляку...

...Вещь дорога, пока мила,
Куплет хорош, пока поется,
Бутыль нужна, пока цела,
Осада до тех пор ведется,
Покуда крепость не сдается,
Теснят красотку до того,
Пока на страсть не отзовется...

Так лихо сочинял неунывающий Вийон, а потом все же признавался: «Бедность нас преследовала по пятам», словно бы имея в виду не только одного себя, а всех честных поэтов мира. Вот и в Рубцове задел эту сокровен-

ную боль. Ведь многим людям Николай Михайлович казался добровольно безработным и потерянным для оседлой жизни человеком. Он, конечно, чувствовал такое отчуждение даже среди родных и близких людей. А о молчаливом осуждении якобы праздного его существования уж и говорить нечего — люди не ведают, насколько лихорадочно изнурителен труд поэта.

...Рубцов сидит, подперев подбородок кулаком, и с любопытством поглядывает то на нас, то на ресторанных посетителей. По смуглой свежести лиц, по синеглазому простодушию, по певучему говору он узнает родных тотемичей... Но вот возникает в растворе буфета официантка Катя, миловидная и бойкая молодуха. На крепкой ладони у нее сияет круглый, заставленный бутылками поднос. Она ветром пролетает меж столиков, останавливается перед нами и улыбается Рубцову. Она, может, единственная из женщин, знакомых с ним, чует его смятенную душу. Она ласково называет его Колей и ставит перед ним пару бутылок дешевого (с ударением на втором слого для лихости) кадуйского вина.

И наш разговор о жизни и поэзии течет дальше. Но, кажется, пора бы завершать свою вечерю. Да и средства наши исчерпаны. И поневоле припоминается моление Франсуа Вийона, только что гостившего здесь.

Стихи мои, неситесь вскачь,
Как если б волки гнались сзади,
И растолкуйте, бога ради,
Что без гроша сижу, хоть плачь.

СОПЕРНИЧЕСТВО

Николай Рубцов знал французских поэтов и отзывался о них высоко, но опять-таки не взалхлеб, как это случается у наших дураков и космополитов, а с той степенью восторга, за которой молча предполагаются и другие, еще более значительные высоты. В нем кипела озабоченность русской честью. И он всеми силами стремился соответствовать ей.

Я припоминаю, с какой внимательностью листал он сборники европейской поэзии. У меня накопилась целая полка таких книг. И чаще других он листал Франсуа Вийона, Артура Рембо, Шарля Бодлера, Пьера де Ронсара...

И Борис Чулков подтверждает ревнивое знание Рубцовым европейской поэзии. Всю зиму 1964 года они прожили бок о бок в чулковском старом доме, в котором было полно книг. Да, именно Борис Александрович в то тяжелое время приютил у себя бездомного Рубцова. Можно сказать, спас его от безысходности. Владая несколькими европейскими языками, Борис Александрович, помимо собственных стихов, занимался и переводами. Надо думать, ему с Рубцовым было о чем потолковать...

Я же слышал, сейчас не припомню от кого, якобы Рубцов говаривал, что у Поля Верлена лишь одно гениальное стихотворение «Осенняя песня», но и оно все-таки слабее его, рубцовской, «Осенней песни». Я спросил у Чулкова, знает ли он что-нибудь о подобном отзыве. Нет, он помнит другое. Он помнит, как Рубцов рассказывал, что в Литературном институте им, студентам, было дано учебное задание перевести с подстрочника «Осеннюю песню» Верлена, но он переводить не стал, а написал свою «Осеннюю песню».

Удивительно здесь то, что к моменту этого разговора с Рубцовым верленовская «Осенняя песня» уже была переведена Борисом Александровичем. И он прочитал ему этот свой перевод.

Поль Верлен

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Стенанья, всхлипы
Осенних скрипок,
Так однозвучны,
Во тьме-тумане
Мне сердце ранят
Тоской докучной.
Я задыхаюсь,
В лице меняюсь,
Часам внимая,
А вспомяну я
Весну былую —
И вот рыдаю.
Открою двери —
И ветер зверем
Меня потащит,
Во мгле и мути
Завьет-закрутит,
Как лист пропаций.

Я спросил, как отнесся Рубцов к его переводу. Борис Александрович, по своему обычаю, долго подыскивал подходящие слова да так и не нашел. Меня же его перевод Верлена тронул страшным одиночеством. Человек — по Верлену — настолько слаб, что не в силах управиться со стихией даже собственной судьбы. Его несет, «как лист пропавший»... Я предполагаю, что Рубцов, который слышал «печальные звуки, которых не слышит никто», вовсе не пренебрег Полем Верленом, а лишь оттолкнулся от знаменитого француза, чтобы посоперничать с ним. И вот его ответ.

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Потонула во тьме отдаленная пристань.
По канавам помчался, эх, осенний поток!
По дороге неслись сумасшедшие листья,
И порой раздавался пароходный свисток.
Ну так что же? Пускай рассыпаются листья!
Пусть на город нагрянет затаившийся снег!
На тревожной земле, в этом городе мгlistом
Я по-прежнему добрый, неплохой человек.
А последние листья вдоль по улице гулкой
Все неслись и неслись, выбиваясь из сил.
На меня надвигалась темнота закоулков,
И архангельский дождик на меня моросил...

Вглядитесь в эти две «Осенние песни». В них по три строфы. В них одинаково бушуют листья, плачут ветры, гнетут одиночества. Но как разное светятся две поэтические судьбы в потемках стихий! И насколько несхожа житейская устойчивость их на тревожной земле!

Поль Верлен во тьме-тумане слышит стоны скрипок. Они все больше ранят его в беспутье жизни... Николай Рубцов в такой же мгле слышит отдаленную пристань. И чувство его так щемяще потому, что тревога в нем вовсе не за себя, как у Верлена, а за эту землю, тонущую в ненастье. В песне Верлена слышен он сам, но не слышно Франции, а в песне Рубцова, наоборот, более слышна Россия, нежели он сам.

Конечно, рискованно сравнивать перевод с оригинальным стихотворением и делать заключения, подобные моим, однако хочется, чтобы и читатель поразмышлял над сопоставлением этих двух замечательных поэтов разных эпох и народов.

ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ

Сквозь зелень сосняка шумно синело Рижское взморье. В кои-то веки выбрались мы сюда и распахнулись на три недели до беспамятства. Мы торопились к дюнам, к белому и теплому песку. И вдруг — откуда ни возьмись — завертелся, закружился передо мной желтый листок. Я поймал его и с радостным удивлением оглянулся назад: среди откачнувшихся от берега сосен золотились и березки. И напомнили, что на моей родине уже осень, моросят дожди, в перелесках пахнет грибами.

И под каждой березой — гриб,
Подберезовик,
И под каждой осинкой — гриб,
Подосиновик.

Ах, Николай Рубцов! Стихи его настигают душу внезапно. Они не томятся в книгах, не ждут, когда на них задержится читающий взгляд, а, кажется, существуют в самом воздухе. Они, как ветер, как зелень и синева, возникли однажды из неба и земли и сами стали этой вечной синевой и зеленью... Я держал на ладони огневой лист березы и уже не замечал ничего вокруг. Гул моря отступал от меня, отодвигался, и в его удалении я слышал шум вологодских лесов. И вспомнил далекое.

Была ранняя осень, кажется, 1966 года. Александр Яковлевич Яшин, вырвавшись из Москвы, задержался в Вологде и заболел. Я почти каждый день забегал в больницу. Когда ему стало лучше, он сказал, что хорошо бы хоть на денек махнуть на рыбалку, куда-нибудь к Леже. Ну, я рыбак аховый, однако в Сухонском пароходстве достал легкий катерок и позвал с нами Колю Рубцова.

Нет большего приволья сердцу, как рано утром, по холодку, бок о бок с товарищами плыть на молодую зарю! Яшин, в теплом спортивном костюме, в брезентовой куртке, побледневший от хвори, весело и широко поглядывал на нас, на рулевого, на реку, не отворачивал лица от брызг, и брови его крылато темнели. Рубцов поживался, понадежней нахлобучивал вылинявший беретик и привычно втягивал шею в приподнятый воротник поношенного пиджака. Мы были по-мальчишески рады быстрому речному гону.

Город остался далеко позади. В реку уже лилось солнце, а с берегов доносился слабый дух застоюванного сена. Мы почти не разговаривали. Лишь в одном месте,

около устья Лежи, Яшин подсел к нам поближе, чтобы не напрягать голоса, и коротко рассказал, как несколько лет назад развеселые вологодские мужики, с которыми он напросился порыбачить, перевернули лодку вверх дном, и если бы не он, то вряд ли бы выплыли сами. Пока вытаскивал мужиков, весь улов и груз канул в глубину. Канула и новая японская кинокамера, купленная им в Москве за большие деньги. Нырять, искал, но глубина — что пропасть. Потом пришлось везти сюда водолаза. И водолаз долго искал, все-таки нашел, но оптика была уже испорчена.

Мы посочувствовали Александру Яковлевичу, хотя ни я, ни (предполагаю) Рубцов тогда не понимали необходимости покупать столь дорогие вещи: мы всегда жили на скудные деньги.

Стукнул по карману — не звенит,
Стукнул по другому — не слышать...

Пронеслись в голове эти грустные, с мудрой усмешкой рубцовские строки, услышанные от него еще при первом знакомстве. Яшин показал нам это злосчастное место, хотел было тут задержать моториста, но махнул рукой, и мы помчались дальше.

Для остановки выбрали лесистый остров перед самой Сухоной. Здесь заливчики, навесные тени, красота. Договорились с рулевым, когда приехать за нами, и азартно выгрузились на остров. И не успели подняться повыше, как Рубцов бросил удочку и метнулся в сторону. Он с восторгом вскинул в руке крепкий, в темно-рыжей опалине подосиновик.

— Ну, ребята, не пропадем! — заулыбался, помолодел Александр Яковлевич.

— Да вы посмотрите, полюбуйтесь, парень-то какой! — сиял Рубцов и показывал на ладони прекрасный гриб. — Мать моя богородица!..

И во мне закипело желание сразу же броситься в лесок, да и Яшин заколебался, но послеболезненная слабость удерживала на берегу.

— Вот что, ребята, я тут посижу, может, на ушицу пѣймаю, — разволновался он, — а вы как хотите.

Мы поначалу сдержали себя, наكدпали червяков и пошли за ним. С каким удовольствием, с затаенным ожиданием забрасывал он удочку и, такой высокий, сразу же приседал в траву, но и трава не скрывала его — тогда хоронился у ивняка. И вдруг, как солнечную полосу,

вымахнул он из темной воды рыбину и, счастливый, потряс перед нами. Мы порадовались за него. У самих не клевало: рыба не попадалась на ленивый крючок.

Смотрю, Коля, приставив палец к губам, попятился к лесу. И я, наживив свою «невезучую» удочку хорошим червяком, воткнул покрепче в осоку (а вдруг язь!) и с ведром — тоже в лес.

Рубцов ожидал под березами.

— Давай, — говорит, — кто больше найдет. — Узкие, глубокие глаза лучились распахнутой волей всего его существа.

— Давай! — отвечаю, и мы враз нырнули в березовую прохладу.

Я замешкался в стороне: грибы открываются неторопливому шагу. Вдруг слышу: «Гол!» Рубцовский голос прозвенел победно и задел мое самолюбие. Я вытянул шею и зоркими прочесами закружил по березняку. Снова донеслось: «Гол!» — и показалось, что от этого веселого крика листья обрушились и желто покрыли траву. Ну где вы, грибы? Я кидался туда-сюда, и вот радость: по темным крайкам высохшего бочажка сверкнули голенькие обабки. Ах, наконец-то! И, не срезав еще, закричал во весь голос: «Гол, гол, гол!» И с удовольствием прислушался: в отдалении метались и трещали рубцовские шаги.

Так мы, превратившись в ребятишек, долго переключались друг с другом и в этой игре не заметили, как прочесали весь остров. Рубцов первый выскочил к песчаной косе. Я, раздвигая последние ветки, задержался: он стоял, раскинув руки и запрокинув лицо в небо, рубашка пузырилась облачком. И в сухой фигуре, в скуластых чертах сквозила готовая к взлету легкость. Лишь огромный лоб утяжелял его, как бы пригнетал к земле. Я понял: душа его в этот миг пела высотой, синевой, солнцем. И замер в шаге.

Сколько я слышал о нем разных наговоров: угрюмый, бездомный, неприкаянный — да мало ли что трепала молва! Такое впечатление создавалось потому, что Рубцов даже в многолюдстве бывал человеком совершенно одиноким. Он вроде бы и слушал чужой разговор, да не слышал его. Это многих обижало. Люди не догадывались, что, оказывается, и в самой шумной толчее можно внутренне работать, погружаться в свою мысль. Можно за поверхностными, обыденными голосами слышать трепет природы за окном.

Однажды он так сидел в моей квартире на громком празднике. Народ собрался весьма грамотный: журналисты, кое-кто из литераторов. Рубцова они еще мало знали. И потому любопытно поглядывали на него. А он молчал, а он любопытства не проявлял. Сидел, пил вино да думал о чем-то своем. Казалось бы, чего людям беспокоиться: ну, сидит — и пусть сидит. Так нет, заделало: молчит — а еще поэт! Воображала! Не стерпела одна знакомая, поманила меня из-за стола на кухню. «Ну что он сидит, как сыч? Веселиться мешает!» Вообще-то она по-своему была права: раз оказался в компании — будь со всеми заодно. Но, увы, и я не смог тогда расшевелить Рубцова.

В те встречи, присматриваясь к нему, я понял, что у человека могут быть одновременно как бы два слуха, два зрения, два потока существования — верхний и глубинный. Они не совпадают друг с другом. Верхний поток несет обыденность, а глубинный — истинность жизни. Рубцов был из «глубинных» людей. Не случайно он обронил: «Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто...» И это была не рисовка, а горькая, изнурявшая его самого внутренняя правда таланта.

И вот в тот миг на песчаной косе острова он, казавшийся одиноким на людях, был весь распахнут, растворен в окружающей природе: в белых облаках, в солнечных бликах, в золотом кружении леса. Он очутился наедине с природой. Наедине — значит, слитно. Он был уже как бы и не он, а рассеянный свет. Вот счастливый миг полного единения души с лесом, водой и небом — со всем мирозданием!

Впоследствии мы прочитали такие его строки:

Я так люблю осенний лес,
Над ним сияние небес,
Что я хотел бы превратиться
Или в багряный тихий лист,
Иль в дождевой веселый свист,
Но, превратившись, возродиться
И возвратиться в отчий дом,
Чтобы однажды в доме том
Перед дорогою большою
Сказать: — Я был в лесу листом!
Сказать: — Я был в лесу дождем!
Поверьте мне: я чист душою...

Не тогда ли на острове сверкнули в нем эти строки?..

Но тогда я, конечно, их не знал, но представить уже мог, что появятся, ибо застал поэта в момент озарения. Он как бы очнулся, почувствовав, что я поблизости. Повернулся ко мне — вправду озаренный.

— Мать моя богородица, красота-то какая! — улыбался он, постепенно возвращаясь на землю.

Мы весело осмотрели грибы, подосиновики да подберезовики, в моем ведре и в его сумке. Примерно одинаково. И заторопились обратно к Яшину.

Александр Яковлевич встретил добродушно-укоризненно: убежали, не сказались, — и нам стало неловко. — «Да вы сами не захотели», — оправдывались мы, а он смотрел нам в глаза с затаенно-пристальной улыбкой и был доволен, что мы в своем смущении совершенно искренни.

— Ну, показывайте, чего там? — переменял гнев на милость и, когда мы высыпали перед ним грибы, наклонился, зажмурился, вдыхая в себя шумно, глубоко чащобный свежий дух, а потом радостно вскинул голову: — Как на Бобришном! Только грибки там — не чета этим. Белые! — он распрямился, сияя. — Надо скорей туда...

В бидончике у него плескались рыбки. Мы глянули: маловато — и с чувством вины поспешили к своим удочкам. Моя хорошая наживка давно запуталась в осоке. «Язь — не про нас», — подумал я, раздраженный сам на себя, и, пытаясь наверстать, закидывал удочку и до рези в глазах следил за поплавком. Лишь самая малая удача постигла меня в таком старании — одна-единственная сорожина. И я, смущаясь, принес ее и возложил в общий котелок. И утешен был тем, что Яшин поручил мне воспламенить костер и приготовить к уху все необходимое. Ну, тут уж я постарался!

Уха получилась у нас хоть и не тройная, но горячая. Брякали ложки-кружки, и мы, счастливые, сидели у веселого огня. О чем говорили — теперь уж не вспомнить всего. Память наша, что полянки да тропки в лесу, зарастает слишком быстро. Иной раз уверенно думаешь, что помнишь многое — как же, был очевидцем, был участником! — а станешь вспоминать — с трудом проталкиваешься в минувшее.

Твердо помню одно: стихов не читали. Поэты вообще редко читают свои стихи друг другу. Задержалось в памяти, как Александр Яковлевич внушал нам, что надо беречь здоровье.

— Сгораем раньше срока, ребята,— беспощадно говорил он.— А для писательства здоровье нужно железное. Как шахтеру! Обо всем печемся — о себе забываем...

Слушали мы Яшина и, поскольку тогда были здоровы, тут же забывали предостережения. Чужой опыт не учит, пока сам не споткнешься...

Еще помню, как радостно возвращались в Вологду. Моторист, захавший за нами, успел отведать ухи и гнал катерок с ветром. День клонился к вечеру. Река горела предзакатно. Встречные суда плыли на Тотьму, и Рубцов провожал их долгим, задумчивым взглядом. А Яшин посвежел, ожил и говорил, что надо давно бы так прокатиться: природа лечит лучше, чем доктора...

Вот он — весь день, проведенный вместе. Ничего особенного не было, не произошло, так почему же он помнится мне так долго?

...Я отряхнулся от воспоминаний — на песке лежал желтый березовый листок. А передо мной широко синело море, и на самой черте горизонта белели балтийские корабли, стоявшие на рейде. Я вглядывался в них, а волны шумно накатывались одна за другой и оттуда доносили знакомый голос.

В жарком тумане дня
Сонный встряхнем фиорд!
— Эй, капитан! Меня
Первым прими на борт!
Плыть, плыть, плыть...

Это опять слышались они, строки Николая Рубцова. Поэзия его и вправду вездесуща.

«И БЫЛО ВСЕ ПОЛНО ПЕЧАЛИ»

Иду, бывало, в наше писательское пристанище, занимавшее сперва маленькую, а потом большую комнату в центре Вологды, а навстречу — Николай Рубцов. Так случалось часто, но всякий раз неожиданно. Возникнет то из липовой аллейки, то из-под речного подбережья, то из шумного многолюдья. Выступит вдруг бледный, замкнутый в себе и как-то тревожно окликнет...

Наособицу запомнился вот этот момент. Окликнул он и заторопился навстречу мне. «Скажи свое мнение. Вот только что сложилось...» Мы нашли в скверике тихую скамейку, засыпанную облетевшими листьями. Догорала

осень 1967 года. И Коля прочитал только что возникшее стихотворение:

Идет старик в простой одежде.
Один идет издалека.
Не греет солнышко, как прежде,
Шумит осенняя река.
Кружились птицы и кричали
Во мраке тучи грозовой,
И было все полно печали
Над этой старой головой...

Прочитал и, нахмуясь, часто-часто мигая, смотрит на меня, ждет, что скажу. А я в этот миг вспомнил стихотворение Некрасова «Влас». И некрасовский странник заслонил во мне новорожденного рубцовского странника.

В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой.
На груди икона медная:
Просит он на божий храм, —
Весь в веригах, обувь бедная,
На щеке глубокой шрам...

Вот эта навязчивая память помешала мне взглянуться в новое стихотворение Николая. Я был немногословен. Посчитал, что сам образ странствующего старика не нов в русской поэзии. А из-за крайней простоты изображения он у Николая предстает вовсе заурядным.

...Не помнит он, что было прежде,
И не боится черных туч.
Идет себе в простой одежде,
С душою светлую, как луч!

Такая концовка показалась мне излишне красивой, преувеличенно обобщенной. Что-то в этом духе говорил я тогда. Рубцов слушал меня тихо и грустно...

Теперь же, по прошествии четверти века, я чувствую некую укоризну, как вспомню тот резкий разбор рубцовского «Старика». Образ «душа, как луч» теперь не кажется мне лишь метафорой, а ощущается уже въявь энергией

жизни. Такие духовные лучи благотворны в сумраке житейского распада. Сколько ныне нищих и сырых людей бродит по Руси! Может, Рубцов еще тогда, когда мы сидели на скамейке, засыпанной багряной листвой, уже предчувствовал такое время, когда будет «все полно печали» над русской старостью. Может, он предвидел уже это через свою житейскую неустроенность?..

И если каждому из нас растеплить бы свою душу до ответного луча, пусть даже до малого лучика, то отступила бы от нас стужа бездуховности и беспутья. Но души наши — потемки...

СТАРЫЕ ВАЛЕНКИ

Будто откинется пелена лет и озарится один миг из далекой весны. Снег еще не сошел, но уже всю каплет с крыш, звенит по водостокам. А Рубцов, привыкший за зиму к валенкам, все забывает сменить их на ботинки. Выйдет из дома еще по холодку да так и бродит до мокроты. Идет по Вологде, как по своей Николе. Кое-кто оглядывается на его старые валенки: не по сезону обут, жалеют его...

Встречаемся у подъезда дома, в котором наша писательская комната. Он перехватывает и мой удивленный взгляд. — «Вышел-то по заморозку, — косится на свои разбухшие валенки, — а вон как распекло»... И щурится от солнечной капли.

В комнате нашей сумрачно и прохладно. Мы пока одни. Он мнется, не раздевается. — «У меня бутылка красного. Может...» — глядит выжидательно. Я согласно киваю. Раздевшись, притыкаемся к журнальному столику. Вино он пил не жадно, а как бы ради беседы, ради вольных размышлений. В спорах бросался в разногласия. И был горяч, неуступчив...

Теперь уж не припомнить всего, о чем жарко толковали тогда. Но всякий раз — о поэзии. Николай Рубцов держался того мнения, что современность — это вечность. Не только нынешние черты быта и людских отношений, а прежде всего трагизм вообще всей жизни. В прошлом для нас — очарование, в настоящем — страдание, в будущем — искупление. Вот это и есть предмет поэзии, а не навязчивая социология и описательность трудовой героики... В те годы об этом говорили тихо, с оглядкой, ибо везде оказывались начеку защитники

социалистического реализма — этого непреложного кодекса для литературы, идеологии и вообще всей жизни.

Я, признаться, долго метался на этих путях. Еще студентом писал поэму о знаменитой тогда Александре Евгеньевне Люсковой — свинарке из шуйского колхоза «Буденновец». Ездил к ней, и она, мудрая и даровитая женщина, принимала меня, как сына. Рассказывала, показывала, пирогами кормила, а, поди-ко, не верила, что стихами можно описать тяжкий труд свинарки. И хотя главы из рукописи печатались в газетах, и ТАСС (телеграфное агентство) известило страну, что в Вологде создается поэма о Герое Социалистического Труда, ничего у меня не получилось. Да, много и напрасно было растрачено в те годы сил для одоления совершенно косного материала и ложного метода. Мы топтали жизнь, инстинктивно уходившую из-под наших ног, разбухшими валенками схем и догм.

Николай Рубцов счастливо миновал все это. Перешагнув политическую конъюнктуру, он сразу очутился наедине с отзвуками родных преданий, с порывистым шумом природы, с горькими путями жизни. Кое-кому из маститых поэтов тогда показалось, что Рубцов ринулся вспять, к «старой» поэзии (по языку и интонации), а на самом деле он шагнул вперед — в свежий мир лирических откровений. Поэтому и в стихах у него так много ветра и неба. И России...

В ПЕТРЯЕВЕ

Моя мать так рассказала: «Только ты укатил в Вологду, а к вечеру, смотрю, какой-то паренек запостукивал в крыльцо. Кинулась открывать. Он смутился, отступил на шаг. «Я к Саше, — поздоровался, — Рубцов я». Ведь его не видала, а только слыхала от тебя, и то, думаю, догадалась бы, что это он. Стоял на крыльце такой бесприютный, а в спину ему снег-то так и вьет, так и вьет. Ну, скорей в избу. Пальтишко-то, смотрю, продувное. Расстроился, конечно, что не застал тебя. А я и говорю ему: «Так и ты, Коля, мне как сын. Вот надень-ко с печи катаночки да к самовару садись...» Глянула сбоку, а в глазах-то у него — скорби. И признался, что матушка его давно умерла, что он уже привык скитаться по свету...

И такая жалость накатила на меня, что присела на скамью, а привстать не могу. Ведь и я в сиротстве росла

да вот во вдовстве бедствую. Как его не понять!.. А он стеснительно так подвинулся по лавке в красный угол, под иконы, обогрелся чаем да едой и стал сказывать мне стихотворения. Про детство свое, когда они ребятенками малыми осиротели и ехали по Сухоне в приют; про старушку, у которой ночевал, вот, поди-ко, как у меня; про молчаливого пастушка, про журавлей, про церкви наши христовые, поруганные бесами...

Я вспугнуть-то его боюсь — так добро его, сердечно-го, слушать, а у самой в глазах — слезы, а поверх слез — Богородица в сиянье венца. Это обручальная моя икона... А Коля троеперстием-то своим так и взмахивает над столом, будто крестит стихотворения... Теперь уж не забыть его... Перед сном все карточки на стене пересмотрел да и говорит: «Родство-то у вас какое большое!» Будто бы позавидовал. «Да, — говорю, — родство было большое, да не по времени. Извелось оно да разъехалось». «Везде беда», — только и услышала в ответ...

Поутру он встал рано. Присел к печному огню да попил чаю и заторопился в Воробьево на автобус. Уж как просила подождать горячих пирогов, а он присобнял меня, поблагодарил и пошел в сумерки. Глянула в окошко — а он уж в белом поле покачивается. Божий человек...»

Так мать моя Александра Ивановна вспоминала о Николае Рубцове, а потом и сам он говаривал мне, как встречала да привечала она его в Петряеве. Это было за год или за два до гибели его, в предзимье, когда дорога на Двиницком волоку крепнет от первых морозов, и трогаются автобусы и всякие попутки в дальние места. Возможно, он пробирался в Тотьму, в свои палестины, и вздумал взглянуть и на мою деревню, отстоящую всего в пяти верстах от Тотемского тракта. Бог весть...

Рубцов любил внезапность знакомств и расставаний. Он возникал в местах, где его не ждали, и срывался с мест, где в нем нуждались. Вот эта противоречивость скитальческой души и носила его, вела по Руси. Однако такая видимая всем свобода на самом деле являлась невидимой никому зависимостью его от Поэзии. Это он выстраданно изрек: «И не она от нас зависит, а мы зависим от нее». В ту государственно-самодержавную пору такое откровение прозвучало вызывающей и подозрительной новостью. А в стихах его забелели обезглавленные храмы, словно вытаяли они из-под страшных сугробов забвенья. Сама природа русского духа давно

нуждалась в появлении именно такого поэта, чтобы связать полувековой трагический разрыв отечественной поэзии вновь с христианским мироощущением. И жребий этот пал на Николая Рубцова. И зажегся в нем свет величавого распева и молитвенной исповеди.

И мать моя, истовая богомолка, сразу ощутила и приняла в его стихах это давножданное милосердие. И у меня иной раз при встречах с ним возникало дивное впечатление, что Рубцов пришел к нам не из города Тотьмы, а из града Китежа. Вот взгляните хотя бы на эти строки: «И вместе с чувством древности земли такая радость на душе струится, как будто вновь поют на поле жницы...» «И древностью повеет вдруг из дола», «лежат развалины собора, как будто спит былая Русь». Ведь эти слова зарделись в душе, «которая хранит всю красоту былых времен». У Николая Рубцова зрение (в обычном понимании) было как ясновидение времен.

Вот он пишет в «Осенних этюдах»:

А возле ветхой сказочной часовни
Стоит береза старая, как Русь —
И вся она как огненная буря,
Когда по ветру вытянутся ветви
И зашумят, охваченные дрожью,
И листья долго валяются с ветвей,
Вокруг ствола лужайку устилая.
Когда стихает яростная буря,
Сюда приходит девочка-малютка
И робко так садится на качели,
Закутываясь в бабушкину шаль.
Скрипят, скрипят под ветками качели...

Вот здесь слышно и зримо: свистящий холодок доски, щемящий восторг высоты и разноцветье теплой родины. Эти качели Рубцова пролетают сквозь века, связуя их воедино вскинутыми в небо ручонками. Какая извечная незащитность жизни! Потому и задевает нас глубокой печалью ответ девочки на вопрос поэта:

«...О чем поешь?» Малютка отвернулась
И говорит: «Я не пою, я плачу...»

Да, такие слова ребенка о многом свидетельствуют в нашей безлюбной и безжалостной жизни... Пыль времен не касается таких стихов, в которых душа перекликается с душою и плывут, как облака, высокие раздумья о жизни и о родине.

ЯРОСТЬ И ВОСТОРГ

Я припоминаю два случая, когда глаза Рубцова поразили меня обжигавшей энергией. Был какой-то праздник. У меня на квартире собрались друзья-товарищи из местных газет. Позвал я в гости и Николая Рубцова, тогда одиноко скитавшегося по Вологде. Кое-кому это не понравилось: чужак. Я представил его, сказал о нем добрые слова — и началось застолье. Тосты, тары-бары, песни — молодая жизнь плеснулась через край. Но как взглянул на Рубцова, так и обомлел: в бледности вытянутого лица презрительно вспыхивали его сузившиеся глазки. Подошел к нему, чтобы раскатать, втянуть в праздник, но страшный дух неприятия чужого веселья так забушевал в нем, что в прищурах глаз заострились два черных шила. Такой злой черноты глаз я еще не видал ни у кого... Конечно, я понял, что Рубцову при его бездомности даже этот средний наш достаток показался обидным и враждебным. Бог ему судия...

Второй случай противоположен первому. Поехали вместе на пароходе (вернее, на теплоходе, но Рубцову больше нравилось «старое» слово). Он — в свою Николу, к дочери, а я — в Тотьму, по газетным делам. Погода стояла славная, сенокосная. Вышли на палубу — под белые облака! С берегов тянуло сладостью подсыхавших трав, земляники и вольной воли. Речные изгибы открывали все новые дали, и всякий поворот уже загодя волновал своей тайной.

Мы принесли из буфета по кружке пива, устроились за столиком, на котором были рассыпаны шахматы, но играть в окружении такой просторной, наплывающей красоты не могли. Мы поминутно озирались по сторонам. И я напрямую столкнулся со взглядом Рубцова. Черного прищура как не бывало! С перепосья свеяна морщинка. В распахнутых глазах — смородиновый жар! И лицо — в небе, как в счастье!.. И я радостно замер от такого его преображения.

АВТОГРАФЫ

В те уже давние, а для нас молодые годы проводить литературные вечера и встречи с читателями было делом самым обыкновенным. В писательской организации денег на поездки хватало, приглашений присылалось много. И мы выступали перед тысячами земляков, соприка-

сались с тысячами судеб и тысячи автографов оставили людям на своих книжках.

Вот так однажды мартовской порой приехали втроем — Николай Рубцов, Сергей Чухин и я — в Харовск. Нам предстояло выступить в двух школах, в клубе местного Дома отдыха, а на афишах, расклеенных по городу, был объявлен большой литературный вечер в Доме культуры. Помнится, как молчаливо и хмуро поглядывал на эти афиши Рубцов и весело успокаивал его, поблескивая очками, добродушный Сережа Чухин. А утренний заморозок Харовска румяно бодрил нас, и шли мы тогда, где должны быть, уже вдохновенно.

Николай Рубцов стихи читал прекрасно. Встанет перед людьми прямо, прищурится зорко и начнет вздывать слово за словом.

Взбегу на холм
и упаду в траву,
И древностью повеет
вдруг из дола!..

Не раз слышал я из уст автора эти великие «Видения на холме», и всегда охватывала дрожь восторга от силы слов и боль от мучений и невзгод Родины. А потом — «Меж болотных стволов красовался восток огнеликий» — и воображение мое уносилось вместе с журавлиным клином в щемящую синеву родного горизонта. А затем — «Я уеду из этой деревни» — и мне приходилось прикрываться ладонью, чтобы люди, сидевшие в зале, не заметили моих невольных слез... Вот какими были выступления Николая Рубцова!

Хорошо выступал и Сергей Чухин. Помахивая ритмически рукой, он стихами своими, словно теплом, обвеивал людей. Если от Рубцова исходила тайна, то от Чухина — ясность русской души...

Тогда в Харовске после выступлений мы, конечно, пошли в ресторанчик. Наутро в гостинице Николай Михайлович подает мне вчетверо сложенный листок. Разворачиваю, читаю.

Романов понимающе глядит,
А мы коньяк заказываем с кофе.
И вертится планета, и летит
К своей неотвратимой катастрофе.

С любовью *Н. Рубцов*

Ну что тут скажешь? Приобнял его по-братски, а Сережа похвалил, и пошли мы перед отъездом из Харовска взбодрить себя...

Шло время. Однажды заходит ко мне на квартиру Сережа Чухин и говорит, что написал стихотворение, которое хотел был посвятить мне, но не уверен, понравится ли такое. Я постоянно следил за его крепнувшим творчеством и видел, что он вырастает в значительного русского лирика, близкого по запеву к Рубцову, но самобытного по своей ласковой печали. И этот его дружеский порыв был мне дорог.

...О чем над нами шепчутся листья
И так согласно, не по-человечьи?
О, как бы я хотел перевести
Все шорохи осенней темноты,
На человечье косное наречье!
Как странен свет надмирного огня!
Ночное дерево вдруг надо мной вздыхает...
Не поняло ли, старое, меня?
Хочу я знать, чего никто не знает.

Сережа прочитал это стихотворение и тревожно взглянул на меня. А я, растроганный и благодарный, обнял его, как когда-то Николая Рубцова.

«ПОД ВЕТВЯМИ БОЛЬНИЧНЫХ БЕРЕЗ...»

...В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берез
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слез...

Нет, не летом 1970 года, когда вырвалось это щемящее признание, предстояло ему погибнуть. Оставалось еще полгода до той крещенской ночи, когда 19 января 1971 года он будет задушен женщиной. Всего полгода оставалось жить. И смутное предчувствие какой-то близкой беды (я был ответственным секретарем писательской организации) уже заставляло меня вздрагивать от телефонных звонков. И вот он раздался, и я услышал слабый голос Рубцова. Он в больнице. Он просит зайти и прихватить что-нибудь почитать. Я — тут же к нему. Помню, сдернул с полки книжку Константина Коничева «Из жиз-

ни взятое» — и вот жду выхода Николая в больничном вестибюльчике.

Открылась дверь, и белое, бескровное лицо захолоуло мою душу. Что случилось? Правая рука забинтована, висит на привязи... Николай силится улыбнуться, но это улыбка его мужской самозащиты. Он сердится, когда его жалеют. И не отвечает, когда назойливо расспрашивают. Задав всего один вопрос: что случилось? — жду, что скажет. Он сунул Коничева под мышку, взглянул в меня глубоко, а потом ответил, что был у Людмилы Дербиной в Троице — в деревеньке под Вологдой. Пришел к ней, своей любовнице, а дверь на крючке. Он — стучать! Она мелькнула в окне, а в комнату непустила. Он с размаха стукнул так, что кулаком навывлет пробил двойные рамы. Из вены плеснулась кровь. Он упал. Дербина выскочила из дома и вызвала «скорую помощь». И вот он здесь...

Через двадцать три года Людмила Дербина в своих воспоминаниях о Рубцове «Все вещало нам грозную драму» так опишет этот страшный случай (череповецкая газета «Речь» от 22 января 1993 г.):

«9 июня (1970 г. — А. Р.) Рубцов, как обычно, сидел у меня на диване, за круглым столом, выпивал, курил. Я была в огороде, поливала грядки. Я услышала звон разбившегося стекла в комнате. Открыла дверь, подбегаю, вижу — в окне дыра, на полу осколки стекла, Рубцова не видать. Я приблизилась к окну и (о ужас!) увидела Рубцова с поднятой правой рукой, из которой фонтаном хлестала кровь. Оказывается он стукнул кулаком по окну и разбил оба стекла (у меня и летом были двойные рамы). Еще мгновенье, и Рубцов упал на цветочную клумбу. Я выскочила на улицу» и т. д.

Если бы Рубцов тогда в больнице не рассказал мне, пусть и скупом, об этом случае, то, возможно, и поверил бы я тому, что написано теперь Дербиной. Хотя поверить никак не возможно — взгляните-ка, что она утверждает: Рубцов сидел в ее комнате, а она была в огороде. Вдруг ни с того ни с сего он бьет рамы и... оказывается на клумбе. По какой такой причине вспыхнул его гнев, зачем ему понадобилось выбегать из комнаты, если «сидел на диване, за круглым столом, выпивал, курил...». Благоденствие — и вдруг беда!.. Нет, Дербина тут неискренна! Что-то утаивает. Но безупречность своего поведения запоздалыми оговорками не доказать. Умалая образ Николая Рубцова, не снискать ей прощения в потомках.

То, что у Людмилы Дербиной память схожа с воображением, я понял, когда в записках «Все вещало нам грозную драму» увидел и свое присутствие. Вот как оно изображено. «30 ноября (1970 г. — А. Р.) к нам зашел Александр Романов. «— Как? Разве вы живете вместе? Ведь это же противоестественно! Два медведя в одной берлоге не живут!.. — Он провел у нас целый день и все восклицал: — Я ведь вышел из дому за хлебом, а сижу у вас! Ну кто измерит всю степень моего преступления?..

...Рубцов играл на гармошке, а мы с Романовым, как могли, подпевали, а то и в пляс пускались. Но вот еще при Романове Рубцов начал задираться, налетать на меня... Я оторвала от себя руки Рубцова, не помню, что-то кричала в запальчивости. Романов не вмешивался... Стало ужасно противно».

Господи! Проясни мою память!.. То, что здесь написано, наполовину Людмилой Дербиной вымышлено. Ну, не мог же я укорять Рубцова и ее в противоестественности их сожителства — с какой стати! Они молодые, полуодинокие, потянулись друг к другу, а я бы вдруг — хлесть им: «Два медведя в одной берлоге не живут!» Нелепость да и только! Хотя теперь нелепость такая, право же, подтверждена самой Дербиной этими своими воспоминаниями.

Из того же ряда несуразностей и якобы мое самобичевание за растраченный у них день: «Ну кто измерит всю степень моего преступления?» Да таких растраченных дней у меня была уйма, и они, конечно, сказывались в слезах жены и в моих долгих уныниях. Но речь-то, приведенная Дербиной, — не моя! Так высокопарно я не говорю. И уж вовсе стало грустно от утверждения, что я пускался в пляс, по той простой причине, что всю жизнь страдаю от неумения веселиться. Ну, видимо, топал-топтался под гармошку Рубцова. А что касается невмешательства в ссору между ними, так, наверно, подумал тогда: «Милые бранятся — только тешатся»...

Мне — в отличие от Дербиной — та встреча почему-то запомнилась другими моментами. Как зашел к Рубцову тогда, то удивился заботливой прибранностью квартиры и тихой просветленностью его самого. Показалось, что он обрадовался моему приходу и что ему любо оттого, что и Люда рядом, что он уже как бы семейный человек, а не одинокий и сирый жилец пятого этажа.

Возникла застольная суэта доброго товарищества. И помнится, что Коля потом читал стихи о старухе, и образ «на лице ее землистом растет какая-то трава»

поразил меня. Что-то еще читал. Кажется, стихи о Феррапонтове. Мне они показались особенно близки: я тоже соприкасался с Феррапонтовым монастырем в своей поэме «Северяновна»...

А потом, как всегда у Рубцова, — гармонь! Нога на ногу, да как-то по-особому завьет их, подождет под стулом, а на колене встряхнет подарок Василия Белова — красномехую утеху Руси. И слушая жаркую игру, я вновь изумлялся необычайно певучей его талантливости... Вот что запало мне в душу из той встречи. Всяк помнит свое...

Когда Коля поправился и с забинтованным запястьем появился в нашей писательской комнате, там на ту пору оказались мы с Виктором Петровичем Астафьевым. Мы обрадовались, что он, слава Богу, выпутался из беды. Но заостренность лица, и взгляд измученный, оттого еще более пронзительный, тут же встревожили и вновь озаботили нас. Мы сели за шахматный столик, но не играли, а тихо разговаривали о всяких превратностях наших судеб. И тут Коля начал читать, видимо, только что законченное стихотворение.

Под ветвями плакучих деревьев
В чистых окнах больничных палат
Выткан весь из малиновых перьев
Для кого-то последний закат...
Броде крепок, как свеженький овощ,
Человек, и легка его жизнь, —
Вдруг проносится «скорая помощь»,
И сирена кричит: «Расступись!»...

Меня обжег острый холодок этих строк, а Виктор Петрович, склоняясь, охватил голову руками. И после этих стихов уже не могли ни о чем говорить...

РЫЖЕЕ ПЛАМЯ

Людмила Дербина попросила обсудить на писательском собрании ее книгу стихов «Сиверко», вышедшую в 1969 году в Воронеже. Там она жила и работала до переезда в Вологду. И вот наша большая комната полнится народом. Мне с председательского места всех хорошо видно. Белов хмурится на диване, Астафьев весело озирается, Коротаев толкует с Чухиным, Фокина приса-

живается к ним сбоку. Сдвигают стулья Чулков, Полуянов, Гура. А Рубцов, как обычно, в углу за журнальным столиком.

В центре внимания — Людмила Дербина. Многие видят ее впервые. Что-то уже слышали о ней и вот любопытствуют, поглядывают. Она свободно сидит перед всеми. Молодая, смуглолицая, в рыжем пламени взвившихся по плечам волос. Короткое платье высоко вздернуто над ядрами колен. Вся — как вызов. Сжав в пальцах свое «Сиверко», скидывает перед собой, и нам видно, как обложка книги белеет и синееет будто бы проступившей изморозью. А голос! Сперва — что сусло, а затем — что кипяток.

...Когда-нибудь в пылу азарта
Взовьюсь я ведьмой из трубы
И перепутаю все карты
Твоей блистательной судьбы!
Вся боль твоя в тебе заплачет,
Когда рискнешь как бы враспloch
Взглянуть в глаза мои кошачьи —
Зеленые, как вешний мох...

Все понимают, что это — умелые стихи, но смущает безудержность их дьявольской страсти. Дербина читает еще и еще, накаляя собрание.

К сожалению, мы не вели записи выступавших. Это обычная наша непредусмотрительность. Начинать пришлось мне. Я сказал, что поэзию нельзя путать с бабьей перепалкой. Она — вовсе не крик ревнивого исступления.

...Чужой бы бабе я всю глотку переела
За то, что ласково ты на нее взглянул.

Отметил я в ее стихах и есенинские интонации.

Что ж? В любви, как в неистовой драке,
Я свою проверила стать,
И теперь: чем до одури плакать,
Предпочту до упаду плясать...

Коротаев говорил резче меня. Что-то о «медвежьем рычании» в ее стихах.

...Опять я губы в кровь кусаю
И, как медведица, рычу...

Астафьев отстаивал полную волю в стихах, а Белов и Фокина ничего не сказали. Всего интересней было узнать мнение Рубцова. Он резко выступил против физиологизмов в поэзии Дербиной. И привел пример:

Я по-животному, утробно
Тоскую глухо по тебе...

На собрании том в далеком 1970 году было решено новую рукопись Людмилы Дербиной все-таки рекомендовать после доработки Северо-Западному книжному издательству. Но не суждено было второй книге выйти в свет. Убийство Николая Рубцова потрясло не только Вологду, но и Россию. И я не мог не написать такие стихи.

ОНА

От любопытных ей не скрыться,
А где появится, то там
Прозванье страшное — убийца —
Метется по ее следам.
И с этой славой окаянной
Возможно ль грешнице такой
Трудом, молитвой, покаяньем
Обрести хоть призрачный покой?
Какое ж самооправданье
Измыслить надо для людей,
Чтоб умалить в себе страданье
И муки совести своей.
И знать самой, что тщетно это,
Что не прощаема вина...
За убиение поэта
Она проклятьем казнена.

ДВА ПОРТРЕТА

Изо дня в день на всех нас смотрит Николай Рубцов в комнате писательской организации. Здесь он в одном ряду с Константином Батюшковым, Павлом Засодимским, Николаем Клюевым, Александром Яшиным и Сергеем Орловым. Эта портретная галерея — замечательная редкость русской графики. Создал ее Юрий Воронов, щедрый талантом и бескорыстием художник. Дивно то,

что он, по молодости не заставший Рубцова, так хорошо изобразил поэта, словно бывал его закадычным приятелем. Я спрашивал, как он угадал единственно верное выражение его лица, какое не всегда запечатлевает даже фотография. «А все светотени лица увидел я в рубцовой поэзии», — ответил художник. И уловил тот поворот головы, тот прищур глаз, тот нахмур мысли, что поэт из ночной мглы города вновь предстал таким близким перед нами. Он возник из верно угаданного мига, из озаренности своего творчества, из сияния великого Софийского собора...

Изо дня в день смотрит Николай Рубцов и в моем домашнем кабинете. Смотрит из угла, где стоит письменный стол, следит, чем я занимаюсь. Его взгляд порой смущает, я даже забываю, что это взгляд с портрета, написанного Владиславом Сергеевым. Настолько он глубок и участлив, что, бывает, не выдержу такой зоркости и склоняюсь поскорей над бумагами, будто забуду о нем. И если пишется, то и рубцовский взгляд летит поверх меня, а если не ладится — вскину голову и наткнусь на его страдальческий укор...

Таинствен штрих обыкновенного карандаша! У чудодея Владислава Сергеева он расталкивает мглу забвения и заново оживляет родные нам лица, и виды природы, и образы милой родины. Вот и в рубцовском портрете, подаренном мне, художник настолько провидчески обнажает свои графические линии, что они как бы совпадают с линиями самой судьбы Николая Михайловича Рубцова. А загадочностью своего штриха, похожего на зыбкий туманец, мастер выявляет то грустную улыбку поэта, то его прощальный поклон, то намек на неизвестную нами тайну его жизни и смерти.

ПАМЯТНИК РУБЦОВУ

Скульптору Вячеславу Клыкову

Тотемский откос высок и крут. Над ним — тучи, под ним — Сухона. Сурова ее синева, ветрены дали. Рубцов любил это место. Поднимался с пристани в гору и садился на скамью. Скамьи там простецкие — крепкие тесины на врытых кругляшах. И народ всё свой, речистый — кто с теплохода, кто на теплоход. Вовек не бывало это место

пусто. И с души поэта спадала усталость скитаний. Вокруг опять родина.

Рубцов понимал свое предназначение. Сближаясь с московскими поэтами, цепко вглядывался в них, будто взвешивал дарования. Его мучил не образ, а звук, не слышимый никем. «Незримых певчих пенье хоровое», неотступно возникавшее в нем, было столь несовместимо с криком, гамом и шумом поэзии тех лет, что он оставил столицу и надолго скрылся в тотемских лесах.

Леса встретили его поднебесным гулом, словно тоскуя о словах, могущих выразить колыбельные их вздохи. Тревожный полет облаков пел в каждой тростинке. А присухонская дорога и в запустенье шелестела для него следами древних пилигримов, оглашалась свадебными бубенцами, свистела санным полозом и веяла шепотом ромашек. Звуки, томившиеся в нем, совпадали с отзвуками радостей и утрат, и складывались слова, великие в своей простоте.

Рубцов принес в русскую поэзию свое состояние духа, которого так долго не хватало среди треска риторики, колдовства метафор и безоглядной одописи. Оно, потрясенное военным сиротством, было нетерпимо к бодрячеству, чутко к боли, отзывчиво на добро. Обнаженное до заклинания, наполненное любовью к Матери-родине, такое состояние духа удерживает в слове молитвенную чистоту звучанья, пучковый свет времен, бесстрашную правду пережитого. Оно не льститя на минутную смелость, потому что являет собою истинную тревогу гражданина. И, конечно же, такое состояние духа не тихое — оно многозвучно по своей глубине. Поэтому слово Рубцова и упало в русскую душу. Поэтому оно и окрылилось песнею в народе.

Отцветет да поспеет
На болоте морошка —
Вот и кончилось лето, мой друг!
И опять он мелькает,
Листопад за окошком,
Тучи темные вьются вокруг...

Песня взметнулась с палубы теплохода так чисто, так широко, что сразу защемило сердце от близости родины. Песня летела над ветреной Сухоной, и, казалось, что чайки подхватывали ее белыми крыльями и уносили в просветы неба. А волны от теплохода, как вскипевшие

припевы, катились к берегам и обнимали поникшие над рекой желтые ивы. Я тоже стоял на людной палубе и горячо подпевал — не столько своим слабым голосом, сколько сердцем. И это было счастливым единением природы и множества людей под размахом рубцовской песни.

Мы плыли вниз по Сухоне, к древнему городу Тотьме, на открытие памятника поэту. А вокруг по присухонским низинам бесконечно тянулись стога, позолоченные усталым осенним солнцем. Эти огромные картины человеческого труда, обрамленные багряными перелесками, зеленой отавой и темно-синими изгибами реки, были пронизаны раздольной и прохладной красотой северной России. Радость и печаль светились в ней одновременно, опахивая нас то теплом лесных поселков, то холодом покинутых деревень. И думалось о том, что поэт вот здесь почувствовал «самую жгучую, самую смертную связь» со своей родиной. Здесь набрел он в ненастных сумерках на огонек вдовьей избы — огонек русского приветя. Здесь встретил доброго Филю и старика «с душою светлою, как луч» и поразился белокаменным храмом, подобным сну столетий. Незабываемые виды той Руси, которая была, и той, которая есть, таили в себе никем еще не выраженную поэзию и трепет никем не запечатленных красок. Всю землю Рубцов обнял душою на краткий миг своей жизни и растворился в ней.

И вот он, его откос. Мы поднялись по исхоженным ступеням и в осенней открытости города увидели стройную белизну церквей. Они выплывали из дождливой мороси парусниками тотемских землепроходцев. Мерцали торжественно, многоярусно, узорно, и не было на Севере равных им по красоте. А люди шли и шли на откос к назначенному часу. И все теснее сближались вокруг памятника, накрытого трепетным полотном.

Прозвучал сигнал микрофона, и в многолюдной тишине стало слышно, как звенели под дождем сдвинутые зонты. Взволнованны и кратки были речи о Николае Михайловиче Рубцове. И вот этот миг, вобравший в себя всю трудную жизнь поэта. Мы, друзья его, спускаем с памятника покрывало, словно пелену разделявшего нас времени, и перед всеми людьми предстает дорогой облик.

Рубцов! Он сидит на простой скамье, скрестив на колене руки. На плечи накинуто легкое пальто с поднятым воротником и с ветрено захлестнутыми понизу полами. Как в жизни, как в свои молодые приезды сюда, на

родину. Колышется взволнованное многолюдье, всматривается в лицо поэта, омытое дождем, как живой водой. Оно сосредоточено в раздумье, приветливо наклонено к людям. И к подножию, и на скамью, и на скрещенные руки ложатся цветы. Сколько их, пламенеющих радостью встречи! О, хотя бы малая толика такого тепла овеяла поэта при жизни! Но к чему пустые сетования: труден на Руси путь к признанию. Одно утешенье: мы скупно прозреваем, зато щедро спохватываемся. Как тут не вспомнишь: «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью...»

Перед отплытием мы еще раз поднялись на откос. Уже стемнело, и дождь стихал. Разорванные облака покачивали первую звезду. И мы подумали: вот она, звезда его полей. Трепетный луч касался лишь головы поэта, а нам виделось, что он весь облит звездным светом. Когда подошли поближе, нас поразило и вправду таинственное мерцание теней в облике друга. Он сидел перед нами, стоявшими совсем-совсем рядом — всего на один взмах для рукопожатия, но уже недоступно одинокий, как бы вовсе не знакомый и навсегда отстраненный от нас. И тогда мы поняли, что стояли на незримой черте, навсегда отдалившей нас от него, и вглядывались из своей жизни в уже иную жизнь друга, называемую бес-смертием.

ВИКТОР КОРОТАЕВ

«ГИРЯ ДОШЛА ДО ПОЛУ...»

Очень долго казалось, что вот прозвенит звонок, я открою дверь и на пороге увижу его — тихого, похудевшего, с внимательным взглядом и почему-то виноватой улыбкой.

— К тебе можно? — спросит он настороженно.

А потом будет долго курить, кружить по комнате и говорить, говорить... И я пойму, как он, в сущности, одинок и как ему не хватает обыкновенного человеческого участия. Слова о том, что талант всегда одинок, — мало кого утешают. Талант — прежде всего человек. То и дело в моем нынешнем доме названивает звонок, но я уже никогда не дождусь того заветного, раннего и осторожного, — звонка Николая Рубцова.

А то, бывало, придет с мороза, достанет из моей холостяцкой кладовки полосатый поролоновый матрас, положит его на пол поближе к длинной ребристой батарее, прижмется спиной и блаженно улыбнется:

— Почти как на русской печке!

Кто первый пустил это дурацкое прозвище «шарфик», которое с особым смаком повторяют столичные снобы в меховых шубах и теплых шапках, — не знаю. Но это настолько бестактно и оскорбительно по отношению к Рубцову. Не замечают ревнители изящной словесности уничижительного оттенка в этом прозвище. А потом Рубцову просто-напросто всю жизнь не хватало тепла. Тем более при его скудных харчах. Вот он и ежился в вечном своем демисезонном пальтишке и кутался в неизменный простенький шарф. Но никогда не жаловался, стеснялся признаться в своей необеспеченности и неустроенности. Если ему нужно было занять червонец-другой на прожитие, он мучился и не знал, как произнести это вслух, и обычно, улыбаясь, предлагал:

— Давай будем переписываться.

И, прилядывая к краешку стола, в самых застенчивых и неуклюжих выражениях излагал свою нужду: «Не можешь ли ты мне на некоторое время выделить...» И кто понимал его, тот никогда не отказывал.

Когда мы узнали о гибели Николая Рубцова и с разрешения следователя Меркурьева пришли с Василием Беловым и Александром Романовым в квартиру поэта, чтоб перебрать и унести рукописи, то неожиданно в письменном столе обнаружили последние его 22 рубля наличными и ни копейки на сберкнижке. Невольно подумалось, что если бы он остался жив, то именно с этой суммы ему пришлось бы начинать новый день.

Но его уже не было в живых, и новый день мы начинали без него. Начинали с горечью и ожесточением, стараясь не смотреть друг другу в глаза, а если и смотрели, то сурово и требовательно, словно спрашивали: как же мы допустили такое?

Этот же вопрос задавали много раз нам люди близкие и сторонние, но ставить вопросы — особенно такие — проще всего. Не то, что на них отвечать. И приходилось защищаться тоже вопросом: «А как же вся Россия не могла спасти от гибели Пушкина? А за ним — и Лермонтова?»

И начинался длинный и путаный разговор о том, что время другое, обстоятельства — тоже, и т. д. и т. п. Знаем мы эти разговоры!

Но чувство вины не истаяло до сих пор, поэтому снова и снова перебираешь в памяти годы, встречи, выискивая момент, где ты проглядел, недопонял, упустил.

А моменты такие, безусловно, были... Ведь приходил он в редакцию газеты и не однажды и не случайно спрашивал: когда пойдет его подборка? Значит, ее скорейшее появление было жизненно важно для него, и можно было — и нужно! — поторопить редактора с напечатанием, попросить бухгалтерию выплатить аванс. Да не какой-нибудь десятирублевый, а посолидней, как настоящему поэту, вполне показавшему свою состоятельность. Можно было это сделать? Безусловно! Но вечно мешает нам то ли врожденная невнимательность, то ли благоприобретенный формализм, то ли обыкновенное наплева-тельство на все, что лично нас не касается...

А разве нельзя было поостеречь от надвигающейся грозы? Ведь многие чувствовали по запаху ее приближение. Одна знакомая прислала поэту новогоднюю открытку с недвусмысленным текстом: «Береги свою голову...»

А я даже стихи об этом начал. При его жизни... Они напечатаны теперь в книге «Солнечная сторона» да и в некоторых других:

Потеряем скоро человека,
В этот мир забредшего шутя.
У законодательного века
Вечно незаконное дитя.
Тридцать с лишним лет как из пеленок,
Он помимо прочего всего
Лыс, как пятимесячный ребенок,
Прост, как погремушечка его...

Сам испугался написанного: «Что это я раскаркался раньше времени?» И — бросил.

Дописывать пришлось вскоре. Но уже после смерти Рубцова.

Отчетливо виделось, что не по себе он выбрал «пассию». Слишком вспльчива, неуступчива, яра. Да и неопрятна как-то вся, если говорить о чисто женских качествах. «Не то бы ему надо, не то...» — страдальчески морщились друзья. Но не полезешь же со своими советами в таком деликатном деле. Вот и доинтеллигентничали...

Больно говорить об этом, и лучше кончить. А вспомнить что-нибудь повеселее. Пусть даже с некоторыми временными перебоями.

Помню, как пришли в редакцию газеты «Вологодский комсомолец», где я работал литконсультантом, стихи Николая Рубцова. Быстро ответил ему, очень хорошо отозвавшись о стихах, и попросил при случае зайти в редакцию. После отзыва о стихах, которые готовились к обсуждению в скором времени на совещании молодых писателей нашей области, приписал чернилами: «Дорогой Коля Рубцов! Я уже много слышал о Вас хорошего и много (впрочем, так ли уж много?) читал Вас. Мне бы хотелось увидеться с Вами и поговорить. Буду надеяться, что это когда-нибудь случится...» Хотелось познакомиться лично с автором уже тогда написанных строк:

Взбегу на холм
и упаду
в траву.
И древностью повеет вдруг из дола!
Засвищут стрелы будто наяву,
Блеснет в глаза
кривым ножом монгола!

Пустынный свет на звездных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг
В крови и жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя!..

Таков был ранний вариант этого ныне хрестоматийного стихотворения. А потом был семинар молодых литераторов в Вологде, где мы наконец и познакомились лично.

С людьми Николай Рубцов сходилась непросто и не сразу, хотя за его плечами был детдом, который, казалось бы, должен приучить к большей контактности. А возможно, эта трудная «сходимость» касалась только литераторов, к которым он относился зачастую подозрительно и даже недружелюбно. Ведь не однажды я видел, как он запросто подходил на улице к простым мужикам, прося прикурить, и так же запросто завязывал разговор и с явным удовольствием его продолжал и развивал. Но литераторы — это не простые мужики...

Мне повезло: мы сошлись быстро и оставшиеся его годы жили широко и дружно. Не скованные никакими цепями — ни семейными, ни бытовыми — могли легко подняться и покатить либо по грибы, либо на рыбалку. А еще он любил прийти ночью и предложить:

— Поедем к твоей маме...

Она тогда жила в Череповце, куда ходил пригородный поезд в три часа ночи. Я понимал его, не помнившего, — по существу, не знавшего, — что такое прикосновение материнской ладони к твоим волосам, плечу, щеке...

Мы объявляемся на пороге — и вот уже нас кормят горячим куриным бульоном, жарят котлеты и предлагают отведать вчерашних пирогов. Рубцов тает от переполняющего чувства благодарности и с горечью спрашивает:

— Александра Александровна, ну почему жены-то не могут вот так?

— Могут, Коля, да не хотят. Постарше будут — тогда поймут.

Но такие ответы его не устраивают...

— Пока они поймут, я уже, может, помру...

— Ну, что ты, Коля, что ты!

Матери хочется перед работой еще часок соснуть, и она предлагает:

— Давайте укладываться, ребята. Ведь наверняка всю ночь не спали.

Это точно. Ночной пригородный поезд ходит всегда пустым. Редкий полуночник войдет в вагон и через остановку-две выйдет. И опять мы одни, и можно хохотать и резвиться, сколько влезет. Благо проводница спокойная и сама не прочь покемарить в собственном купе.

А Рубцов уже вошел во вкус и сыплет историю за историей, экспромт за экспромтом: на это был он большой мастак. Мы долго не можем угомониться. И матери приходится на нас прикрикнуть: «Спать!» И, переваливаясь через него, я плюхаюсь на широкий диван, который уже постелен для нас. Рубцов бурчит:

— Ну, медведь!

Предлагаю продолжить нашу ночную дорожную игру:

— Срифмуй со словом «балдеть».

— Тогда не мешай.

Он молчит несколько минут, потом читает:

«Кто-то в верности партии клялся,
Кто-то резался с визгом в лото,
И стремительно в ночь удалялся
Алкоголик, укравший пальто,
В это время заснул Коротаев,
Как в берлогу залегший медведь,
Потому что у строгих хозяев
До утра не позволят... балдеть».

Какой уж тут сон! Мы, повизгивая, хохочем, пока мать снова не выходит из соседней комнаты и не взывает к нашему благоразумию.

Когда она возвращается с работы, мы идем втроем гулять, и Рубцов — больше, конечно, для матери, чем для меня, — без конца рассказывает, как он служил на флоте, жил в детдоме, первый раз влюбился. И я понимаю: он с ней говорит так, как, наверно, говорил бы со своей матерью; и когда слышу речи о том, что Рубцов ни перед кем не раскрывался до конца, — всегда вспоминаю эти прогулки...

В 1969 году меня пригласили учиться в Москву на Высшие литературные курсы. Я передал свои немудреные обязанности литконсультанта по газете — Николаю Рубцову:

— Конечно, Коля, сорок рублей не велики деньги, но все-таки твердый заработок... хотя бы на хлеб.

Он согласился. Но проработал не долго. Да не очень

и держался за такое место: у него в Москве готовилась к печати новая книга «Сосен шум». Он просил меня зайти в «Советский писатель», где у меня тоже была на выходе книга стихов, и узнать, как там идут его дела. В рубцовском архиве каким-то чудом уцелело одно из моих писем той поры. Вот оно: «Коля! Заходил я тут на досуге в «Советский писатель». Спросил, как твои дела. Говорят, все нормально. Дело идет к набору. Передали тебе отпечатанные, но не вычитанные стихи, которые пойдут. Но предупредили, что это еще не окончательный вариант. Это посылают экземпляр просто тебе. Так что прочитай-вай. Большой привет тебе от Михаила Павловича Еремина *. Он жалуется, что у него украли подаренную тобой «Звезду полей». Если найдешь свободный экземпляр, то пошли. Уж больно хороший мужик. И любит он тебя по-настоящему. Я скоро приеду и сам подарю выправленный свой «Жребий». Так что до встречи.

Твой В. Коротяев. 26.11.69».

Я нарочно передаю текст письма так дотошно. Хочется во всех наших писаниях прежде всего точности. Потому что о Николае Рубцове и так наплетено слишком много. И наша задача — всеми силами противостоять этому мутному потоку. А средство у нас одно — правда, точность, документальность. Ведь не исключена возможность, что наши беглые заметки кому-то пригодятся и в будущем, потому что мы были живыми свидетелями могучего взлета рубцовского таланта.

Наши встречи в Москве были редкими, но запоминающимися. Однажды Николай Рубцов ночевал у меня. Перед этим мы долго и радушно посидели в компании его поклонников, а наутро я должен был лететь в длительную командировку по Сибири, где до этого ни разу не бывал, и рвался туда. Уже были получены командировочные деньги и удостоверение. Наутро нам обоим так не захотелось прощаться, что мы решили: Сибирь никуда не уйдет, и рано или поздно мы ее посетим, а дружба — дело и редкое, и деликатное, и неизвестно, долго ли нам дано ею наслаждаться. С этим мы и спустились не торопясь с седьмого этажа общежития Литинститута и отправились на поиски новых радостей.

* Преподаватель Литинститута.

Вспоминая теперь тот случай, я утешаюсь тем, что не улетел в Сибирь: нам действительно оставалось дружить очень недолго.

Накануне Нового 1971 года я приехал в Вологду на зимние каникулы. Рубцов поджидал свою дочку Лену с мамой в гости. Приготовил елку, хотя заранее не стал ее наряжать. Видимо, хотел этот праздник подарить самой девочке. Но праздника не получилось: дочь не привезли. И так вышло, что Новый год мы с Николаем Михайловичем встречали врозь. Наутро я со своей невестой пришел его проведать. Рубцов был не один. Они всю ночь просидели вдвоем со знакомым художником и были угрюмы. Но хозяин встретил нас радушно, достал свежего пива, угостил, старался развеселить. А мы пытались сделать вид, что нам действительно хорошо, и беззаботно болтали, но мешала веселиться ненаряженная елка, сиротливо стоящая в переднем углу. Но — ничего! Мы знали, что скоро пошумим на славу, поскольку нами были замыслены сразу две свадьбы и была договоренность: сначала он развертывает гармонь на моей, а потом я — на его. С этими радужными надеждами я вскоре уехал на недельку к матери в Череповец.

А дальше началась мистика...

На другой же день почувствовал странную и страшную тоску, не мог найти себе места и понял, что меня неодолимо тянет обратно в Вологду. На недоуменные вопросы встревожившейся матери я только ответил: «Надо!»

И уехал. Уже в поезде почувствовал облегчение, успокоился. Потом, после грянувшей трагедии, не однажды в мельчайших подробностях восстанавливал свои порывы, движения и, конечно, чувства и понял: что-то требовало, звало меня быть в роковую минуту поблизости, если уж ничего нельзя изменить.

На следующий день 19 января рано поутру ко мне позвонили. Вошел работник газеты «Вологодский комсомолец» Женя Некрасов, бледный, с трясущимися губами, с мученическим лицом:

— Ты пока ничего не знаешь?

И я ему, еще боясь поверить, но зная, что это так, почти утвердительно ответил:

— Рубцов...

— Да... сегодня ночью убили.

— ?

Все остальное прошло как в беспамятстве: вместе с друзьями укладывал в гроб, стоял в почетном карауле и не мог отвести взгляда от совершенно прекрасного не обезображенного смертью — с застывшей иронической улыбкой — лица, и рассеянно слушал, как художник Валентин Малыгин, тоже потрясенный этим живым выражением губ, персиковым цветом кожи, все повторял, глядя на такие чуткие всегда приподнятые рубцовские уши:

— Слышит... Все слышит!

Потом несли на руках гроб, говорили последние прощальные слова над могилой, поминали в Доме художников и читали его стихи...

И все это без отчетливого понимания, что — безвозвратно, что — навсегда.

...Уезжая в Москву, только об одном просил друзей: известить, когда будет суд над убийцей. И вот наконец телеграмма пришла.

Суд назначен на 6 апреля 1971 года. Здание старое, кирпичное, стоит на улице Батюшкова. Того самого, около могилы которого в Прилуцком монастыре когда-то Николай Рубцов, видимо, предчувствуя недалкий конец, просил положить себя... Но — «на то не наша воля».

Он уже два с половиной месяца покоился на обычном городском неуютном кладбище, а женщина, лишившая его столь любимой им жизни, собиралась предстать перед строгим судом. Суд предполагался в закрытом заседании, а желающих присутствовать на нем было огромное количество. Почти все писатели здесь: и Белов, и Романов, и Астафьев... Но председатель суда говорит, что может допустить только одного, и то если он командировку от газеты принесет. Возможен журналист, а не писатель. Друзья это место уступают мне. Вскоре я возвращаюсь с бумажкой такого содержания: «В городской народный суд. Редакция областной газеты «Красный Север» направляет на судебный процесс по уголовному делу Л. А. Гр-ской нашего корреспондента Коротяева В. В. Зам. редактора газеты «Красный Север» (А. Шорохов)».

Меня пропускают в зал заседания, и первые полтора часа я сижу ни жив ни мертв, боюсь шелохнуться, — чувствую, что порядки здесь строгие, и все может произойти. Ни о каких записях, конечно, и речи быть не может; лишь бы усидеть, все самому услышать и увидеть,

а на память я пока не жалуясь, главное потом восстановлю!

Но в перерыве мне говорят, что журналисту, разумеется, можно делать записи, и странно, почему я до сих пор их не делаю...

Теперь мне легче, я достаю блокнот и пристраиваю его на колене. Свидетелей предупреждают, что они должны говорить только правду, и предлагают дать подписку. Люди не привыкли к такой обстановке, волнуются и забывают даже обмакнуть ручку в чернильницу и подолгу скребут по бумаге сухим пером, пока не догадаются, почему оно не пишет.

Подсудимая сидит за барьером, под охраной серьезного пожилого милиционера. Молодая еще, пышноволосяя, глаза по луковице, грудастая, бедрастая, а голос мягок, чист и глубок. Как у ангела.

И все-таки этот ангел совершил дьявольское дело — сгубил редчайший русский талант, лишил всех нас светлого друга, осиротил близких и родных. Да и всю нашу землю — тоже. И если мы не произносили пока вслух имя этого ангела-дьявола, то лишь из жалости к его родителям, дочери, из простого чувства сострадания, а может, и излишней деликатности.

Но рано или поздно имя это придется произнести. И вслух, и печатно.

А пока я смотрю на подсудимую, которая часто перебивает (а по существу направляет) свидетелей, и размышляю: до конца ли она понимает, что совершила? Глубоко ли мучает ее содеянное? И по тому, как она энергично защищается, вижу: нет, истинного раскаяния не произошло. Раскаявшийся человек не может быть столь настырен, рационален и логичен! Или это работает чисто материнский инстинкт самосохранения (ведь у нее — дочь)?

Но мне-то что за дело, какие у нее мотивы. Меня интересует перво-наперво: раскаивается или нет? На словах — да, а на деле?

Она себя и суду представляет как ангела: вина не пьет, любит кошек и собак (одну даже как-то подобрала на улице и вылечила), почитает родителей (они здесь, могут подтвердить), до сих пор чужих мужей не отбивала, не воровала чужого добра, нежно и заботливо любила свою дочь... Право, ангел.

Но поэта Николая Михайловича Рубцова все-таки убила! И не просто убила (мало ли в горячке бывает — ножом, молотком, поленом), а — задушила...

И тут уже обычной аффектацией трудно что-нибудь объяснить.

Чтобы задушить мужчину, кроме силы, нужно время. Время, в течение которого можно одуматься, разжать пальцы, а после устыдиться своего бесовского порыва, сорвать с вешалки пальто и выбежать на мороз, остынуть, прийти в себя.

Но ничего такого не было. Она до конца доделала свое черное дело, бросила в ванну валявшееся на полу грязное белье, ополоснула руки (хотя и утверждает, что — нет; бог с ним, это не столь важно), спокойно открыла дверь и пошла сдаваться в милицию. В пятом часу утра. Но странно — спокойно открыла дверь... Она же только что утверждала обратное, когда ее спрашивали судьи, почему не ушла сразу, в самом начале разыгравшегося скандала? Она ответила, что хозяин запер дверь, и она не могла выйти. Но почему же не могла выйти сразу тогда, если сделала это запросто, когда он лежал бездыханным на полу? Она же не шарила в его карманах, не искала ключа. Значит, ключ был в дверях с самого начала и нужно было его просто повернуть. Наверняка, на это достало бы силы, коль хватило, чтобы справиться (вернее, расправиться) с мужчиной.

Один за другим выступают свидетели — ее свидетели. Мертвые их не имеют. И рассказывают, как хорошо она работала в библиотеке, уважала сослуживцев, занималась общественной работой. А покойника поносят кто как хочет. И некому его защитить.

Нам в свое время предлагали выставить общественного обвинителя, но мы, люди малоопытные, решили, что это ни к чему, только лишние нарекания в субъективности, пристрастии и т. д. Мы сказали, что верим в наш советский суд, там люди ученые, со специальным образованием, во всем разберутся, все решат.

Оно так и произошло в конечном счете; но подсудимая-то вот имеет и защитника, и свидетелей, а умерший насильственной смертью поэт Рубцов не может за себя постоять, не имеет возможности.

Слабые попытки прежней жены его вспомнить о нем как о поэте ни к чему не приводят. Не тот уровень изложения. К тому же ее осаждают адвокат: «Мы здесь говорим не о поэте, а о гражданине Рубцове». Ловко срезала! Но когда ей надо строить свою защиту, она — очень опять же ловко — вставляет в продуманную речь его стихи:

В твоих глазах —
Любовь кромешная,
Немая, дикая, безгрешная!
И что-то в них
Религиозное...
А я — создание несерьезное —
Сажу себе
За грешным вермутом,
Молчу, усталость симулирую...
— В каком году
Стрелялся Лермонтов? —
Я на вопрос не реагирую!

Стихи незадолго до суда опубликованы в газете «Вологодский комсомолец», в посмертной подборке, и дальновидный адвокат, конечно же, приберег их к случаю.

Далее следует риторический вопрос: чему могут научить такие стихи подрастающее поколение? Словно все поэты только и делают, что пишут для подростков. И главное — всех учат, наставляют. И, разумеется, нажим делается прежде всего на слово «вермут».

Горю желанием ответить вопросом на вопрос: а чему могут научить, в таком случае, наверняка известные ей с детства стихи:

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя, где же кружка?
Сердцу будет веселей.

Но я лишен права голоса, и на этот раз с откровенным ханжеством мне не удастся повоевать. Я даже не могу возразить, когда она, утверждая, что перед законом все равны — и поэт, и рабочий, — вскоре сама себе противоречит: «Он поэт, с него особый спрос...»

Однако я забежал вперед, еще не все свидетели допрошены. И вот выступает сосед, над квартирой которого жил Рубцов; зовут соседа Алексей Иванович. Он обстоятелен, нетороплив, отвечает только на вопросы, которые ему задают.

— Что вы можете рассказать по делу?

— Хотели жениться. Я говорю: ну, Коля, вы хорошая пара. Радовался: люди хорошие, хотят вместе жить вечно...

Следует вопрос, не находилась ли подсудимая в состоянии алкогольного опьянения.

— Было. Зашел к ним, он был трезвый, она — косяя.

— Что вы, Алексей Иванович, — возмутилась из-за перегородки подсудимая.

— А я скажу... Вы вот на кухне стояли с распущенными волосами, вот в таком стиле, — и Алексей Иванович расставил ноги и слегка изогнулся в талии, изображая нетрезвую гостью Рубцова.

Ну вот, хоть немножко оживил ее образ, а то предыдущие показания почти засахарили бедную женщину.

Она, видимо, не ожидала нового поворота дела и порядком расстроена. Но это еще не все. На запросы следователя Меркурьева пришли характеристики на подсудимую, и опять-таки не все розового цвета.

Вот, например, из Подлесской сельской библиотеки, где она трудилась в последнее время: «...к работе относилась недобросовестно: в отчетах давала ложные показания по читателям и книговыдаче. Систематически не являлась на семинары, имела за это время выговора. В библиотеке всегда был беспорядок: кругом грязь, книги раскиданы. Из наглядной агитации в библиотеке ничего не было оформлено. На замечания инструктирующих лиц не реагировала.

Зав. отделом культуры Вологодского райисполкома *Цветкова 12.11.71 г.*»

Я не то чтобы злорадствую, но чувствую, как потихоньку выравнивается обстановка. А судья расставляет положенные акценты и на жалобу подсудимой: «Вы меня упрекаете», довольно резко и весомо отвечает:

— Мы вас не упрекаем, мы вас судим!

И добавляет:

— И вопросы здесь будут задавать: не вы — нам, а мы — вам.

Не случайно впоследствии — в кассационной жалобе — она о судье будет отзываться не самым лестным образом. (Мы любим судить сами, но не любим, когда судят нас.)

И тем не менее подсудимой нельзя было обижаться на недостаток заинтересованного внимания к себе. Я уж не говорю о поведении женщины-адвоката, в обязанности которой входила прямая защита виновной, — и поэтому ею было сделано все, чтобы втоптать в грязь имя бесчеловечно угробленного поэта Рубцова. Она всяческими способами, методами и стараниями пыталась обелить, увенчать ореолом жертвенности, терпеливости, чуть не

святости личность убийцы и договорилась до того, что просила для обвиняемой всего лишь год условно!

Недорого же она оценила жизнь безвременно погибшего таланта, уже тогда всенародно признанного и решительно причисленного к разряду выдающихся деятелей русской поэзии.

Но меня еще больше удивляла речь прокурора. Вместо того чтобы выдвигать и обосновывать обвинение, он пенял подсудимой, разведшейся с первым мужем только потому, что тот не сумел вовремя обеспечить ее квартирой. Блюститель закона доказывал, что в таких случаях надо добиваться жилья настойчивее. И собственные мысли для большей убедительности подкреплял народной мудростью: «Не зря сказано — под лежащий камень вода не течет». Потом он почувствовал необходимость по-отечески пожурить молодую женскую неосмотрительность и нетерпеливость и опять прибег к спасительному отечественному фольклору, вспомнив и огласив другую пословицу. «Был бы милый по душе, проживем и в шалаше», — он процитировал и, похоже, остался доволен своей памятью! Иногда, правда, вспоминал, что он все-таки обвинитель и, спохватившись, начинал повышать голос. Но почему-то опять не на подсудимую, а на вологодских писателей, которые, по его мнению, недостаточно строго воспитывали Рубцова, и обязанности воспитателя пришлось взять на себя рабочему классу. (Это он имел в виду соседа, жившего под Рубцовым, который приходил к поэту с выговором за то, что тот однажды залил его водой. Но с кем чего не бывает? Открыл кран — вода не идет. Оставил открытым, чтоб услышать, когда воду дадут. Закрутился, забыл закрыть, вышел из дому, а в это время она и пошла...)

И все же прокурор понимал, что жизни-то человек лишен. И расчет подсудимой и адвоката на аффектацию — наивный расчет. Предыдущие экспертизы подтвердили психическую полноценность обвиняемой. Значит, остается одно: умышленное убийство, за которое, как все понимают, дают на полную катушку. Но у нас случай особый: убийца женщина, сама явилась с повинной, искреннее раскаяние, преступление совершила впервые, имеет малолетнего ребенка и престарелых родителей... Таким образом, обвинение уже звучит так: «умышленное убийство без отягчающих обстоятельств». Эти обстоятельства из общего количества причитающихся

лет выбирают семь, остается — восемь. (Забегая вперед, могу сказать, что она и того не отсидела в связи с Годом женщины. В общей сложности у нее вышло 5 лет и 7 месяцев.)

Многое прояснилось в ходе разбирательства, остается дослушать последнее слово обвиняемой.

Судебный процесс обвиняемую, конечно, утомил. Решалась ее нынешняя и дальнейшая судьба. По-видимому, адвокат внушил слишком радужные надежды, а тут подсудимая воочию убеждалась, что все не так просто. И от ее последнего слова зависело очень многое.

Если она сумеет пронять судью и народных заседателей... Заметное напряжение чувствовалось и среди многочисленных свидетелей, пожелавших дослушать процесс до конца. У нее, видимо, не однажды, как и у меня, всплывала в памяти фраза, которой пользовались, в зависимости от обстоятельств, работники юстиции: «Гиря дошла до полу». Да, дошла! И подсудимая это понимала.

Сейчас, просматривая свои записи ее последнего слова, я понимаю, как они убоги по сравнению с тем, что говорилось. Уже не восстановишь жеста, выражения глаз, оттенков голоса. Да и не полны эти записи, потому что стенографией я не владею, к великому сожалению, могу только ручаться за одно, смысл выступления — точен.

Гр-ская (т. е. Дербина. — Прим. Н. Коняева) некоторое время помолчала, склонив пышные кудри, негромко обронила: «То, что случилось, — страшно, непоправимо. Николай Рубцов — талантливый поэт, и я ценила его, преклонялась перед его талантом». Потом она подумала и продолжала: «Меня обвиняли в том, что я приехала сюда, разыскала и сблизилась с Рубцовым для собственной корысти, для карьеры (а такие мысли действительно проскальзывали в некоторых выступлениях) — я это полностью отрицаю. Корысти не было. Я сблизилась с ним на почве поэзии. Это оказалось для меня роком. Он имел надо мной огромную власть, я не могла противиться ему — и поэтому многое простила, понимая, что он тоже боится потерять меня; и отсюда его ревность, подозрительность и подчас грубость со мной. Но он очень искренний человек, — сказала она. Потом словно опомнилась и добавила. — Был.. Он этим меня приковал. Он один был близок мне, у меня здесь больше никого не было. Когда мы пошли с ним в ЗАГС, меня давило ощущение, что я ставлю свою жизнь на карту. Но Нико-

лай Рубцов убеждал, что я единственная женщина, без которой он не может жить. Он любил меня, я это знала. Знала я, что он был и несчастен как человек, всю жизнь скитался, не имел своего угла. Он сам загубил свой талант потому, что не берег его, расточал в компаниях, с бесконечными друзьями и товарищами. Это меня нервировало, злило. Но я не умышленно его убила, и все-таки убила я, и от этого никуда не денешься...

И себя этим погубила. Как поэтесса (я, кажется, забыл сказать, что подсудимая писала стихи, издавалась и пишет до сих пор). И до конца жизни буду считаться убийцей Рубцова...»

На какое-то мгновение она опять замолчала, словно вдумываясь в смысл собственных слов. Да, будет считаться до конца.

Однажды я был на ее родине в городе Вельске, где она после отсидки жила и работала по прежней специальности. Пришлось выступать перед библиотекарями, ее коллегами. Сама она, разумеется, не присутствовала. После рассказа о наших писателях, чтения стихов, естественно, последовали вопросы. И, в частности, меня — в то время ответственного секретаря Вологодской писательской организации — стали пытаться, как мы относимся к творчеству Гр-ской, будем ли ее издавать. Я ответил со всей определенностью и категоричностью, что относимся мы к ней не как к поэтессе, а как к убийце поэта Николая Михайловича Рубцова и, конечно же, издавать ее не собираемся.

— Но она же свое получила, — последовало возражение.

— Вы считаете, что пять с небольшим лет — это плата за жизнь такого поэта?

— Столько было определено...

— Мы считаем, что наш суд бывает иногда слишком гуманен.

— И вы должны быть гуманными: вы же писатели.

— Ах, вы решили зайти с этой стороны! Тогда давайте заодно простим Дантеса, застрелившего Пушкина. Да и Мартынова — тоже.

— Ну, зачем вы так, — не понравилось заведующей библиотекой. — Нечего сравнивать. Там совсем другое дело.

— А почему другое? То же убийство. Но там оставляли жертве выбрать жребий, встать к барьеру, подготовиться внутренне к роковому исходу. Можно было даже

выстрелить в противника, что и сделал смертельно раненый Пушкин. А тут? Поэт лежит, поваленный на пол, кричит трижды: «Я люблю тебя» (об этом говорили и свидетели — соседи, которые слышали этот ночной возглас, и сама подсудимая), он и не думает, что его давят насмерть. А его давят!.. Тут не было никакого выбора. Давайте смотреть правде в глаза. Я понимаю, что вам дорога честь мундира, но ничего не могу сказать в утешение. Простите меня.

Многие разделили мою точку зрения, однако при заведующей не посмели выразить это открыто. Им с ней работать, и я не осуждаю их. Жаль, что и с заведующей мы расстались более чем холодно.

Но пора снова вернуться в зал судебного заседания. Уже в последний раз. Подсудимая обрела равновесие, речь ее движется стройно, логично, даже напористо. Ей теперь необходимо убедить суд, что она совершила преступление в целях самозащиты. Поэтому Рубцов в ее рассказах появляется то с молотком, то с лопатой, притащенной с балкона, то он ищет нож, который она предусмотрительно зарыла в его рукописи, беспорядочно валяющиеся на подоконнике. Она взывает к памяти ребят-журналистов, которые в тот вечер были в гостях у Рубцова и которые нынче сидят в зале заседания, терпеливо и несколько недоуменно выслушивают ее логические построения насчет ножей, нападений и прочее, и прочее. Никто, конечно, всерьез не может представить Рубцова в роли нападающего физически. Иное дело — если словом. Задеть за живое, уязвить, а коли потребуется — и раздавить этим самым словом — это он мог. Допускаю. А чтобы ножом или молотком, тем более — лопатой... Это поэт-то Рубцов? Да никогда! К тому же и свидетели опровергают подобные измышления, и никто из них никакого ножа возле него не видел. А подсудимая утверждает, якобы ей именно один из них, свидетелей-журналистов, и посоветовал спрятать куда-нибудь подалее этот самый нож.

Но Гр-скую не смущает опровержение свидетелей. Она строит свои логические фигуры, и ей нет дела до остального: «Страх Рубцова потерять меня обострился, когда мы подали заявление в ЗАГС. Он нервничал и только повторял: как бы нам дожить до регистрации. Мы решили никому не сообщать. Я даже родителям не писала. В ту роковую ночь, когда ушли ребята из газеты, он, проводив их, вернулся с криками, что я такая и сякая,

и мне якобы понравился Задумкин. «Но он просто журналист, а я — первый поэт», — кричал он и дал мне оплеуху. Я ему сказала, чтобы он ложился спать, но он бегал, кричал, без конца прикуривал и бросал в меня горящие спички. Это было глумление. Если бы он был жив, он бы подтвердил. (Напрасный зов: он, к сожалению, не мог ни подтвердить, ни опровергнуть ее слов.)

Я хотела убежать, но он закрыл дверь на второй ключ (об этом мы уже рассуждали. Она беспрепятственно вышла из дому после совершенного преступления. Значит, могла сделать это и раньше). Я две ночи до этого не спала, и нервы были напряжены до предела. И никакой надежды на хорошую совместную жизнь уже не оставалось. Я пыталась уснуть, но он стащил с меня одеяло и раскрыл балкон. У меня внутри натягивалась пружина. Когда я пыталась уйти, ему показалось, что легче убить меня, чем со мной расстаться, отпустить меня. И он сказал:

— Ты хочешь меня оставить, унижить и сделать для всех посмешищем? Нет, сначала я раскрою тебе череп. У меня возникла смертельная опасность, меня эта фраза лишила рассудка, и я поняла: либо он погубит меня, либо я его... Он подошел ко мне, я свалила его на пол и взяла двумя пальцами за горло и потеребила. (Ничего себе «потеребила»! На фотографиях, имеющих в деле, все горло пострадавшего в ужасных кровоподтеках и грубых широких царапинах. Есть одна фотография, крупным планом дающая эти следы варварства, — на нее невозможно смотреть.) В это время он кричал: «Я люблю тебя», это верно. Он, видимо, почувствовал, что ему конец, и молил меня пощадить, а я не почувствовала. И поняла все только тогда, когда у него волосы на висках вдруг встали дыбом. Раньше я ему никогда не давала отпора, и он меня не опасался, а тут понял, что я невменяема, и взмолился... Я увидела его синюю щеку и сцепила пальцы, он глубоко вздохнул, словно охнул, перекинулся всем телом и ничком упал в валявшиеся простыни и затих. Я стою над ним, не верю своим глазам. Трагедия произошла. Я признаю свою вину. Но это произошло не умышленно. Я полностью погубила себя, а этого я сознательно не могла сделать.

(Как видим, подсудимой не откажешь в умении строить свою защиту.) Хочу сказать, что до сих пор я считала себя честным и добрым человеком по отношению к обществу, начиная с самого детства. Никогда не было

у меня звериных выходов. Я счастлива тем, что не разочировала ни одного гнездышка, подбирала больных кошек и собак и лечила. (Тогда становится непонятным: если она убивала Рубцова не умышленно, то почему не пыталась даже сделать искусственное дыхание, когда поняла, что удушила его. Ведь порой удается спасти висельников, утопленников, продолжительное время пробывших под водой. Это же утверждают и врачи.)

Я ни с кем никогда не дралась, и никто меня не бил. В нашей семье ничего такого не было, отец подтвердит. Муж меня никогда пальцем не трогал. Но так получилось, что мы разошлись, и дочь теперь остается без отца и матери... Муж мой был добр ко мне, а Рубцов все время как-то и духовно... все-таки... принижал меня. (Вот, видимо, чего она не могла ему простить: того, что он был недосыгаем, недоступен, непонятен... Обыватели этого не прощают!) Ему нравились мои стихи, но он хотел видеть во мне просто женщину, которая бы стирала, варила... Он ущемлял меня как поэтессу, мешал мне сосредоточиться, серьезно работать. (Вот видите: мешал...) Но он был умный человек и на многое открыл мне глаза, с другими мужчинами мне будет уже неинтересно...»

Потом она снова уверяла, что не хотела убивать, и все сваливала на рок, судьбу, какую-то неведомую темную силу.

Судьи внимательно выслушали ее и отправились в совещательную комнату. Судя по тому, что они не заставили себя долго ждать, особых разногласий среди них не возникло. Убийство было признано умышленным. Без отягчающих обстоятельств. Определено восемь лет общего режима.

Позднее возникли кассационные жалобы адвоката и подсудимой, но областной суд решение городского оставил в силе. А пока все вздохнули. Кто с облегчением, кто с сожалением, кто с затаенной угрозой и неутоленным желанием мести, — кто как! Но прежде всех, видимо, вздохнули судьи. Они — с облегчением. Для них это темное и малоприятное дело было закончено. Для нас оно только начиналось...

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Коняев. ПУТНИК НА КРАЮ ПОЛЯ.	5
НИКОЛАЙ РУБЦОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ.	
1. ВОЛНЫ И СКАЛЫ	182
Коротко о себе	182
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ	
Элегия	183
САЛЮТ МОРЮ	184
В океане	184
Фиалки	185
«Я весь в мазуте, весь в тавоте...»	186
На берегу	187
«Бывало, вырядимся с шиком...»	188
Портовая ночь	189
Имениннику	190
Морские выходки	191
ДОЛИНА ДЕТСТВА	
Долина детства	193
«Я забыл, как лошадь запрягают...»	193
Видения на холме	194
Березы	195
ПТИЦЫ РАЗНОГО ПОЛЕТА	
«— Мы будем свободны, как птицы...»	197
Утро утраты	197
Сто «нет»	198
Ненастье	198
Волны и скалы	199
ЗВУКОПИСНЫЕ МИНИАТЮРЫ	
Левитан	200
Старый конь	200
На перевозе	201
Маленькие Лили	202
РЕПОРТАЖ	
На Родине	203

Репортаж	203
О собаках	204
АХ, ЧТО Я ДЕЛАЮ?	
На плацу	205
Жалобы алкоголика	205
Праздник в поселке	206
«Снуют. Считают рублики...»	206
Да, умру я!	206
ХОЧУ — ХОХОЧУ!	
Разлад	208
Утро перед экзаменом	209
МУМ	210
«Ты называешь солнце блюдом...»	211
ВЕТРЫ ПОЭЗИИ	
Сказка-сказочка	212
В гостях	213
«Поэт перед смертью сквозь тайные слезы...»	215
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ	
Добрый Филя	216
2. ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ	
«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...»	217
Весна на берегу Бии	218
Старая дорога	219
Вечернее происшествие	220
Природа	220
В минуты музыки	221
Утро	222
Над вечным покоем	222
Тихая моя родина	223
Нагрянули	224
«В святой обители природы...»	224
Цветы	225
В лесу	225
Душа хранит	227
Жар-птица	227
«Сапоги мои — скрип да скрип...»	229
Прощальный костер	230
Полночное пенье	230
По дороге из дома	231
«Прекрасно небо голубое!»	232
Медведь	232
На реке Сухоне	233
«В полях сверкало. Близилась гроза...»	233
В горнице	234

Памяти матери	234
«Наслаждаясь ветром резким...»	235
«Окошко. Стол. Половики...»	235
Родная деревня	236
На вокзале	236
Промчалась твоя пора!	237
Журавли	238
«Седьмые сутки дождь не умолкает...»	238
Осенние этюды	239
«А между прочим, осень на дворе...»	242
Прощальная песня	242
Острова свои обогреваем	243
Осенняя луна	244
Осенняя песня	245
«Ветер всхлищывал, словно дитя...»	245
Ворона	246
Ночь на перевозе	246
Зимовье на хуторе	247
Русский огонек	248
Звезда полей	249

3. СОСЕН ШУМ

Тот город зеленый...	250
Последний пароход	251
Вечерние стихи	252
Ласточка	253
Поэзия	254
По дрова	255
«По холодной осенней реке...»	255
По дороге к морю	256
Про зайца	257
Подорожники	257
На ночлеге	258
Вологодский пейзаж	259
Поезд	260
Во время грозы	261
Детство	261
Ночь на Родине	263
Шумит Катунь	264
Плыть, плыть...	264
Идет процессия	265
На автотрассе	266
Ива	266
Отплытие	267
Экспромт	267

Посвящение другу	268
Сосен шум	268
В старом парке	269
Зеленые цветы	270
В пустыне	271
Повесть о первой любви	272
Расплата	272
На сенокосе	273
Не пришла	274
Купавы	275
Бессонница	275
Слез не лей...	276
Пальмы юга	277
Далекое	278
Воспоминание	278
Гуляевская горка	279
Взглянул на кустик	279
До конца	280
Прощальное	281
Песня	281
Листья осенние	282
А дуба нет...	283
Гололедица	284
Наследник розы	284
Зимняя ночь	285
У церковных берез	286
Воробей	287
Выпал снег...	287

4. ЗЕЛЕННЫЕ ЦВЕТЫ

Деревенские ночи	288
Тайна	289
«Уже деревня вся в тени...»	290
«Осень! Летит по дорогам...»	290
О Московском Кремле	290
Судьба	291
Далекое	292
Свидание	293
Ферапонтово	294
«Брал человек холодный мертвый камень...»	294
Приезд Тютчева	295
Последняя осень	296
Дуэль	296
Последняя ночь	297

Стихи	297
Венера	298
Оттепель	299
Под ветвями больничных берез	299
На Родину!	300
Привет, Россия...	301
Старик	301
Стоит жара	302
Сентябрь	302
Зачем?	303
«Доволен я буквально всем!»	304
Памятный случай	304
Наступление ночи	305
Синенький платочек	306
Зимняя песня	306
У размытой дороги...	307
В глуши	308
На озере	308
«О чем писать?»	308
Мачты	309

5. СТИХИ, НЕ ВКЛЮЧАВШИЕСЯ ПРИ ЖИЗНИ ПОЭТА В СБОРНИКИ

Соловьи	310
«Листвой пропащей...»	311
«Мы сваливать не вправе...»	312
На гуляние	312
«Мое слово верное прозвенит!»	313
Где веселые девушки наши?	313
«Не подберу сейчас такого слова...»	314
«Мой чинный двор зажат в заборы...»	315
«Осень! Летит по дорогам...»	315
«Не надо, не надо, не надо...»	316
Жара	316
Цветок и нива	317
«У сгнившей лесной избушки...»	317
«Уединившись за оконцем...»	318
Из восьмистиший	318
О Пушкине	320
Однажды	320
Сергей Есенин	321
Памяти Анциферова	321
«Я переписывать не ставлю...»	322
Кого обидел?	322

Ночное	323
Кружусь ли я...	323
Угрюмое	324
Неизвестный	325
Гроза	325
Ось	326
Осенний этюд	326
Ночное ощущение	327
Дорожная элегия	327
Аленький цветок	328
«По мокрым скверам проходит осень...»	329
Январское	329
«Огороды русские...»	330
«Скачет ли свадьба...»	331
«Помню, как тропкой, едва заметной...»	331
По вечерам	332
Тост	332
«Давай, Земля, немножко отдохнем...»	333
После грозы	334
«О чем шумят друзья мои, поэты...»	334
Букет	335
В дороге	336
Коза	337
Встреча	337
Хлеб	337
В сибирской деревне	337
В горной долине	339
«Сибирь как будто не Сибирь!»	339
Улетели листья	340
Грани	340
В избе	341
Гость	341
Волнуется южное море	342
Увлелась нечаянно	342
Элегия	343
Философские стихи	343
Что вспомню я?	345
«Село стоит на правом берегу...»	345
Девочка играет	346
«Я люблю судьбу свою...»	346
Эхо прошлого	347
Конец	348
Зимним вечерком	349
«Я умру в крещенские морозы...»	350

ПИСЬМА

Т. А. Смирновой	352
В. И. Сафонову	355
В. И. Сафонову	356
Неизвестной	358
Константину Кузьминскому	359
Э. Шнейдерману	362
Александру Яшину	363
С. П. Багрову	364
Александру Яшину	364
С. П. Багрову	367
А. Я. Яшину	368
С. П. Багрову	369
С. П. Багрову	370
А. Я. Яшину	371
С. П. Багрову	372
В. Д. Елесину	373
Письма Станиславу Куняеву	
I	373
II	375
С. В. Викулову	376
Из письма Глебу Яковлевичу Горбовскому	377
С. В. Викулову	378
С. П. Багрову	379
А. Я. Яшину	380
В. Д. Елесину	383
Из письма в Архангельское издательство	383
В. Д. Елесину	384
А. А. Романову	385
А. А. Романову	386
А. А. Романову	387
Отрывок из письма издателю	388
А. А. Романову	389
В. Нечунаеву и Б. Шишаеву	390
В. И. Другову	391

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННОКОВ

Глеб Горбовский. Долгожданный поэт	394
Вадим Кожинов. В кругу московских поэтов	399
Александр Романов. Искры памяти	410
Виктор Кортаев. «Гиря дошла до полу...»	439

**НИКОЛАЙ РУБЦОВ:
ВОЛОГОДСКАЯ ТРАГЕДИЯ**

Редактор *Л. М. Аишов*
Художественный редактор *В. Н. Сергутин*
Технические редакторы *Л. В. Жигульская, Е. А. Саркисова*
Корректоры *О. В. Мокрович, Л. А. Костылева*

Подписано в печать 01.02.96. Формат 84 × 108¹/₃₂.
Бумага офс. № 1. Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36.
Уч.-изд. л. 34,0. Тираж 5000 экз. Заказ № 2489. С-64.
ЛР 040571 от 19.01.93 г.

Издательство «Эллис Лак»
123242, Москва, ул. Большая Грузинская, 3, стр. 1
Тел.: 254-74-72
Факс: 254-52-80.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГМП «Первая Образцовая типография»
Комитета Российской Федерации по печати.
113054, Москва, Валовая, 28